Т. В. ЦИВЬЯН

Язык: тема и вариации

Избранное

I



НАУКА

inslav

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

НАУЧНЫЙ СОВЕТ «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ



inslav

Т. В. ЦИВЬЯН

Язык: тема и вариации

Избранное

В двух книгах



МОСКВА НАУКА 2008

inslav

Т. В. ЦИВЬЯН

Язык:
тема и вариации

Книга первая

Балканистика

МОСКВА НАУКА 2008

inslav

УДК 811.135
ББК 81
Ц57

Ответственный редактор
академик В.Н. ТОПОРОВ

Рецензенты:
доктор филологических наук А.Е. КИБРИК,
член-корреспондент РАН Т.М. НИКОЛАЕВА

В оформлении книги использована репродукция византийской мозаики XI в. «Пастух, играющий на флейте»

Цивьян Т.В.

Язык : тема и вариации : избранное : в 2 кн. / Т.В. Цивьян ; [отв. ред. В.Н. Топоров] ; Науч. совет РАН «История мировой культуры» ; Ин-т славяноведения РАН. — М. : Наука, 2008— . — ISBN 978-5-02-034456-3.

Кн. 1 : Балканистика. — 2008. — 314 с. — ISBN 978-5-02-036005-1 (в пер.).

В книге собраны труды автора, написанные за более чем 40 лет научной деятельности. Преимущественное место отдано основной специальности автора: балканистике, анализу лингвистических основ балканской модели мира. Применение семиотических методов и методов лингвистики текста нашло отражение в цикле работ по анализу художественного текста, словесного и несловесного (особое место занимает русская литература XX в.). Разнообразие тем, языков, традиций, эпох находит оправдание в единстве подхода — теоретического (общий взгляд на представления человека о мире и о себе самом) и практического (методология).

Для лингвистов, литературоведов, фольклористов, культурологов.

ТП 2006-II-308

ISBN 978-5-02-034456-3
ISBN 978-5-02-036005-1 (кн. 1)

© Научный совет РАН «История мировой культуры», 2008
© Институт славяноведения РАН, 2008
© Цивьян Т.В., 2008
© Редакционно-издательское оформление. Издательство «Наука», 2008

inslav

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 7

КОНЦЕПТ ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Концепт языкового союза и современная балканистика 13

О возможности применения ареально-типологических методов для исследования балканского языкового союза. К построению лингвистического атласа БЯС 48

Предложения по сопоставительной грамматике балканских языков 62

Синтаксическая структура балканского языкового союза 70

Морфонологический уровень в описании системы БЯС 96

Морфосинтаксические функции новогреческого артикля в аспекте грамматики балканского языкового союза 106

Перфект I, перфект II и категория пересказывания в македонском языке. К постановке проблемы 140

Категория диминутивности в структуре новогреческого этноязыкового пространства 148

БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Балканская модель мира: попытка взгляда *извне* и *изнутри* 171

Балканские дополнения к последним исследованиям индоевропейского мифа о Громовержце 197

Мотив суда/спора цветов в балканском фольклоре и «одористический код» в античной традиции 221

Об одном из смыслов, заключенных в понятии *граница* (от «Миорицы» до Хармса) 228

Змея≡птица: к истолкованию тождества 235

inslav

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 7

КОНЦЕПТ ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Концепт языкового союза и современная балканистика 13

О возможности применения ареально-типологических методов для исследования балканского языкового союза. К построению лингвистического атласа БЯС 48

Предложения по сопоставительной грамматике балканских языков 62

Синтаксическая структура балканского языкового союза..... 70

Морфонологический уровень в описании системы БЯС 96

Морфосинтаксические функции новогреческого артикля в аспекте грамматики балканского языкового союза..... 106

Перфект I, перфект II и категория пересказывания в македонском языке. К постановке проблемы 140

Категория диминутивности в структуре новогреческого этноязыкового пространства 148

БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Балканская модель мира: попытка взгляда *извне* и *изнутри* 171

Балканские дополнения к последним исследованиям индоевропейского мифа о Громовержце 197

Мотив суда/спора цветов в балканском фольклоре и «одористический код» в античной традиции 221

Об одном из смыслов, заключенных в понятии *граница* (от «Миорицы» до Хармса) 228

Змея=птица: к истолкованию тождества 235

inslav

К мифологической интерпретации восточнороманского колядного текста «Плугушор» 247

Птицы-«курьеры». Мотив связи *верхнего* и *нижнего* мира в балканской перспективе 271

Вода в македонских этиологических преданиях о происхождении Охридского озера 280

Горы и воды — интерьер балканского мира 286

В конце пути. Стихотворение Кавафиса «В гавани» в мифопоэтическом контексте 291

Путешествие Одиссея из Греции в Грецию через Запад. «Итака» Кавафиса: к теме интертекста 298

Бродский и Кавафис 302

Содержание второй книги 313

inslav

ВВЕДЕНИЕ

Собранные здесь работы написаны за сорок лет научной деятельности автора и отражают его интересы и занятия. Так сложилось, что и то, и другое многообразно и разветвлено и в то же время едино — настолько, что при складывании книги возникли трудности с отбором, размещением статей и выделением разделов. Единственным последовательным принципом был бы хронологический, но именно это создало бы впечатление логической непоследовательности и отсутствия стержня. Автор ощущает свой путь подчиненным одной теме и одной идее: **язык.** Более точно — язык как универсальный код модели мира, ее создающий и ею создаваемый. «Занятия языком» начались с чистой лингвистики и через семиотику привели к структуре текста.

Цепь случайностей связала меня с балканистикой. В результате неожиданной легализации структурализма в нескольких академических институтах открылись в 1960 г. секторы структурной лингвистики, а вместе с ними и аспирантура. Так же неожиданно меня (с дипломом «учителя греческого, латинского и русского языков», который выдавался выпускникам классического отделения филологического факультета МГУ) приняли в аспирантуру только что образованного Сектора структурной типологии Института славяноведения Академии наук, главой которого согласился стать В.Н. Топоров (чтобы потом передать свое место Вяч.Вс. Иванову — что и произошло в 1963 году).

Владимир Николаевич стал моим научным руководителем (и остался Учителем на протяжении всего пути). Он предложил выбрать балканистику как направление занятий, типологию балканского языкового союза как общую тему и имя существительное в балканских языках как тему диссертации. Это позволяло использовать в качестве фундамента университетский багаж, но было и риском: в то время балканистика была в увядаю-

inslav

щем состоянии и невостребованной. Риск оказался оправданным, поскольку ситуация решительно изменилась в течение несколько ближайших лет. Балканистика стала наращивать потенциал, расширять проблематику и точки приложения сил, отдаляться от типологии в узком смысле (следуя, по сути, идеям Н.С. Трубецкого о многонародной личности), и об актуальности ее в настоящее время излишне говорить. Вместе с развивающейся балканистикой мои интересы расширялись, и от чисто лингвистических направлялись в сторону балканского фольклора и мифологии, а в определенной степени и литературы.

Состав сектора структурной типологии Института славяноведения во главе с его основателями, задавшими высочайшую планку, сама его азартная атмосфера (о чем написано и сказано очень много), все это держало меня, са́мого, пожалуй, неопытного члена сектора в постоянном напряжении, заставляло подтягиваться и осваивать новые области. Обстоятельства (например, единичный, но очень важный эпизод кетской экспедиции 1962 года) этому способствовали. История с запретом семиотики, последовавшим после организованного нашим сектором первого симпозиума по знаковым системам (1962 год), приведшая к Летним семиотическим школам в Тарту (начавшимся в 1964 году) и к созданию московско-тартуского семиотического круга, в свою очередь, увеличила свободу выбора и стимул к «захвату» новых территорий.

Уже приходилось писать об обратной стороне этой свободы, когда метод соблазняюще превалирует над материалом, так что критерием выбора становятся собственные пристрастия (в большей степени, чем реальные возможности). Однако вся творческая жизнь сектора, продолжающаяся и поныне (теперь это Отдел типологии и сравнительного языкознания, которым заведует Т.М. Николаева), свидетельствует, как кажется, об оправданности выбранного пути.

Сказанное должно хотя бы отчасти объяснить «биографический» принцип выбора и расположения материала в книге*. Первый и самый большой раздел, *Балканистика,* — основная специальность автора. Хотя внутренняя хронология в разделе с точностью не соблюдена, общее направление прослеживается. Типологический анализ балканских языков в аспекте балканского языкового союза, с преимущественным вниманием к

* В конце каждой статьи указывается год публикации. Более подробные сведения содержатся в Библиографии, помещенной в конце второй книги.

inslav

морфологии и синтаксису, описание балканских языков с помощью модели эвентуального языка-посредника подводят к анализу балканских этнокультурных традиций, на основе чего постулируется *балканская модель мира,* понимаемая как единство *разного* (сочетание *похожего* и *непохожего*) и монтаж уникального из неуникальных элементов. Подчеркивается, что она строится на лингвистических основах: ее краеугольным камнем является язык как таковой, представленный всем своим «балканским многообразием».

При отсутствии у автора склонностей и способностей к чистой теории, все общие рассуждения и выводы делаются на основании анализа конкретных фрагментов, взятых из разных балканских традиций. Это анализ различных фольклорных и литературных текстов. Он естественным образом требует применения своих методов: структурной антропологии и лингвистики текста. Из мозаичных фрагментов (заложенных уже самим лингвистическим разнообразием балканского языкового союза) автор пытается сложить единую картину.

Другие разделы — *Античность, Язык, Знак, Миф и фольклор, Поэтика* — посвящены тем же темам, раскрываемым с тех же позиций и теми же методами, но на ином, небалканском материале, или, по меньшей мере, с привлечением небалканского. Поэтому не хотелось бы говорить о противопоставлении *балканистика — небалканистика.* Все разделы «сообщаются» друг с другом не только в методологическом плане: они связаны сквозными темами, мотивами, аллюзиями, которые нередко оборачиваются повторениями. *Античность* — дань собственным началам. По преимуществу, речь идет о балканских древностях, яркий отпечаток которых просматривается и в современных балканских традициях и языках, и в европейской культуре; античными темами пронизываются темы «не-античные» и vice versa.

Языковые и фольклорные универсалии и фреквенталии находят воплощение в разных традициях, типологические и генетические сходства переплетаются: Балканы растягиваются до Балтии (балто-балканский ареал как своего рода единство), и речь может идти о родстве, о сближении как результате контактов — или о случайном совпадении: дело читателя признать или отвергнуть сходства и различия. В каждом разделе есть статьи, которые могли бы оказаться в другом месте: принцип перетекания тем указывает на зыбкость границ и уход от однозначных решений (*балканские уроки!*). Заключающая первый раздел (*Балканистика*) статья «Бродский и Кавафис» с равными

inslav

основаниями может быть помещена и в последний раздел (*Поэтика*): Бродский разбирает поэтику Кавафиса, но одновременно это и самоописание русского поэта, и мостик к исследованиям в области русской литературы. Название статьи из раздела «Поэтика» *Просвечивающие мотивы...* может быть приложено и ко всем текстам. Одной из скреп мыслится интертекст.

Разъединение одинакового, объединение разного, мены оппозиций, неоднозначность, парадоксально вытекающая из прочности исходных понятий, — такой представляется структура находящегося в постоянном движении и потому живого и живущего мира, цельного и единого в своем несводимом к стандарту разнообразии. В этом представлении содержится хотя бы частичное оправдание книги и кредо ее автора*.

«Избранное» было составлено по настоянию Владимира Николаевича Топорова, его советами и его заботой. Мои сомнения и колебания в целесообразности издания были связаны еще и с тем, что ко времени, когда публикация стала возможной, целый ряд моих работ был переиздан. Владимир Николаевич не счел это основанием для отказа от намерения собрать основное. В его представлении такого рода книга должна была быть итогом сделанного, и ее издание становилось в некотором отношении обязанностью автора. Требовательный учитель, который был по отношению ко мне *скуп на похвалы* и отнюдь не *чужд гнева*, в последние годы стал более щедрым на одобрение и ободрение. Не только чувство долга перед ним, но и продолжающееся ощущение его поддержки помогало мне в работе над «Избранным».

Владимир Николаевич Топоров, редактор этих книг, успел просмотреть и утвердить окончательный вариант, но самих книг он уже не увидит.

* Который во время составления книги находился в гоголевском диалоге с самим собой: «Милая, это пестро. — Ах, нет! не пестро!».

inslav

Язык:
тема и вариации

Концепт языкового союза



inslav

inslav

КОНЦЕПТ ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА И СОВРЕМЕННАЯ БАЛКАНИСТИКА

Публикуется в неизмененном виде доклад, представленный к защите в 1992 г. как докторская диссертация. Если раздел «Балканистика» представляет собой компендиум балканистических работ автора, то этот текст — «резюме компендиума»: в нем заложены практически все темы раздела, как бы перетекающие одна в другую. Так же перетекают друг в друга, отсылают друг к другу, в определенном смысле повторяют друг друга — но не дублируют — и сами тексты, составляющие раздел и раскрывающие то, что в докладе было кратко обозначено. Материалом служат разные фрагменты и разные слои балканского хронотопа (разные коды балканской модели мира, с преимущественным вниманием к языковому). Цель такого дедуктивно-индуктивного представления материала — выявление взаимосвязи *разного*, формирующего балканскую целостность; в конце концов, это «поиски *балканского* на Балканах» (как были названы одни из «Балканских чтений» в Институте славяноведения).

ПРЕДМЕТ БАЛКАНИСТИКИ

Балканистика, в широком и современном понимании ее предмета, занимается составлением цельной «общебалканской» картины мира из мозаики частных «балканских», принадлежащих народам, которые населяют (и населяли) Балканы и в силу ряда обстоятельств (сводимых обычно к историческим и генетическим) находятся в ситуации постоянных контактов. Этот весьма своеобразный симбиоз привел к столь значительным типологическим схождениям, что стало возможным говорить о балканском этноязыковом и этнокультурном единстве. Именно на языковом уровне четче всего проявились и раньше всего были замечены типологические схождения, на язык была ориентирована балканистика с самого начала, и балканская лингвистика стала ее краеугольным камнем. По мере же утверждения глобального подхода к тому, что можно назвать «контактами между людьми», всё более значительное место в балканистике стали занимать фольклористика, литературоведение,

inslav

история, этнология, археология, искусствоведение, культурология и т.д.

Само определение точек приложения сил вызывает полемику, и тем более острую, что в разных областях «балканские единицы» группируются по-разному. Например, сербохорватский язык входит в *балканский языковой союз* (БЯС) только частью своих диалектов, но невозможно говорить о балканском пространстве, о балканской картине мира без сербохорватской традиции в целом. Анализировать же сербохорватскую традицию вне языка невозможно, но тогда в свою очередь надо пересматривать его место в БЯС. Число примеров, свидетельствующих о подвижности и размытости границ, может быть умножено; соотношение центр—периферия также не решает проблемы, поскольку и здесь в разных областях (как географических, так и предметных) оно может меняться.

Следующий шаг — определение принципов отбора. Должна ли балканистика включать в с ё, что ареально, исторически, генетически принадлежит Балканам, или т о л ь к о т о, что имеет особую балканскую специфику (то, что на лингвистическом уровне называется балканизмами)? И если верно второе, то в какой степени выявление и изучение балканизмов выходит за пределы балканистики, как таковой, — иными словами, в чем общетеоретическое ее оправдание?

Сказанное определяет то, что можно назвать амбивалентностью статуса балканистики как в н е ш н е г о, — она включает в себя многие дисциплины и не равна ни одной в отдельности, так и в н у т р е н н е г о, когда ареальная сетка обусловливает самые необычные смещения. Эта особенность отражает, как кажется, суть балканистики, не давая считать ее всего лишь ответвлением ареальной типологии и лингвистической географии. Может быть, амбивалентность была заложена в балканистику при самом ее возникновении в результате слияния п р а к т и ч е с к о г о описания материала и т е о р е т и ч е с к о г о прорыва в новые области лингвистического анализа, прорыва хотя и приуроченного к балканской ситуации, но не ограниченного ею.

inslav

»LINGUISTIQUE BALKANIQUE» И КОНЦЕПТ ЯЗЫКОГО СОЮЗА

В 1930 г. К. Сандфельд выпустил остающийся классическим труд «Балканская лингвистика. Проблемы и результаты» (о предтечах балканистики — И.Э. Тунмане, Ф. Миклошиче, Н. Йокле, Г. Вейганде и др. — мы здесь не говорим). Сандфельд тщательно собрал и перечислил основные схождения между балканскими языками — те самые балканизмы, которые по сию пору остаются главным критерием для включения конкретного языка в состав БЯС. В набор балканизмов входят: отсутствие инфинитива и замена его так называемым балканским конъюнктивом, образование будущего времени со вспомогательным глаголом *хотеть*, постпозитивный артикль, слияние родительного и дательного падежей и вообще тенденция к падению склонения, т.е. к аналитизму, местоименная реприза. Этот набор сохранился без изменений, лишь с некоторыми дополнениями, носящими скорее частный характер (аналитическое образование степеней сравнения, энклитика личного местоимения в посессивной функции и нек. др.). Сандфельд выделил 150 балканских схождений, 20 из которых проходят по всем языкам (сюда включены и данные лексического уровня; лексике Сандфельд уделил особое внимание).

Книга Сандфельда была и осталась практическим пособием по лингвистической балканистике, балканистической энциклопедией. Богатый и достаточно систематизированный материал вызвал к жизни различные гипотезы о причинах сближения балканских языков, при том что их единство (и даже сам взгляд на балканские языки как на некое единство) считалось спорным, а основные усилия были направлены на то, чтобы установить зоны преимущественного влияния, отвести отдельным языкам первенствующую роль в БЯС, приписать происхождение того или иного балканизма конкретному языку, включить в этот круг теорию субстрата.

И в это же время возникают революционные идеи о специфическом виде языкового взаимодействия, возникающем при контакте географически смежных (при географической же неограниченности пространства) языков, идеи, которые связаны прежде всего с именем Н.С. Трубецкого (1928) и развиты Р. Якобсоном и другими членами Пражского лингвистического кружка. Этот вид взаимодействия и был назван *языковым союзом* (ЯС) в противоположность *языковой семье*; он предполагал рассмотрение ограниченного ареально языкового сообщества

inslav

как единой системы с особым строением и особыми закономерностями развития, вытекающими из свойств самой системы. Балканские языки благодаря компактности своего положения, ярко проявляющимся схождениям дали весьма эффектный материал для экспликации новой теории, и Трубецкой в полной мере, этот материал использовал. Соотношение теории (ЯС) и практики (схождения балканских языков) было именно таким, но использование балканских данных породило определенный перекос в восприятии как концепта ЯС, так и статуса балканских языков по отношению к этому концепту. К сожалению, этот перекос оказался не просто живучим: он сохранил принципиальное значение в определении балканистики как репрезентанта теории языковых союзов по преимуществу, что возвращает к сомнениям в целесообразности ее существования как самостоятельной дисциплины. В последнее время этот взгляд был наиболее решительно сформулирован Фёйе (1989): по его мнению, концепт ЯС в применении к балканистике необязателен — Сандфельд обошелся без него, и тем не менее его компендиум не утерял своей значимости до сих пор; Трубецкой формулировал основы ЯС на материале балканских языков и для балканских языков — стóит ли расширять лингвистическую терминологию за счет понятия, которое может быть удовлетворительно приложено только к одному примеру (БЯС); наконец, следует вновь «пересмотреть» статус балканских языков, чтобы выяснить природу их схождений — «упали они с неба или были посланы провидением».

Такой приговор теории ЯС (и соответственно концепту БЯС) заставляет с сожалением признать, что балканисты, для которых эта теория должна была бы стать если не основным инструментом исследования, то по крайней мере весьма действенным подспорьем, недооценили идеи Трубецкого. Определение ЯС было воспринято как постулирование некоей внеположной данности-реальности, и реакцией стало стремление как к опровержению самой этой данности, так и к критике определения, как такового. Тем самым был упущен основной и наиболее плодотворный смысл концепта ЯС — его принципиальная конвенциональность.

Концепт ЯС (и далее БЯС) — это инструмент анализа, открывающий новые измерения языкового пространства, новые интерпретации языковых процессов (прежде всего конвергенции и дивергенции), новые параметры классификации языков (и тем самым новые повороты ареальной типологии и лингвис-

inslav

тической географии); в этом, как кажется, заключалась суть концепции Трубецкого. Новый взгляд на оппозицию языковые семьи/языковые союзы позволил представить в новом свете взаимоотношения языков во времени и пространстве. Специфика ЯС и, конечно, БЯС в том и состоит, что генетически родственные языки обнаруживают схождения типологического свойства, а то, что это именно типология, проверяется отходом языков — членов ЯС от своих генетических собратьев, в ЯС не входящих; один из наиболее показательных примеров — балканославянские языки — члены БЯС (болгарский, македонский, сербские диалекты): они объединены такими балканизмами, как падение склонения, замена инфинитива конъюнктивом и т.д., т.е. чертами, отделяющими их от других славянских языков при сохранении общеславянской, т.е. генетической, близости. О такой ситуации писал Р. Якобсон в 1936 г.:

> ...сходство в структуре независимо от генетических отношений данных языков и может связывать равным образом как языки с общим происхождением, так и языки разного происхождения. Сходство структур, таким образом, не противостоит "изначальному родству", а накладывается на него.

Работа Якобсона является, кстати, первым практическим приложением концепта ЯС — и отнюдь не к балканским языкам, а к фонологическим системам евразийских языков. Смысл постулирования евразийского ЯС был, как представляется, и в том, чтобы приложить классификационную схему Трубецкого к громадному языковому пространству; это позволяло обнаружить совершенно иного масштаба связи между языковыми системами, связи, которые должны быть интерпретированы на совершенно ином, нежели плоскопозитивистский, уровне.

К сожалению, этот мощный рывок, теоретическая глубина и разрешающая сила которого опровергают упреки в порочном круге (концепт ЯС возник *из* балканских языков и *для* них), в дальнейшем оказался как бы рассредоточенным, несмотря на большое число серьезных и плодотворных исследований. Балканистика несколько «увязла» в доказательствах или опровержениях того, существует ли БЯС «на самом деле», а если это реальность, то как объяснить ее исходя из реальности же. Тем самым в стороне осталась конструктивно-операционная сторона самой идеи ЯС как с п о с о б а описания, а призывы к комплексному изучению таких «супер-Балкан», как Индия, Израиль, Америка (У. Вайнрайх), не получили нужного отклика.

Итак, критика концепта ЯС с прагматических позиций, эмпирическая проверка теории повседневным опытом приводили

inslav

к победе common sense, что, как нередко бывает, становилось тормозом в развитии мысли. Между тем если бы концепт ЯС рассматривался с самого начала в строго конвенциональном смысле, то, возможно, не возникли бы многие возражения. С другой стороны, выяснилось бы естественным путем, предполагает ли объединение в ЯС тесную региональную близость, и насколько имеет смысл объединять по структурным изоглоссам языки без требования их географической и исторической сопряженности: напомним, что одним из возражений против БЯС с его набором балканизмов было наличие постпозитивного артикля в скандинавских языках и т.п. и вообще не уникальность, если не тривиальность, этих самых балканизмов.

Конвенциональный по преимуществу термин ЯС делает возможным определять балканскую лингвистику как науку об отношении систем отдельных балканских языков друг к другу и к постулируемой «извне» общей системе БЯС, представленной в виде особого рода грамматического языка-посредника, также сугубо конвенционального. Сама идея языка-посредника возникла из двух в чем-то, может быть, противоположных оснований. С одной стороны, актуальность этой проблемы для Балкан (почему реальный язык-посредник, казалось бы столь нужный, все-таки не возник) побуждала к поискам какой-то замены реального языка иным средством общения-объединения «балканской жизни». С другой стороны, к необходимости построения такой системы подводила теория ЯС.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА В СИСТЕМЕ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Анализ системы БЯС по диахронической и синхронической осям приводит к выводу, что в его основе заложена оппозиция *динамичность/консервативность*, оба члена которой обеспечивают сохранность БЯС во времени и пространстве. Принципиальная динамичность БЯС обеспечивается постоянным действием тех сил, которые в конвенциональном плане определяются как балканистические процессы. Под ними подразумеваются языковые контакты, как таковые; тем самым предполагается, что схождения балканских языков могут «импульсироваться» и причинами более общими, чем соприкосновение hic et nunc; тогда, следовательно, изменения в системе могут происходить и при отсутствии непосредственно-

inslav

го контакта, т.е. как бы подчиняясь «дистанционному управлению». Эта готовность к изменениям уравновешивается стремлением сохранить в неприкосновенности то ядро, которое должно не просто обеспечивать выживание каждого члена БЯС и не просто подтверждать его существование, но поддерживать его жизнеспособность и самодостаточность, способность к саморазвитию.

Поэтому, когда в качестве эталона описания выбирается эвентуальный «общебалканский язык», «язык-посредник» на грамматическом уровне, речь ни в коем случае не идет о свертывании индивидуальности каждого из балканских языков. Язык-посредник представляет собой абстрактную систему символов, которая обеспечивает экономное описание любого балканского языка в общебалканистическом аспекте и вырабатавает приемы, позволяющие с минимальными усилиями переходить от языка-посредника к любому конкретному языку и обратно, а также от одного балканского языка к другому. В этом смысле в качестве эталона может быть выбран и любой балканский язык, при условии, что набор правил пересчета будет достаточно экономным. Постулирование грамматического языка-посредника в системе БЯС предполагает и построение грамматики БЯС. В нашем случае был выбран синтаксический уровень: он легче всего позволяет соединить синтагматический план (текст) с парадигматическим (система) и наиболее очевидно осуществляет «координацию по вертикали» всех языковых уровней — от фонологического и морфологического, служащих для него конституентами, до семантического, конституентом которого служит он сам. Постулирование «балканского текста» как самостоятельной единицы оказалось впоследствии необходимым элементом той общебалканской картины мира, в которой язык играет совершенно особую роль.

И в качестве чистой абстракции единая грамматическая схема БЯС представляется полезной как для типологических описаний, так и практически, вплоть до задач перевода и обучения. Кроме того, нельзя не учитывать и реальной ситуации, где может быть использована подобная грамматическая схема: многочисленные ареалы дву- и многоязычия на Балканах, когда в акте коммуникации постоянно присутствует необходимость перехода с языка на язык. Правомерно предполагать, что собеседники используют в этих случаях некую абстрактную модель, позволяющую производить мгновенный переход с одного языка на другой. Механизм перехода отработан: «подгонять» конструкции одного языка к другому проще и эффективнее,

inslav

чем осваивать их каждый раз заново. Составить «балканскую» грамматику означает выявить и систематизировать то, что существует у говорящих на подсознательном уровне и, может быть, скрыто от них самих. Грамматика БЯС — это грамматика, рассчитанная на язык с несколькими терминами, т.е. с несколькими лексическими наборами, соответствующими разным балканским языкам.

Приступив к попытке составления грамматики БЯС на синтаксическом уровне, мы выбрали в качестве исходного материала литературные языки в их письменных вариантах, считая, что есть логика в том, что предельно обобщенная схема ориентирована на ограниченный, отлитой и в некотором смысле условный языковой вариант. Здесь можно видеть аналогию с нормативной грамматикой, которая строится на своего рода дистиллированном фрагменте языка, где особую значимость имеют критерии *правильности/неправильности* как некоторой условной нормы. Усвоенный на основе такой жесткой схемы язык в своем реальном функционировании может от нее отталкиваться, даже опровергать. Нормативная грамматика — это «вытяжка» из языка, почти фикция, идея которой состоит в том, что в ней в свернутом виде заложены способы перехода к многообразным и изменчивым реалиям живого языка. Так и предельно сухая грамматическая схема БЯС может быть развернута в описание балканских языков в их динамике.

С другой стороны, и не в противоречие сказанному выше, для балканских языков такой переход является оправданным из-за особенностей понятия «литературный язык» в системе БЯС. В принципе литературные балканские языки создавались на основе конгломерата вариантов (ареальных, исторических и т.п.), т.е. на о б о г а щ е н и и некоего абстрактного языка, а не на о г р а н и ч е н и и его жесткой правильностью (на противоположном принципе, пожалуй, основана последняя реформа албанского литературного языка, поставившая целью нивелировать различия между гегским и тоскским в пользу общеалбанского языка, оказавшегося при этом схематизированным по варианту грамматической схемы БЯС, к чему авторы реформы, конечно, не стремились). Можно говорить, что система литературного языка для БЯС в принципе нестабильна и допускает большее число вариантов, чем это было бы возможно в языке с окончательно отработанной литературной нормой.

Особая динамичность БЯС, обусловленная действием балканистических процессов, в свою очередь имплицирует относительное безразличие к единственности решения: на каждом эта-

inslav

пе открывается возможность выбора по меньшей мере двух способов выражения одного и того же смысла (например, синтетическим и аналитическим). Поскольку любое сопоставление балканских языков внутри БЯС ориентируется на некую интуитивно ощущаемую общую схему, была предпринята попытка материализации этой схемы: построение грамматики БЯС как каркаса структуры н е с к о л ь к и х языков. Помимо ряда практических преимуществ этот подход представляется плодотворным и в теоретическом плане: если считать, что механизм балканского многоязычия основан на инварианте, обеспечивающем переход к конкретным языкам, то грамматическая схема языка-посредника в системе БЯС как раз и соответствует этому инварианту, возникающему в процессе многоязычных контактов.

ПОСТРОЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СХЕМЫ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

В соответствии с этими задачами устанавливалась синтаксическая схема БЯС. Предварительно были составлены однородные описания синтаксических систем отдельных балканских языков-членов БЯС (албанский, болгарский, македонский, новогреческий, румынский); затем эти описания были сведены воедино, и на их основании была построена синтаксическая схема БЯС. Балканские языки были описаны способом, впервые примененным к синтаксису пали (Т.Я. Елизаренкова, В.Н. Топоров). Суть его состояла в том, чтобы определить для каждого языка инвентарь *элементарных синтаксических конструкций* (ЭСК). ЭСК представляют собой минимальные, как правило двучленные, элементы текста, в которых реализуются все известные типы связей между словами в простом предложении (подчинительная — согласование, управление, примыкание — и сочинительная), т.е. перечисляются все существующие в языке комбинации полнозначных и неполнозначных классов слов (имя и глагол, имя и прилагательное, имя и предлог и т.д.). Набор ЭСК представляет собой инвентарь для построения предложения, сначала простого, затем сложного, и (со всеми возможными трансформациями) задает набор основных синтаксических отношений. Составленные таким образом синтаксические схемы балканских языков были затем сведены воедино и образовали синтаксическую схему БЯС, которая позволила прийти к выводам общего плана, во многом для автора неожиданным.

В основе нашего подхода была прежде всего та мысль, что грамматическая система БЯС, понимаемая как концептуаль-

inslav

ный язык-посредник с несколькими терминами; отнюдь не безразлична к своим «терминам» и потому должна сочетать условность и обобщенность с ориентацией на каждый конкретный язык; в противном случае это была бы схоластическая конструкция, еще одна классификационная схема. Поэтому было сочтено необходимым сохранить ту двойственность или даже многовариантность (sc. амбивалентность), которая пронизывает систему БЯС на всех уровнях вплоть до семантического, где это свойство находит особенно отчетливое выражение. На грамматическом уровне многовариантность проявляется прежде всего в сочетании синтетизма и аналитизма, финитных и нефинитных глагольных форм, паратаксиса и гипотаксиса и т.д. Эти контрастные конструкции в БЯС сосуществуют, создавая друг другу фон; это происходит не только на межъязыковом уровне, но и внутри одного языка. Учет вариантов-дублетов естественным образом увеличил список ЭСК, формирующих синтаксическую схему БЯС, уведя его от теоретико-множественного произведения, т.е. от набора только тех конструкций, которые проходят по всем балканским языкам — членам БЯС. В результате набор ЭСК синтаксической системы БЯС оказался равным 21. Эта схема представляет собой лингвистическую матрицу, в которой отливается все, что затем поступает в БММ.

В контексте полемических рассуждений о целесообразности объединения балканских языков в союз нередко делается упор на неуникальность балканизмов. На первый взгляд избранный метод описания такую усредненность подтверждает: возникает соблазн подстроить под эту же схему какой-нибудь другой, небалканский язык, что как будто получается. Но в том и особенность БЯС, что его уникальность создается м о н т а ж о м неуникальных элементов. Н е о б ы ч н о е возникает из о б ы ч н о г о благодаря тому, что сам монтаж построен на противопоставлении составляющих и одновременном их сосуществовании и перетекании друг в друга.

Приведем лишь некоторые примеры. Отдельные языки, входящие в БЯС, и соответственно вся система БЯС в целом, балансируют между падежами и предлогами. Этот баланс — не в пользу падежей, поскольку, кроме предлогов, они стираются всё более активизирующейся аппозицией. Однако пренебрегать склонением или даже недооценивать его роль в БЯС было бы совершенно неверным, хотя, с другой стороны, нельзя не отметить характерную для БЯС «игру на минимуме приемов»: в масштабе БЯС категория склонения регулярно поддерживается приблизительно десятком местоименных форм. Другой при-

inslav

мер — категория сложных слов, представленная во всех балканских языках. Показательно, что наиболее разработана она в новогреческом, т.е. в языке с максимальным набором флективных средств, и менее значительна в славянском фрагменте БЯС, где скудость формального инвентаря приводит к весьма четкому выражению аграмматической тенденции. Актуальность и продуктивность категории сложных слов в новогреческом в определенном смысле можно трактовать как борьбу с собственной флективностью (и даже с предложными конструкциями) в пользу нулевого выражения синтаксических связей.

Другая нетривиальная особенность синтаксической системы БЯС состоит в том, что ей свойственно притягивание друг к другу служебных (неполнозначных) элементов, что создает в определенных точках текста их скопление, цепи. По своей функции эти цепи являются особо отмеченной точкой БЯС; они представляют собой структурный остов предложения, на котором крепятся остальные — полнозначные — элементы. И тут, вполне в духе БЯС, происходит своего рода структурно-семантическая инверсия: самые короткие, неполнозначные лексемы («словечки», «частицы») как бы укрупняются и становятся более маркированными по смыслу и по функции, чем полнозначные элементы. Они играют роль фиксаторов, занимающих в предложении единственные или, во всяком случае, предсказуемые позиции, в то время как остальные элементы предложения «плавают» достаточно свободно на оставшихся местах. Нельзя не упомянуть и их фонетическое оформление, направленное на звукопись; это как бы звуковые жесты (Е.Д. Поливанов), соединяющие чистый дейксис с некоторой эмфазой; в этом смысле оппозиция неполнозначных элементов полнозначным кроме чисто функционального имеет еще и несомненное эстетическое значение.

Уже эти примеры дают, как представляется, общий очерк той динамической картины, которую представляет собой грамматическая система БЯС. Если идти дальше, то с синтаксисом, семантикой БЯС — вообще с его структурой в широком плане — может быть сопоставлен процесс медиации, как он понимается в фольклоре. Медиация, или примирение противопоставленных членов оппозиции, результатом которого является достижение более высокой ступени, приводит как бы к двойной маркированности, когда в общий фонд сливаются «взносы» обоих членов оппозиции. Финальный результат превосходит инициальный статус как раз потому, что примирение оппозитов приводит к возникновению нового смысла, новой катего-

inslav

рии — словом, новой единицы, принадлежащей более высокому уровню. Действительно, когда мы рассматриваем такие типичные черты БЯС, как слияние родительного и дательного, нейтрализацию по модальности, по залогу, «уравнение» подчинения и сочинения (аппозиция, взаимозаменяемость конструкций с союзами *и* и *чтобы*) и т.д., то такого рода явления и тенденции нельзя интерпретировать как безразличие языка к дифференцированному выражению смысла. Напротив, перед нами — более масштабная классификация, переход к тому уровню, где факт противопоставления перекрывается единством диалектического характера, позволяющим распознать в оппозиции способ глобального описания объекта, добиться большей смысловой ёмкости, имплицирующей амбивалентность имплицируемой ею.

Синтаксическая схема БЯС, снабженная правилами перехода к каждому из балканских языков и обратно, так же как правилами межъязыкового перевода, приводит к ряду существенных выводов по поводу механизма межбалканских контактов. Конвенциональный язык-посредник БЯС может быть представлен следующим образом: он адекватно описывается единой грамматикой БЯС; его словарь в определенном смысле соответствует словарю языка с высокой степенью синонимии. При переходе с одного балканского языка на другой ставится задача перехода от метаграмматики к реальной грамматике и от металексемы к реальной лексеме. Разумеется, это язык-посредник особого рода, так сказать, высшего порядка, предполагающий, что глубинная общность балканских языков имеет в основе не только общую структурную схему, но и некоторый общий инвентарь для ее воплощения. Однако это ни в коем случае не означает унификации балканских языков.

ОППОЗИЦИЯ *ПОХОЖЕСТЬ/НЕПОХОЖЕСТЬ* И МЕХАНИЗМ КОНТАКТОВ

Чем обоснованнее и естественнее выстраивается общее в БЯС, чем успешнее единый и экономный набор ЭСК обслуживает балканские языки — все вместе и каждый в отдельности, — тем ярче и настойчивее выступает индивидуальность, несмешиваемость, консервативная прочность каждого из них. «Несомненность БЯС» (в конвенциональном смысле) встречает сопротивление в столь же несомненном своеоб-

inslav

разии каждого языка (ср. особенно балканославянский фрагмент БЯС — расхождения в близкородственных языках).

Ситуация настоятельно требовала введения специального критерия описания, и таким стала оппозиция *похожесть/непохожесть*. Эта на первый взгляд расплывчатая и неэнергичная терминология введена для того, чтобы представить онтологическую суть проблемы и избежать того механицизма, который присутствует, в оппозиции *сходство/различие* с экстенсивным перечислением соответствующих примеров. Суть введенной оппозиции в том, чтобы описывать балканские языки одновременно как п о х о ж и е, и н е п о х о ж и е друг на друга; это вновь обращает нас к процессу медиации. Примирение противопоставленных членов приводит не к усреднению («в чем-то похожи, а в чем-то непохожи»), но к особому статусу, в котором п о х о ж е с т ь не означает унификации, а н е п о х о ж е с т ь не опровергает наличия единой структурной схемы. Переходя на бытовой уровень, можно сказать, что балканские языки воспринимаются как п о х о ж и е или даже у д и в и т е л ь н о п о х о ж и е, поскольку п о х о ж е с т ь проявляется и в более общем, и в почти неожиданных деталях. С другой стороны, они столь же н е п о х о ж и, несмешваемы, индивидуальны. Это особенно очевидно при сравнении параллельных текстов на балканских языках, где без перехода на уровень глубинных структур трудно воспринять как идентичные такие конструкции, как хотя бы 'дом отца': алб. *shtëpia e i atit*, болг. *кьщата на баща*, мак. *куќата на татко*, нгр. το σπίτι του πατέρα, рум. *casa tatălui*. В своем взаимодействии оппозиты как бы питают, высвечивают друг друга. П о х о ж е с т ь балканских языков не была бы столь яркой, не воспринималась бы так живо, если бы она не подкреплялась н е п о х о ж е с т ь ю, и наоборот. В нашем собственном опыте оказалось, что именно описание системы БЯС через ЭСК, чрезвычайно высокая степень совпадения отдельных «балканских наборов ЭСК», почти непредвиденная легкость приложения единой схемы ко всем языкам БЯС заставили по-новому и с особой остротой ощутить основоположную индивидуальность балканских языков, их сугубую «р а з н о с т ь».

Это, в свою очередь, позволило по-новому интерпретировать механизм БЯС: он основан не столько на схождениях балканских языков, вызываемых требованиями коммуникации в условиях контактов, сколько на постоянно актуальном с и м б и о з е их п о х о ж е с т и и н е п о х о ж е с т и. Следует подчеркнуть, что действие балканистических процессов направ-

inslav

лено на выработку единой м е т а с т р у к т у р ы, а не единого я з ы к а. Постулирование взаимодействия факторов п о х о ж е с т и и н е п о х о ж е с т и в системе БЯС побуждает выйти за пределы списка балканизмов и обратиться к наблюдениям за гораздо более обширным кругом явлений. Это, например, различные совпадения между отдельными балканскими языками в разных количественных и качественных комбинациях, совпадения между балканскими и небалканскими языками из ближнего и дальнего окружения (ср. средиземноморский ареал, балто-балканский ареал и т.п.). Эти явления репрезентируют самое жизнь БЯС, ее динамику, постоянное «кипение» балканистических процессов, наложение конвергентных и дивергентных явлений, выплескивающееся за границы БЯС, во многом, впрочем, условные. Вся совокупность этой «жизни БЯС» формирует ту ткань, из которой кристаллизуется система БЯС.

Однако нередко весь этот материал как бы повисает в воздухе и остается невостребованным: слишком жесткой оказывается традиция приписывать ранг «балканизма» лишь тем явлениям, которые проходят по всем балканским языкам — членам БЯС. Безусловно, этот путь определения балканизмов надежен и защищает от экстенсивности, для установления каркаса БЯС и, следовательно, его границ он, пожалуй, и единственно надежен. Однако такого рода «ограничительный» способ описания разумен до определенных пределов: постепенно и естественно, имплицируемая материалом, поставляемым самой балканской ситуацией, намечается и другая возможность определения балканизма, идущая в следующем направлении: *балканизмы* — изменения, проходящие по *всем* языкам, → *балканизмы* — изменения, проходящие по г р у п п а м балканских языков, → *балканизмы* — изменения в о т д е л ь н о м балканском языке. Последнее утверждение может показаться неосторожным, но будучи столь же крайним, как и первое, оно и должно восприниматься как условное. С у ж е н и е списка балканизмов необходимо для установления максимально о б щ е й структуры БЯС, и оно предельно как исходная точка, *до* которой о БЯС не имеет смысла говорить; однако очерченная таким образом модель имеет значение и начальной точки, *после* которой только и имеет смысл говорить о БЯС.

Если считать балканистичными структурные изменения, которые возникают в любых комбинациях контактирующих балканских языков, с тем прогнозом, что в дальнейшем данное изменение может коснуться и большего числа языков (а в пре-

inslav

деле — всех), то довольно скоро возникнет проблема: как трактовать схождения в балканских языках при отсутствии непосредственных контактов между ними? Очевидно, к п р я м ы м контактам надо прибавить и н е п р я м ы е, к непосредственным — опосредованные и включить и те, и другие в понятие балканистических процессов, под которыми понимается втянутость данной языковой зоны в состояние взаимодействия, уже перешедшего рубеж зависимости от непосредственных контактов. Иными словами, балканистические процессы предполагают чуткую реакцию языка на любое возмущение системы: вызвано ли оно реальными контактами, или более общими причинами. К числу последних может относиться подспудно осознаваемая общая схема БЯС, как бы давящая на своих носителей.

Теория контактов предполагает установление источника и объекта интерференции. В приложении к БЯС эта идея оказывается малопродуктивной. В балканских языках, прошлые состояния которых хотя и в разной степени, но достаточно известны, не может быть с достоверностью установлен ни один «по преимуществу балканизмопроизводящий язык», и причина этому, как представляется, не (или не только) недостаток источников, но и особенности БЯС, где наиболее фундаментальные схождения возникли как бы из нуля: в основе их лежала не с у б с т а н ц и я, а и н т е н ц и я. Такая трактовка механизма БЯС не претендует на истинность в философском смысле, но она по крайней мере операционна, что немаловажно, поскольку операционность сама по себе может приблизить истину.

Принимаемая нами точка зрения состоит в априорном отказе от соотношения *источник — объект заимствования.* Взамен этого выдвигается идея существования некоей общей модели БЯС (приблизительно соответствующей диаструктуре У. Вайнрайха), на которую ориентированы структуры отдельных балканских языков. Эта модель конвенциональна, как сугубо конвенциональны и вытекающие из нее следствия: любое изменение в структуре отдельного балканского языка есть прежде всего результат воздействия на него модели БЯС, а не контакта с другими языками. Модель БЯС понимается в двух аспектах: 1) как схема грамматической (синтаксической) структуры БЯС; 2) как схема, выводящая к анализу характера и направления балканистических процессов. Состояние системы БЯС на уровне выведенной модели может быть сформулировано следующим образом: в БЯС сосуществуют центростремительные

inslav

и центробежные процессы; формирование гомогенного ядра, собирающего характеристики языков — членов БЯС, сочетается со свободой, принципиальной неоднозначностью, многовариантностью. Соприкосновение с языковым материалом БЯС уводит от эволюционистского подхода к механизму БЯС как к развивающемуся линейно, от частного к общему, от разного к единому. Соотношение *похожесть/непохожесть* постоянно контролирует статус балканских языков в кругу БЯС: их структурное единство несомненно (что и оправдывает построение грамматики БЯС), но при этом балканские язык н е п о х о ж и друг на друга. Выработка единой системы как бы стимулирует противоположный процесс — сохранение исторических и генетических корней, живое ощущение своего прошлого, что и гарантирует н е п о х о ж е с т ь. Противоположные тенденции не опровергают, а усиливают друг друга — следование правилам не отрицает свободы, единство не означает одинаковости, а различие — отсутствия единства.

БАЛКАНСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ СОЮЗ И ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ

Описание системы БЯС т о л ь к о с точки зрения единства структуры балканских языков является, таким образом, неполным и односторонним. Для преодоления этой односторонности вводится критерий к о м м у н и к а ц и и. Предполагается, что и в своем единстве, и в своем разнообразии система БЯС ориентирована на осуществление коммуникации в затрудненных условиях; поэтому в основу должна быть положена к о м м у н и к а т и в н а я м о д е л ь, ориентированная на балканистические процессы и независимая от пространственно-временны́х параметров. В коммуникативную модель не включается понятие с т е п е н и балканистичности: балканистичны в с е языки постольку, поскольку они входят в БЯС и, следовательно, «подгоняют» свое устройство к оптимальному осуществлению коммуникации в условиях балканского многоязычия. (Естественно, коммуникативную модель нельзя рассматривать независимо от формально-грамматической.) Коммуникативная модель предлагает свой вариант будущего системы БЯС: очевидно, что балканские языки н е р а з о й д у т с я, если только не изменятся кардинально условия их существования, но вместе с тем и н е о б ъ е д и н я т с я в один язык: это

inslav

им и не нужно, имплицитное единство настолько существенно, что оно не требует внешней идентичности, как родство душ не требует внешнего сходства.

Приступая к описанию коммуникативной модели, укажем, что она ориентирована на две основные характеристики коммуникативного процесса в условиях перехода с языка на язык: 1) изменение грамматической системы; 2) выработка способов установления и проверки контакта. К первому относится сознательное упрощение родного языка (supersimplification, по Вайнрайху), которое можно определить как стремление к аграмматизму. Аграмматизмом охвачены все балканские языки, хотя результаты этого процесса, наложенного на разный исходный материал, проявляются по-разному, и примеры «борьбы» балканских языков со своей грамматикой многообразны. На коммуникативном уровне аграмматизм может быть приписан всем балканским языкам в качестве своего рода «над-балканизма».

Но здесь встает вопрос об уровне смысла. Крайний случай аграмматизма — соположение исходных словоформ — в принципе соответствует выражению л ю б о г о смысла. Каковы бы ни были средства выхода из этой ситуации в конкретном случае, именно на основе аграмматизма вырабатывается столь характерное для системы БЯС (и шире — для *балканской модели мира* — БММ) стремление к принципиальной амбивалентности. Вопрос о том, как при недостатке формальных средств выразить смысл однозначно, может быть решен парадоксально просто: 1) это несущественно, т.е. не мешает пониманию, отражая приблизительно такую закономерность: неопределенное — неопределимо; неопределимое излишне определять; 2) если смысл нельзя определить однозначно, значит, он не единствен. Тем самым чистая грамматика переводит проблему на уровень философской интерпретации языка. Действительно, можно ли требовать от текста (ситуации) однозначности только на основании того, что эта однозначность постулируется нормативной грамматикой? Кажущаяся простота и кажущаяся «неразработанность» балканских языков оборачиваются особой тонкостью, почти изощренностью. В балканских языках, так же как и в БММ, как бы не ставятся точки, в них нет окончательности, а лишь временные остановки, за которыми есть (или ожидается) н е ч т о, может быть, более важное; это н е ч т о может так и остаться закрытым, но именно оно продвигает на более высокий уровень восприятия и познания мира.

inslav

Что же касается реализации контакта, то здесь акцент падает на неполнозначные элементы, на их цепи, образующие каркас конструкции, на которой крепятся полнозначные элементы. Упрощенная грамматика еще не гарантирует успешного осуществления коммуникации в условиях разноязычия; она может оказаться слишком нейтральной для той острой ситуации, в которой встают по крайней мере еще три задачи: 1) маркированность начала, «контактоустановление» (Б.К. Малиновский); 2) проверка контакта на протяжении всего акта коммуникации; 3) выделение значимых элементов сообщения, что уже соответствует переходу на уровень смысла. Эти задачи и решаются прежде всего с помощью неполнозначных элементов — шифтеров ситуации (артикли, предлоги, союзы, приглагольные грамматические частицы, местоименные и глагольные клитики и т.п. и фатические частицы, прежде всего междометия). Этот же класс элементов имеет еще один функциональный аспект, так же существенный для ситуации контактов: речь идет о разрежении потока информации, когда для уяснения смысла человеку требуется некоторый разгон, паузы в концентрированном сообщении.

Принятый здесь достаточно общий подход, с самого начала объявивший отказ от проблемы балканского regretuum mobile — генезиса балканизмов, при своей заведомой неуникальности являющихся основой длительного языкового сообщества, — все-таки не позволяет миновать эту же самую проблему. Очень многое говорит о том, что балканские языки пошли по распространенному, если не универсальному, пути приспособления языка к ситуации разноязычного общения. Более того, соответствующие аналогии прослеживаются и далее, выходя за пределы узуса современных языков по направлению к индоевропейской системе с ее нанизыванием клитик в инициальной или вообще в пограничных позициях. Можно сказать, что балтийские языки в одних случаях сохраняют и продолжают старое индоевропейское наследие; в других случаях речь идет о своеобразной рекурсии, возвращении к состоянию, типологически близкому к индоевропейскому. Сказанное не противоречит высказанному ранее утверждению, что в основе БЯС лежит не субстанция, а интеция: балканские языки используют свои собственные ресурсы, модифицируя их применительно к требованиям момента — растянутого во времени и пространстве.

inslav

«СКВОЗНОЙ ПОДХОД»: ОТ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА К БАЛКАНСКОЙ МОДЕЛИ МИРА

Обращение, хотя и в несколько нетрадиционном плане, к генезису БЯС в связи с его исторической преемственностью, восходящей к индоевропейскому, заставляет вернуться к некоторым особенностям его внутренней структуры, постулируя более высокую степень взаимосвязи разных ее уровней, строгое разделение которых является скорее фактором описания. «Сквозной подход» к БЯС приводит к представлению языковой структуры как многоярусной, где при переходе от яруса к ярусу обнаруживается некий промежуточный слой и где просматривается ось *фонетика* → *семантика*, т.е. *обозначающее* → *обозначаемое*, или *звук* → *смысл*. Постепенность перехода или «подъема» уровней в языковой структуре помогает увидеть, как звуковая оболочка, обрастая новыми дифференциальными признаками, получает статус, при котором материальная манифестация как бы отступает перед смыслом в чистом виде, однако не дает забыть о себе как о столь же важном компоненте языковой единицы. Каждый языковой уровень поставляет свой материал для формирования последующего, и если оказывается возможным построить синтаксис БЯС и на его основе перейти к семантике БЯС, а далее — к БММ (балканская модель мира), то нельзя забывать о том, что в начале этой грандиозной конструкции лежит, казалось бы, скромная лепта звукового уровня.

По мере анализа все больше и больше проявлялось «давление» материала на собственное описание. Амбивалентность, присущая системе БЯС, непрестанно происходящие в ней борьба и примирение оппозиций привели к тому, что и метаописание БЯС оказалось построенным на противоположностях. Так, казалось бы, неопровержимым является вывод о том, что *б а л к а н с к и й я з ы к есть любой язык в условиях затрудненной коммуникации, что соответствующие изменения являются реакцией языка на «возмущение системы» извне, что и эти точки, и характер изменений более или менее предсказуемы. Можно идти далее и предполагать, что любой языковой союз, построенный на индоевропейской основе, будет однотипным балканскому. Но именно здесь настойчиво напоминает о себе положение, что БЯС уникален, что входящие в него языки в полной мере сохраняют свою самостоятельность и своеобразие и что, наконец, далеко не все соседи БЯС по региону под-

inslav

даются балканизации. Следуя основному принципу структуры БЯС, не имело смысла стремиться к однозначному ответу, независимо от того, насколько это реально: индивидуальность и независимость развиваются на основе глубинного единства, и надо отказаться от попыток ввести БЯС в несвойственные ему рамки чрезмерного детерминизма.

Построение единой синтаксической схемы БЯС с самого начала предполагалось как некоторый промежуточный этап для перехода к следующему, семантическому уровню. Но строгое разграничение и здесь оказалось невозможным; более того, сухие и условные синтаксические конструкции выводили к проблемам человека и представляемой им картины мира, т.е. в конце концов — к БММ. Это, как представляется, индуцировалось состоянием современной балканистики (как и современной лингвистики, особенно лингвистической семантики), характерной чертой которой является, во-первых, то, что она вольно или невольно стремится перейти границы только лингвистики, только фольклора или литературы и т.п.; во-вторых, то, что ослабляется интерес к созданию глобальных схем. Возникает напряженное внимание к иным проблемам, тем, которые описывают самое балканскую ситуацию. Она же, в свою очередь, может быть сформулирована как единство противоположностей или монтаж уникального из неуникальных элементов и отсылает далее к еще более глубокому слою, охватывающему духовную жизнь Балкан — к проблеме коммуникации в рамках *я/другой*.

Переход от языковых структур к неязыковым был запрограммирован концептом ЯС; стоит подчеркнуть, что Трубецкой включал ЯС в гораздо более обширную систему, а именно в то, что он называл изучением «национального самопознания», которым должна заниматься особая комплексная дисциплина — «этнософия». Предложенное им понятие «многонародной личности», которая проявляется в разных индивидуациях в соответствии с разными формирующими эту личность народами, как нельзя более приложимо к Балканам. Если перевести понятийную систему Трубецкого в современную терминологию, то можно говорить о семиотическом описании *модели мира* (ММ) как на уровне универсалий, так и в проекции на конкретные традиции. Такое описание учитывает разные коды, представляющие ММ, и особенно выделяет код лингвистический, который в определенном смысле составляет каркас ММ, а в нашем случае ближе всего подводит к концепту homo balcanicus, важейшей строительной частью которого является язык.

inslav

ЯЗЫКОВОЙ КОД В МОДЕЛИ МИРА

Переход к внелингвистическому уровню не означает расставания с языком: язык, напротив, оказывается универсальным орудием описания, классификационной сеткой, наконец, семантической основой картины мира. В этом смысле можно говорить об уникальности языка как особого кода ММ и о не менее уникальной ситуации, когда часть, элемент, орудие описывает целое и обращает свое действие не только на положенный ему «участок», но на «работодателя» (ММ) и на самоё себя. В проекции на ММ язык выступает в двойном аспекте; 1) как метакод ММ, посредник для всех прочих кодов ММ, а может быть, и как медиатор, выявляющий высшие смыслы; 2) как самостоятельный код ММ, символический по преимуществу, код, которым может быть записана вся ММ. Естественно, возникает соблазн определить функцию языка-кода как творческую, а функцию языка-метакода ММ как техническую. Однако природа языка слишком сложна, чтобы допускать столь элементарную дихотомию. Пожалуй, наиболее точно описать двойной аспект языка в рамках ММ (а в более широком смысле — вообще отношения между языком и ММ) можно в духе рассуждений Вячеслава Иванова о forma formans, понимаемой как «созидающая идея целого и всех его отдельных частей» и имеющей результатом forma formata. При этом операция forma formans действует в двух направлениях — и к ММ, и к языку, т.е. как ММ формирует язык, так и язык формирует ММ. В терминологии К. Леви-Стросса, ММ структурирует язык, а язык — ММ, и то, и другое без прямолинейности и не слишком явно (бриколаж). Во главу угла при этом поставлен менталитет, классифицирующий и мир, и язык по единым правилам (Л. Витгенштейн). В конце концов это возвращает нас к гумбольдтовскому «в языке мы всегда, находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации».

Идя дальше, в анализе взаимоотношений языка и ММ, нельзя ограничиваться пониманием языка исключительно как средства коммуникации и сведéнием культуры к чисто информативным параметрам. Над этим поднимается творческий аспект языка и культуры в их высших и экстремальных состояниях; границы между языком и культурой становятся условными, поскольку язык начинает выступать как важнейший фактор самой культуры, мыслимой как содержание, реализующееся в языке; язык моделирует мир не только через сложение своих

inslav

элементов в текст, но и через свою парадигму (В.Н. Топоров). Тем самым постулируется понятие языка-текста: то, что считалось чистой парадигматикой, переходит на синтагматический уровень, становясь текстом особого рода. Лингвистический уровень подталкивает к выходу за свои собственные пределы, и это ощущается как насущная задача современной балканистики, свыкшейся с идеей балканской модели мира — еще до того, как она были «узаконена». Наступило время, когда накопленный материал требует классификации и интерпретации, а теория указывает на особую роль языка как в формировании БММ, так и в ее описании.

БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА

Подходя к анализу БММ, мы с самого начала отказались от такого описания, которое по аналогии с БЯС предполагало выработку единой схемы. Вполне возможно, что «непоявление Сандфельда» в этой области не так уж случайно: для БММ нужны какие-то иные критерии, бóльшая свобода, готовность к неожиданным переходам, от скольжения и перетекания до резких рывков. Поэтому было решено остановиться на некоем общем представлении БММ, высвечивающем те ее фрагменты, детали, оппозиции, которые представляются формообразующими. Соответственно этот же принцип соблюдался и в отношении языка как кода БММ: и здесь анализировалось их о б щ е е соответствие и те языковые фрагменты, которые это общее отражают на категориальном уровне. Мы старались, насколько это возможно, отразить то многообразие БММ, которое, вырастая из схождений и поддерживаемое ими, перекрывает любую схему, пытающуюся разложить это многообразие по клеткам. БММ актуализирует понятия *балканцы* (в которое вкладывается и нечто большее, и нечто иное, чем только географическое указание на «место жительства») и *балканский менталитет*. Как и в случае БЯС, первое же соприкосновение с каждым членом этой «многонародной личности», т.е. с каждым балканским народом, его традицией, духовной культурой, раскрывает их глубокую индивидуальность, неповторимость, н е п о х о ж е с т ь, даже контрастность. С этого контраста, с оппозиции *тождество/различие* (*тот же самый/иной*), в определенном смысле начинаются Балканы. Ситуация, может быть, не уникальная, но здесь имеющая особо высокий экстенсионал. Поразительна разработанность самосознания позволяю-

inslav

щего почти моментально проходить ступени от б а л к а н ц а — предельно общего в данном масштабе понятия, которому противопоставлены все остальные, — до с е б я с а м о г о и с в о е г о дома, которым противопоставлен ближайший сосед. Существенная черта балканского менталитета — чувство исторической непрерывности, преемственности, которое исходит из исконной принадлежности к с в о е м у локусу. Ценность такого чувства с в о е г о времени и с в о е г о пространства бесспорна; другое дело, что это дает возможность для идеологических, политических и тому подобных манипуляций, искажающих исходное бескорыстие самой идеи.

Безусловно, одновременное ощущение общности и индивидуальности свойственно не только балканскому менталитету. Однако специфика Балкан — постоянные межэтнические контакты — реализует эту едва ли не универсалию в ярком, резком, особом, в б а л к а н с к о м образе. Одно из свойств «балканскости» в аспекте БММ состоит, как уже выше было сказано, в том, что неуникальные явления складываются в уникальную мозаику. Это свойство было отмечено при анализе балканских языков в аспекте БЯС: по каждому из балканизмов можно образовать языковые сообщества, выходящие за пределы Балкан, но вне Балкан нет языка, который обладал бы необходимым минимумом балканизмов и нес бы в себе тот энергетический заряд, который позволял бы судить о его прошлом и настоящем и в какой-то степени прогнозировать будущее. Можно снова сказать, что таким образом характеризуется любая, во всяком случае европейская, ММ, но здесь речь идет о конгломерате моделей мира, которые, собранные вместе и остающиеся самими собой, создают нечто общее, которое является бóльшим и новым.

Говоря о «балканскости», вновь обратимся к БЯС: описание и представление балканского языка в балканистическом аспекте должно принципиально отличаться от других описаний того же языка — в кругу родственных ему, в свете общей типологии или даже в своих собственных пределах. Попадая в сферу БЯС, грамматика высвечивает те черты языка, которые и делают его балканизированным. Этот же принцип может быть положен и в основу описания БММ. Вряд ли на первом этапе в наборе оппозиций встретится нечто, характерное исключительно для Балкан. Однако речь идет о некоей целостности,порождающей и н о е, преображающей тот материал, который, как к а з а л о с ь, не давал на это надежд, но, как о к а з а л о с ь, заключал в себе зерно преображения. О б щ н о с т ь БММ сущест-

inslav

вует только на основе р а з н о г о, поддерживается и питается прочной индивидуальностью балканских языков и традиций и, в свою очередь, питает и поддерживает эту индивидуальность. Различия, оказывающиеся тождеством (Фрейденберг), тождества, оборачивающиеся различием, — всё это создает перед участниками балканского диалога (или полилога) многообразные пути для ухода от выбора *да/нет*, т.е. от однозначности. Это создается особое отношение к проблеме истинности, достоверности и особые роли участников, которые произвольно (интенционально) усиляют или ослабляют неопределенность. Амбивалентность проявляется и в том, что сто́ит членам БЯС/БММ объединиться на основе сходства, как раскрывается их индивидуальность, прорывающаяся через униформу общей структуры. Постулирование БЯС и БММ как конвенциональных концептов имеет смысл лишь постольку, поскольку сохраняется индивидуальность каждого из входящих в них членов.

Н е о п р е д е л е н н о с т ь, которая не дает возможности сказать, когда же каждый из языков — членов БЯС балканизировался, значима и поддерживает то амбивалентное состояние, когда каждый язык и п о х о ж на другие, и н е п о х о ж. То же самое сохраняется и для БММ, где при переходе от общей схемы к уровню текста, т.е. от competence к performance, приходится также балансировать между о д и н а к о в ы м и р а з н ы м. Понятие «одинокого балканизма», предложенное на языковом уровне (таким образом прояснялся характер языка — в гумбольдтовском смысле — в его балканской ипостаси), может, как представляется, с тем же основанием быть приложено к уровню БММ. В сопоставлении БММ и языка-кода избирается ориентация на «балканский макроконтекст» как на «мерцающий объект», определяемый только ответом на вопрос о сути самого феномена Балкан и об определении тех сфер, в которых он проявляется и которыми он формируется (В.Н. Топоров). Однако отсутствие определения не исключает возможности выявления наиболее существенных характеристик этого феномена и тем самым БММ. БММ может быть описана системой «нестабильных» противопоставлений, варьирующих свой экстенсионал вплоть до нейтрализации или даже мены знака. В конечном итоге здесь действуют одновременно и бинаризм, и отрицание бинаризма.

Рассматривая БММ как целостность и е д и н с т в о, образованное дискретным и р а з н ы м, в качестве первой классификационной сетки мы выбрали пространственно-временны́е оппозиции, которые в свою очередь были проецированы на

inslav

человека, т.е. вписывались в антропоцентричную классификацию. Точкой отсчета в этом случае служили относительные критерии — не имманентное пространство и время, а положение человека в пространстве и во времени. Человек перемещается в пространстве, время течет, и в БММ это находит особое, свойственное только этой модели выражение. Одна из основных оппозиций, а для БММ, быть может, и главная — оппозиция *внутренний/внешний*, отраженная в других — *закрытый/открытый, замкнутый/незамкнутый, близкий/далекий, здесь/там, этот мир/иной мир* и т.д. К этому набору присоединяются временные оппозиции *свет/тьма, день/ночь* и более подробное членение времени, основанное на цикличности (календарный год, век и т.п.). Сплетение пространственно-временных оппозиций создает в БММ весьма четкую структуру. И следует специально остановиться на том, почему в рамках этой структуры пространственные оппозиции, и «*внутренний/внешний*» в первую очередь, можно считать определяющими семантическую структуру БММ и каким образом оппозиция, столь безусловно дихотомичная, определяет семантику той ММ, для которой постулируется амбивалентность, уход от бинаризма (правда, преодолевать дихотомию умеет едва ли не любая ММ).

ОППОЗИЦИЯ *ВНУТРЕННИЙ / ВНЕШНИЙ* И ЕЕ ТРАНСФОРМЫ В БАЛКАНСКОЙ МОДЕЛИ МИРА

Здесь, как представляется, главное то, что оппозиция *внутренний/внешний* является принципиально субъективной (исходя из понятия субъективности в языке, Бенвенист). Границы определяются в зависимости от человека, и они могут меняться, а вместе с ними меняются и границы собственности, т.е. того, что принадлежит человеку: одно теряется, другое приобретается, свое становится чужим, и наоборот. Если выделение замкнутого пространства имело целью отделить себя и свой мир от нерасчлененного внешнего и сделать главной ценностью только свое, внутреннее, то в перемене границ заключается возможность признания чужого, которое может стать своим (так же как может произойти и отторжение своего, соответственно превращающегося в чужое). Органичность, с которой оппозиция *внутренний/внешний* превращается в коде социальных отноше-

inslav

ний в оппозицию *свой/чужой*, отмечалась неоднократно, и, как никакая другая, она связана с ориентацией человека в пространстве. Создаваемый человеком микрокосмос, т.е. «пространство в пространстве» макрокосмоса, в н у т р и, в отделении от в н е ш н е г о, создает не только уверенность в безопасности, но и ощущение с е б я и с в о е г о как самостоятельной и единственной в своем роде личности. Перекраивание границ в буквальном и переносном смысле, постоянная смена ролей победителя и побежденного, миграционные волны, смены и сосуществование, изменение и возникновение племен, этносов, смена конфессий, схождение и отталкивание традиций — всё то, чем пропитано прошлое и настоящее Балкан, — не может не оставлять резкого и глубокого следа в БММ. В данном случае примечательна даже не лежащая на поверхности острота оппозиции *свой/чужой*, а необыкновенная динамичность в переоценке, в признании ч у ж о г о и едва ли не одновременном его отталкивании, далеко не всегда обусловленном конкретной ситуацией.

На первый взгляд это может показаться неожиданным, но в визуальном коде пространственная оппозиция *внутренний/внешний* (*этот мир/иной, мир*); и социальная *свой/чужой* соответствуют оппозиции *видимый/невидимый* (*видящий/невидящий*). На разных вариантах реализации этой оппозиции строятся контакты э т о г о и и н о г о мира, решаемые в БММ достаточно разнообразными способами. *Ви́дение/неви́дение* является не только средством связи двух миров в визуальном коде, но приводит и к заключениям иного плана: мотив в н у т р е н н е г о зрения-знания, преимущество в н у т р е н н е г о зрения над в н е ш н и м и особые свойства слепоты как условия истинного знания и самопознания (Эдип).

Какие бы оппозиции и в каком бы контексте ни рассматривать, БММ так или иначе подводит к ситуации б о р ь б ы внутри оппозиций, с одной стороны, и к их п р и м и р е н и ю и объединению в самых разных сочетаниях — с другой. Амбивалентность, борьба с детерминированностью, неожиданные контрасты и столь же неожиданное растворение конфликтной ситуации прорываются в БММ на разных уровнях и предстают в разных воплощениях. И снова следует подчеркнуть, что, хотя формально это может совпадать с универсальными образцами, здесь оно приобретает особый «балканский» образ. Самое существенное в БММ начинается п о с л е выделения оппозиций — не только потому, что следующим этапом будет их интерпретация, но и потому, что эти оппозиции, при всей своей

inslav

определенности и несомненности, если можно так сказать, принципиально отказываются от однозначности: оппозиты меняют значение так ярко, что оппозиция преобразуется, но при этом выделенный набор противопоставлений остается, и именно он определяет смысл и структуру сообщения в каждой данной ситуации.

Эта форма функционирования оппозиций (или понятийного каркаса БММ) в определенном смысле может быть описана образом непрямого, окольного пути, воплощающего идею лабиринта, что несет на себе несомненный отпечаток структуры балканского менталитета. П р я м о й, о д н о з н а ч н ы й, о п р е д е л е н н ы й не отвечает требованиям БММ, твердо придерживающейся амбивалентности, при которой одна и та же оппозиция и один и тот же момент может означать: *или то/или другое* = *и то/и другое* = *ни то/ни другое*, а над всем этим надстраивается модальность — м о ж е т б ы т ь. Характерный для архетипического мышления бриколаж проявляется в БММ действительно как о к о л ь н ы й п у т ь (реализация метафоры, ср. жанр путешествий, занимающий столь отмеченное место в разных балканских традициях). Отпечаток, недосказанности, уход от ответа *да/нет*, загадочность, дающая ощущение какой-то смутной тревоги, безусловно, имеет мифологическую основу, связанную с архаическими традициями Балкан, в частности с их мистериальным прошлым (здесь должно быть отмечено восточное, и прежде всего фракийское, наследие Балкан, оставившее глубокий след в мистических культах таинственных божеств, особым способом связанных с нижним миром и тем самым подчеркивающих свою двуприродность, или амбивалентность, ср. Залмоксиса).

ЯЗЫКОВОЙ КОД БАЛКАНСКОЙ МОДЕЛИ МИРА

Может показаться чересчур буквальным спрямлением, но рефлексы амбивалентности, принципиальной неоднозначности, возможности нескольких решений и отказа от единственного выбора, постулируемые для БММ, просматриваются в системе БЯС, где они отражаются прежде всего в так называемом стремлении к аграмматизму. Речь идет не только об утрате ряда грамматических категорий, но и о неиспользовании того, что есть, собственных материальных ресурсов, которые привели бы к однозначному решению. Предпочтение аппозиции (и словосложения) подчинению, паратаксиса гипотаксису, т.е. стрем-

inslav

ление к простому соположению элементов; функциональная разветвленность служебных элементов в сочетании со скудным их инвентарем, что снова приводит к многозначности; наконец, сам принцип синтетически простого и аналитически сложного языка — этот «языковой образ» БММ как будто вышел из греческих предсказаний, основанных на «загадочном слове», которое действует как темный и двусмысленный знак (Вернан). Воспринявший эти свойства от БММ ее языковой код поддерживает и укрепляет их уже своими собственными средствами: он как бы их кодифицирует. Возвращаясь к примеру загадочных предсказаний, можно сказать, что загадочность обеспечивается (или по крайней мере поддерживается) тем, что на собственно языковом и, более того, грамматическом (морфосинтаксическом) уровне текст строится таким образом, что изначально предполагаются разные прочтения, т.е. разные интерпретации.

Экспликация характеристик БММ на уровень языковых категорий может быть продолжена, и вполне естественно, что прежде всего рассматривается оппозиция *внутренний/внешний*, особенно значимая для БММ. Языковые категории в данном случае выбраны по критерию субъективности, когда в качестве точки отсчета выбран ч е л о в е к. В контексте БММ и БЯС это прежде всего категория *определенности/неопределенности* и категория *пересказывания*. Первая традиционно связывается с именем, точнее, с именным дейксисом, вторая — с глаголом, но обе коренятся в противопоставлении *я—ты*, где «ни один из терминов немыслим без другого; они находятся в отношении взаимодополнительности, но по оппозиции *"внутренний/внешний"* и одновременно в отношении взаимообратимости» (Бенвенист). Пространство и человек сопряжены тем самым в особом отношении: пространство членится, когда в действие вступает классификатор, и тогда это членение становится субъективным, «по договору», в том смысле, что каждый фрагмент может выступать под разными знаками, быть то в н у т р е н н и м, то в н е ш н и м, в зависимости от изменения масштаба и положения классификатора. Лингвистическое понятие дейксиса активизирует в последнее время исследования топологии пространства средствами языка (ср. понятие специализированного дискурса). Эти рассуждения выводят дейксис за пределы имени и за пределы конкретных пространственно-временны́х указаний (того детального комментария, который получает столь яркое выражение в БЯС — «пространственная подробность» предложно-наречных уточнителей).

inslav

Однако больший интерес, как представляется, имеют не лексические средства для выражения оппозиции *внутренний/внешний*, а их категориальные аналоги; тогда с основанием можно говорить, что оппозиции БММ индуцируют и поддерживают соответствующие языковые и в свою очередь поддерживаются и индуцируются ими.

Пожалуй, наиболее яркое отражение на категориальном уровне языка оппозиции *внутренний/внешний* обнаруживается в балкано-славянском фрагменте БЯС (который в последнее время трактуется и как «союз в союзе» — Р. Александер): именно здесь соответствия получили наиболее отлитое выражение. Дейксис помещает сообщение в пространственно-временны́е рамки, которые обеспечивают коммуникативный статус сообщения, т.е. связь с ситуацией и контакт между говорящим и слушающим. Категория дейксиса играет в БЯС особо отмеченную роль: парадигматический уровень БЯС демонстрирует своего рода сгущение дейктических элементов, и этот плеоназм отмечен несомненной «балканскостью» (ветвление системы артиклей; местоименная клитика, своего рода эхо, отражатель-усилитель; наконец, фатические — междометные — комплексы, «дейктические обращения» — определители адресата и адресанта). Стремление к «мультипликации», к дроблению происходит и на синтагматическом уровне: одновременное употребление разных артиклей, местоименная реприза и т.п. Главной функцией балканского дейксиса остается присвоение субъектом пространства, идет ли речь о реальном пространстве или о пространстве текста.

Употребление «пространственных» артиклей в балканославянском фрагменте БЯС является экспликацией этого положения. Речь идет о тройном артикле в ряде болгарских, македонских и сербских говоров и в македонском литературном языке. Артикли образуют тройную оппозицию (*-в-/-с-, -т-, -н-*), где средний член (определенный артикль) как бы нейтрален, а крайние обозначают объект, соответственно близкий, и далекий по отношению к говорящему, взятому как точка отсчета. Субъект сообщения определяет собственное пространство и его границы по расстоянию между объектами. Ментальный механизм, определяющий эти расстояния, получает лингвистическое выражение. При этом близкое ощущается как свое, далекое — как чужое (ср. болг. родоп. *нашес край*), и таким образом пространственно-временно́е членение идет на фоне посессивности (ср. выше о легкости трансформирования пространственных оппозиций в социальные).

inslav

Ситуации, когда говорящий произносит «с в о й собственный текст», анализируются достаточно просто: в таком случае он сам формирует с в о е пространство. Если говорящий является не автором сообщения, а исполнителем, т.е. произносит ч у ж о й текст, то ему не надо структурировать пространство текста: это уже задано, и это «готовое пространство» — ч у ж о е для говорящего, он находится в н е его (посессивная оппозиция становится, таким образом, пространственной). В этом случае исполнитель не может изменить структуру пространства, но может по собственной воле выбрать свое положение в н у т р и или в н е пространства текста. Особенно интересную картину дает в этом отношении фольклор. В тех же родопских песнях «дальний» артикль *-н-* почти вытеснил остальные: это может быть интерпретировано как выбор говорящим позиции вне пространства текста, который он передает как своего рода косвенную речь, или reported speech. Тогда *-н-* подчеркивает границу между текстом и говорящим; оппозиция *близкий/далекий* реализуется не в н у т р и, а в н е текста; незыблемо лишь то, что говорящий является точкой отсчета. Меняется жанр — и в сказке рассказчик присваивает себе активную роль участника, стремится войти в пространство текста. Это находит выражение, в частности, в отмеченной роли «близкого» артикля *-с-/-в-* (так в македонских сказках). Тем самым употребление артиклей переступает границы нормативной грамматики, обращаясь к отношениям между говорящим и текстом, который формирует он и который формирует его. Механизм расстановки артиклей, основанный на субъективности действия, позволяет рассказчику осуществлять свое видение текстового пространства.

Выбор говорящим внешней по отношению к тексту позиции, маркируемой артиклем *-н-*, означает удаленность, разъединенность в пространстве, возникающую между субъектом (говорящим) и объектом (содержанием) сообщения. Тогда правдоподобно приписать артиклю и участие в пересказывании, т.е. в несвидетельской передаче событий. «Дальний» артикль, выводящий говорящего из пространства текста, может подчеркивать и то, что тот передает ч у ж о е сообщение, которому он не был свидетелем (не видел сам). Это отсылает к глагольным категориям, и таким образом подтверждается та черта в структуре БЯС, которая в свое время была отмечена Мирамбелем для новогреческого: смазывание границ между именем и глаголом. Глагол не только ослабляет признак финитности, но и приобретает, именные признаки, например в связи с категори-

inslav

ей *определенности/неопределенности* (румынский) Обозначение с помощью артикля относительного положения объекта в пространстве, т.е. приобретение им «способности к передвижению», приближает имя к глаголу в его функции свидетельского и несвидетельского приобретения знания.

Приложение оппозиции *внутренний/внешний* (которая здесь может быть представлена и как оппозиция *видимый/невидимый*) к глагольным категориям, прежде всего к категории *пересказывания* (КП), поддерживается мыслями Якобсона, предложившего термин evidential и противопоставление *засвидетельствованность/незасвидетельствованность* (и воспользовавшегося для иллюстрации болгарским примером). КП вводит опосредованное знание, представляя «сообщение о сообщении». Появление КП в ареалах многоязычия дает основание считать актуализатором ее оформления как грамматической категории ситуацию языковых контактов, вызывающую усложнение акта коммуникации. Образование новой категории, с достаточно сложным материальным оформлением, как будто противоречит стремлению к supersimplification, т.е. опровергает аграмматизм как одну из главных характеристик БЯС. Однако следует помнить, что аграмматизм делает язык простым синтетически, но усложняет его аналитически. Это предполагает многозначность сообщения, которое говорящий и слушающий понимают по-разному.

Разница в понимании может быть запрограммирована. Такая языковая структура отражает особенности балканского менталитета в его стремлении к зыбкости и к уходу от дихотомии. Это свойство может корениться и в плане практическом (а не только в мистериальном прошлом Балкан): постоянные контакты с представителями приводят и н о г о к выработке средств, помогающих не обнаруживать с в о ю позицию. Одним из способов такой маскировки и может, как кажется, служить определение с в о е й позиции в пространстве, в том числе и в пространстве текста: *внутри/вне.* Изначальной функцией КП является однозначное различение *своего/чужого* обеспечивающее необходимое в условиях контактов отделение с е б я от д р у г о г о. Как только это произошло, актуализируется возможность варьирования, т.е. произвольного выбора позиции, и протагонистом в определенном смысле становится слушающий. Сообщение ориентировано не только на информацию в чистом виде, но и на определенную реакцию слушающего, перед которым открывается возможность разных толкований. В этой точке, возможно, и происходит обогащение КП, в своих исто-

inslav

ках нейтральной, эмоциональными значениями: возникает эмоциональная реакция на сообщение. Привнесенная в КП эмоциональность, возможно, и дала основание выделять на уровне грамматики категорию *адмиратива.* В основе его лежит обозначение факта, неизвестного говорящему до момента речи. В ММ почти универсально заложено эмоциональное восприятие ситуации перепада между состоянием «незнания» и состоянием внезапного приобретения «знания». Разница с нейтральным употреблением КП заключается, таким образом, лишь в резкости перехода извне внутрь ситуации.

Вернемся к оппозиции *определенность/неопределенность*, тем более что она описывает глагольную парадигму балканославянского фрагмента БЯС, во-первых, и заложена в семантику индоевропейского перфекта (который служит материальной основой КП), во-вторых. В приложении к глаголу *определенность/неопределенность* означает прежде всего *ограниченность/неограниченность* во времени. Однако здесь можно видеть и связь с именным дейксисом, и она не только бросает ответ на систему глагольных категорий, но дает возможность объединить и то, и другое под общим значением. И здесь и там речь идет о категории, субъективной по преимуществу и связанной с соответствующей ММ (в нашем случае — с БММ). Сближение именного дейксиса и глагольной КП имеет в основе субъективность языка, которая на грамматическом уровне (БЯС) опирается на оппозицию *определенность/неопределенность*, а на семиотическом (БММ) — на оппозицию *внутренний/внешний* в разных ее трансформах (в том числе сугубо антропоцентричных — *свой/чужой, видимый/невидимый*); всё вместе объединяется амбивалентностью и стремлением уйти от прямолинейного ответа *да/нет.*

БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА; ОТНОШЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ К *СВОЕМУ* ЯЗЫКУ

До сих пор речь шла о семиотических взаимоотношениях языка и ММ, об их ролях по отношению друг к другу, о специфичности языка, выступающего и в функции метакода и в функции самостоятельного, автономного кода ММ; о том, что и в том и в другом случае язык и подчинялся ММ, и влиял на нее, действуя по отношению к ней так же как она по отношению к нему, причем бессмысленно было бы искать, кому в данном случае принадлежит приоритет.

inslav

Однако есть еще одна ипостась языка в БММ, которую балканистика, особенно если она хочет быть современной, должна учитывать. Это — восприятие языка как основного национального богатства. Для ситуации Балкан роль языка в комплексе *язык* ↔ *мышление* ↔ *мир* получает совершенно особое значение, во многих случаях определяющее. Язык становится точкой отсчета, центром, на который ориентированы исторические, политические, экономические, идеологические, наконец, эстетические процессы и явления, казалось бы, с языком, как таковым, непосредственно не связанные. Отношение балканцев к родному языку можно трактовать как один из ярких балканизмов.

Повторим известные положения: историческое развитие и географическая структура Балкан содержат стимул и основу для развития постоянных межэтнических контактов. Можно сказать, что Балканы постоянно движутся — в прямом и переносном смысле. Свойство движения настолько задано Балканам, что оно является как бы внутренним мотором БММ, обеспечивающим ее динамичность, чуткость к разного рода переменам, способность и к отторжению *чужого* и к превращению его в *свое*. Но движение ощущается только по отношению к неподвижности, и динамика существует постольку, поскольку есть статика. Подвижность БММ не просто сосуществует, но опирается на ее же консервативность; так же верно и обратное, — но это положение действует при условии отказа от бинаризма. Универсальным кодом ММ является язык, соответственно контакты реализуются прежде всего на языковом уровне. В случае Балкан хотелось бы обратить внимание на следующее: языки, в свое время служившие посредниками (ими в разные эпохи и на разных территориях могли быть греческий, латинский, турецкий), по разным причинам свое качество теряли; были и иные языковые потери (от фракийского до далматинского), но языковая пестрота, и мозаичность Балкан сохранилась.

В такой подвижной ситуации постоянных обретений и потерь, совершающихся при этом не только в естественной постепенности, но и резко, и нередко жестоко, основными ценностями являются не материальные, а идеальные: только они обеспечивают прочность своего «я». Наиболее сильным гарантом становится *язык, слово, имя*, и есть полное основание подходить к нему как к тексту, аккумулирующему историю, духовную культуру и подтверждающее само существование его носителей. Острое отношение к языку является одной из основопо-

inslav

ложных черт БММ и объясняется не только формированием балканского менталитета, в условиях многоязычия, когда *свой* язык должен был прежде всего сохраняться как точка отсчета, как *свой* дом, но и тем, что в жизни балканца периодически возникали угрозы подавления и потери родного языка. Поэтому полилингвизм всегда сосуществовал с монолингвизмом, реализуя на языковом уровне то же соотношение динамики и статики: носительницей родного языка, и только его, в семье становилась женщина, охраняющая — в контексте характерного для балканского общества сочетания далеко идущих и быстро развивающихся инноваций — архаичное наследство, бдительно оберегающая единственный, *свой* язык. Осознанию особой ценности языка способствовало и эмоциональное к нему отношение, стимулируемое недобровольным (если не насильственным) введением *чужого*. Это чувство эмоционального протеста было конструктивным прежде всего потому, что оно послужило одним из самых сильных стимулов развития национального самосознания, стержнем объединения, который был присущ каждому, поскольку он поддерживал и чувство личности, и чувство принадлежности к своему народу. Более того, пристрастное отношение к языку способствовало и выработка остраненного к нему отношения, уводя от того аморфного состояния, когда язык воспринимается, как данность, как неотчуждаемая — и потому незамечаемая — собственность.

Национальное возрождение Балкан связано не только со становлением *своего* языка и избавлением, от чужого, но и с борьбой за то, каким должен быть *свой* язык. Для того чтобы удержаться на своем месте и не быть унесенным потоком *иного*, homo balcanicus должен был выработать особое ощущение *своего языка*, который становился почти осязаемой субстанцией, материальным воплощением национальной сущности, той непреходящей и абсолютной собственностью, которая и есть осуществление и самое сильное выражение прочности *своего «я»*! Однако определение твердой позиции не обязательно означает непризнание *иного*. В БММ это «проявляется отчетливо также в связи с языком. *Чужой* может восприниматься не только как враг, но и как партнер по контактам, как потенциальный друг; соответственно и *чужой язык* становится необходимым инструментом коммуникации, и в этом своем качестве он равноправен *своему*, он потенциально *свой*. Повышенная бережность к сохранению и обогащению *своего языка* сочетается с гибким отношением к *чужим* (по меньшей мере признается неединственность *своего*).

inslav

Суммировать многократно описанную языковую историю Балкан можно следующим образом: пестрота языков и диалектов, постоянное движение и перетекание, в котором нельзя найти четко выделенные начало и конец; в то же время — языковые реформы, жестко декретирующие новое языковое состояние; наконец, развитие языка в рамках реформы — согласно ей, вопреки ей или независимо от нее.

Подводя итоги сказанному, можно повторить, что концепт ЯС, сыгравший столь важную роль в развитии лингвистической балканистики (даже будучи недостаточно понят и воспринят), сохраняет свое стимулирующее значение и в современной балканистике, всё в большей степени приобретающей комплексный характер, устремленной к БММ и постольку — к языку (впрочем, в той же степени верно и обратное). В конце концов речь идет о решении той задачи, которая была поставлена автором теории языковых союзов — Н.С. Трубецким:

«Сравнительное изучение внесшего проявления нескольких соседних друг с другом этнологических личностей позволяет делать заключения о характере духовного родства между этими личностями... общим предметом... исследования является именно данная конкретная многочеловеческая личность в ее физическом окружении».

1992

inslav

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРЕАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

К построению лингвистического атласа БЯС

Систематическое описание языковых союзов методом ареальной лингвистики может дать интересные результаты.

Дальнейшее изучение и анализ балканского языкового союза как определенной структуры трудно вести лишь на основании существующих данных: грамматик литературных языков и монографических описаний отдельных диалектов или диалектных групп. Значительная ценность этого материала несомненна: именно на его основании выявлены основные черты сходства, объединяющие все языки, относимые к союзу — албанский, болгарский, македонский, новогреческий, румынский (и другие балкано-романские диалекты), сербско-хорватский — (см. список балканизмов, перечисленных Сандфельдом)[1] или свойственные двум-трем языкам. Однако актуальные задачи балканистики — поиски более тонких схождений структурного характера — требуют нового материала. В идеале исследователь должен иметь в своем распоряжении максимальное число единообразных описаний отдельных диалектов (грамматика — тексты — словарь). Желательно специально фиксировать языковые изменения, которые можно интерпретировать как балканистические[2]. К сожалению, по крайней мере в ближайшее время, это (и особенно — исчерпывающее описание отдельных говоров) нереально. И хотя появление монографических исследований такого рода чрезвычайно ценно, все же для развития балканистики теперь нужны методы, которые позволили бы как-то компенсировать нехватку материала.

В данное время, как это ни неожиданно, наиболее экономным и рациональным может явиться картографическое описание совпадений в балканских языках (т.е. лингвистический атлас). С помощью такого атласа можно в обозримый срок получить единообразно оформленные сведения по большой территории. В оптимальном варианте охватываются все важнейшие точки, где можно ожидать действия балканистических процес-

inslav

сов и соответственно наиболее заметных изменений. Такими точками, в частности, могут быть диалекты с островным расположением или пограничные зоны югославского и румынского Баната.

Успех предполагаемого атласа БЯС во многом зависит от качества вопросника, так как этот атлас отличается от обычных, для которых составление вопросника является, как правило, более или менее технической задачей (требуется, например, выяснить, какое слово употребляется для обозначения определенного объекта или какой звук произносится на месте некоего старого звука, поэтому речь идет скорее о выборе удачной формулировки вопроса).

Задача атласа БЯС должна заключаться, по нашему мнению, в том, чтобы найти в пределах БЯС живые процессы схождения и, может быть, прежде всего грамматического схождения. Составление вопросника для этого атласа — самостоятельная теоретическая задача. Дело заключается не только в проверке и уточнении уже известных изоглосс, но и в обнаружении неотмеченных явлений. Для этого должна быть выработана достаточно совершенная процедура, помогающая найти наибольшее число общебалканских схождений структурного характера. Следовательно, с некоторым основанием можно говорить, что предполагаемый атлас есть атлас не отдельных, входящих в БЯС языков, но атлас *теоретико-множественного произведения* (ТМП) структурных особенностей в с е х этих языков плюс ТМП структурных особенностей ч е т ы р е х из них, соответственно т р е х и д в у х языков. Поэтому перед составителем вопросника стоит задача на основании уже известных сведений о структуре БЯС наметить такие точки на разных языковых уровнях, в которых с наибольшей вероятностью можно предположить активный ход интерференционных процессов.

Идея описания балканских языков именно с помощью атласа впервые высказана М. Деановичем[3]. Может быть, эта мысль возникла в связи с разработкой средиземноморского атласа. (М. Деанович рассматривает балканский атлас как продолжение атласа средиземноморского.) М. Деанович предлагает в общих чертах программу атласа, который, по мысли автора, должен охватывать 70 — 125 пунктов с албанским, болгарским, новогреческим, македонским, сербско-хорватским, румынским, словенским и турецким языками. Для картографирования намечено 500 — 850 слов и выражений, общих для балканских языков. Хотя атлас в основе задуман как лексический, в нем предусма-

inslav

тривается и проверка ряда изоглосс по фонетике, морфологии, синтаксису, словообразованию, например, ослабление конечной гласной в безударном положении, падение склонения, постпозиция артикля, образование будущего времени с помощью глагола «хотеть», общие словообразовательные ресурсы и т.д. Если бы эту идею удалось осуществить, это был бы единственный в своем роде многоязычный атлас.

Поскольку речь идет о единой языковой системе, хотя и представленной столь разнообразно, целесообразнее было бы делать упор не на лексическую, а именно на грамматическую сторону БЯС. Если в средиземноморском атласе воссоздается древнейшая культурная история средиземноморья по лексическим данным, то в предполагаемом балканском основная задача — выделить существенные особенности структуры БЯС. В связи с этим строение атласа должно отличаться рядом специфических особенностей.

Ни в коей мере не беря на себя задачу давать какие-либо рекомендации по составлению вопросника, мы все же решаемся высказать некоторые соображения по поводу того, какие стороны взаимодействия балканских языков представляются наиболее значительными.

Возможно, было бы целесообразно предпослать собственно лингвистической части атласа раздел, который можно условно назвать «диалекто-этнографическим». Сейчас уже в общем не вызывает сомнения тот факт, что основой для балканистических схождений и в прошлом и в настоящее время служат языковые контакты. Изучение практического осуществления этих контактов может пролить свет на механизм действия балканистических процессов и определить ареалы, где эти процессы идут наиболее активно. Расположение диалектов и численность говорящих на них известны, особенно когда это касается достаточно крупных диалектных массивов. Однако существуют еще не отмеченные и, главное, еще не описанные островки, представляющие собой либо неизученный говор данного языка, либо иноязычное вкрапление (например, албанские говоры на территории Болгарии). Поэтому очень важно возможно более подробное и детальное изучение диалектной географии Балкан с составлением соответствующих карт. Диалектографическая карта Балкан облегчит выбор материала для исследования.

В качестве примера можно привести описанное П. Ивичем зарождение балканизмов в сербских говорах румынского Баната и той части югославского Баната, которая соприкасается с

inslav

ареалами румынского языка[4]. По своей структуре эти говоры уже сейчас стали близки к призренско-тимочским (хотя генетически эти сербские говоры Баната вовсе не являются близкими призренско-тимочским). Не менее интересно и их сходство с диалектом галипольских сербов, развивавшимся под длительным и интенсивным влиянием греческого языка.

Ввиду сказанного важно с наибольшей подробностью описать ситуации, когда в общение вступают носители разных языков. Предполагается, что карта распространения диалектов, к которой прилагается и демографическая карта (их сочетание поможет выяснить, сохранился или утерялся родной язык, что важно особенно в случаях миграции), учтет все языковое разнообразие Балкан, а не только языковой состав БЯС.

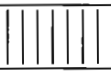
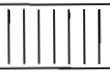
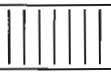
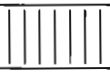
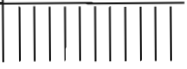
Следующим этапом было бы выяснение степени лингвистического разнообразия Балкан, иными словами, выяснение того, в какой степени в пределах БЯС существует многоязычие (т.е. владение двумя, тремя и т.д. языками). Предварительно на основании диалектной и демографической карт Балкан устанавливается по возможности максимальное число случаев (в идеале — все) непосредственного контакта разноязычных диалектов (сюда включаются и ареалы со смешанным населением). В самом простом виде это можно представить с помощью таблицы.

Уже такая таблица, при всем своем схематизме и условности, свидетельствует о лингвистической пестроте Балкан — в любой стране можно найти едва ли не все языки и диалекты БЯС (к этому надо прибавить, что на всех указанных территориях распространены тюркские диалекты).

Пожалуй, более всего распространены славянские диалекты, когда-то занимавшие почти всю территорию Балканского п-ова и имевшие субстратное значение для остальных языков; теперь они образуют более или менее крупные островные скопления в Северной Греции и в Албании, в Румынии (особенно в Банате). В Югославии (район Косова-Метохии), Греции (Аттика), Болгарии распространены албанские говоры. На юге Албании, на побережье Черного моря в Румынии, в Болгарии и Югославии встречаются греческие говоры и т.д. Естественно, что в окончательном виде в таблицах (схемах, картах) должно быть указано не просто наличие данного диалекта, но его расположение и численность говорящих на нем людей. Для иллюстрации здесь расшифрована одна колонка таблицы — распространение балкано-романских диалектов на территории Балканского п-ова:

inslav

Таблица 1
Распространение языков, входящих в БЯС, на территории стран Балканского п-ова

Страны Балканского п-ова	Языки и диалекты БЯС				
	албанский	болгарский, македонский	новогреческий	балкано-романские	сербско-хорватский
Албания		+	+	+[1]	+
Болгария	+		+	+[2]	+
Греция	+	+		+[3]	+
Румыния	+	+	+		+
Югославия	+	+	+	+[4]	

Примечание. «Плюс» в таблице означает, что на территории данной страны есть ареалы с распространением данного языка или диалекта.

1) Албания: р-н Тираны, Эльбасана, Берата, Кавая и др. — арумынский (фершеротский).

2) Болгария: р-н Витоши, Рилы, Стара-Планина до Черного моря — арумынский.

3) Греция: р-н Салоник, Пинда, Олимпа; на северо-востоке близ Ксанти, Драма, Кавалла и др. — арумынский; р-н Салоник — мегленорумынский.

4) Югославия: р-н Косова-Метохии — арумыиский; р-н Вардара — мегленорумынский; Восточная Истрия — истрорумынский; Банат (Зренянин, Вршац, Алибунар, Панчево) — дакорумынский, представленный банатским, олтенским и трансильванским говорами[5].

Приблизительно таким же образом (но более подробно и точно) могут быть раскрыты и остальные «плюсы» в таблице.

Этот материал можно обработать, применяя к нему формулы вычисления степени лингвистического разнообразия, предложенные Дж. Гринбергом[6]. Речь идет о составлении карты, где для выбранных пунктов будут указаны числовые показатели. Таким образом могут быть получены более точные и объективные данные для последующего сравнения.

При изучении многоязычия существенно учитывать и степень владения языком (пассивное/активное; разные степени активного знания — возможность объясняться, знание упро-

inslav

щенного варианта чужого языка, свободное владение и т.п.). Самые предварительные наблюдения показывают, что выяснение этих вопросов влечет за собой целый ряд других, казалось бы, не имеющих отношения непосредственно к лингвистике: установление того, что можно назвать дифференциальными признаками ситуации общения и участников общения. Дело в том, что факторами, определяющими владение только одним или более чем одним языком, а также выбор языка-посредника, могут быть пол, возраст, национальность, вероисповедание, общественное положение, профессия и т.д.[7] Интересно, что те же самые дифференциальные признаки существенны при выборе правил этикета в ситуациях так называемого «этикетного поведения»[8]. Естественно что распространение хотя бы некоторых из этих признаков (в частности национальность, вероисповедание) целесообразно картографировать. Кроме того, в районах со смешанным населением необходимо учитывать и количественное соотношение носителей разных языков, поскольку оно тоже оказывает существенное влияние на выбор языка-посредника. Очевидно, при полевых исследованиях окажется возможным и составление хотя бы примерного списка характерных ситуаций общения (например, частные беседы, встречи в общественных местах, общение во время работы и т.п.).

По возможности следовало бы составить и хронологическую карту диалектного расположения, отражающую время заселения или переселения, а при опросе местных жителей — выяснить направление миграции.

Целесообразность такого предварительного описания, которое затем используется при обработке собственно лингвистического материала, сейчас живо осознается. Подобная программа изложена, например, для атласа английских говоров США[9].

Исследование выбора населением языка-посредника должно привести к установлению ареалов с преимущественным использованием определенного языка. Ситуация «разноязычного общения» описана М. Павловичем для Призрена[10], население которого состоит из сербов, арумын, албанцев, турок. Владение языками распределяется следующим образом: албанцы-мужчины старшего поколения владеют гегийским диалектом албанского языка, говорят на упрощенном турецком, пассивно знают сербский призренский и в редких случаях говорят на нем, но с ошибками; женщины говорят только по-албански, немного понимают по-сербски; в отличие от албанцев-католиков

inslav

Таблица 2
Выбор языка-посредника Призрена

	арумын	албанец	серб	турок
арумын	арумынский, сербский	сербский	сербский	сербский
албанец	сербский		сербский	турецкий, албанский, сербский
серб	сербский	сербский		сербский
турок	сербский	турецкий, албанский, сербский	сербский	

албанцы-мусульмане активно владеют турецким. Турки, кроме родного языка, знают сербский призренский и в исключительных случаях говорят на нем; немного понимают по-албански. Арумыны-мужчины пользуются сербским призренским (кстати, все арумыны носят сербские имена), забывая и родной язык и новогреческий. В нескольких семьях говорят между собой по-арумынски. Вообще же удержались только арумынские приветствия. Родной язык прочнее сохранился у женщин — некоторые хорошо говорят на нем, знают национальные песни.

К сожалению, в работе М. Павловича ничего не говорится о выборе языка в конкретных ситуациях, а также о том, сколькими языками и в какой степени владеют сербы (вскользь упоминается, что они могут объясняться по-турецки). Тем не менее можно составить некоторое представление о возможностях общения (табл. 2).

Вообще чувствуется острый недостаток в работах, посвященных языковым контактам на Балканах. Обычно диалектологи, описывая говор, находящийся в иноязычном окружении, где явно должны осуществляться дву- или многоязычные контакты, специально на этом не останавливаются. Между тем включить несколько пунктов в опрос информанта при составлении вопросника атласа не представляет затруднений, а результаты будут важными и интересными не только для атласа.

Что касается собственно лингвистической части атласа, то в оптимальном варианте она должна охватывать все языковые уровни, т.е. лексику, фонетику с фонологией, морфологию и синтаксис, особенно подробно два последние.

inslav

Акцентирование грамматического плана оправдано некоторыми особенностями балканского языкового общества: пожалуй, самые значительные схождения обнаруживаются именно в морфологии и синтаксисе. Одна из возможных интерпретаций этого состоит в том, чтобы рассматривать отмечаемые явления в связи с нуждами непосредственного общения носителей разных балканских языков. Можно предположить, что при затрудненном, неполном понимании постепенно вырабатываются однотипные синтаксические конструкции. Параллельно или вслед за этим могут происходить изменения и в морфологии. Предполагается, что для обеспечения понимания надо владеть некоторым лексическим минимумом и знать определенные конструкции, выражающие универсальные логико-синтаксические единицы языка (субъект, предикат, прямой и косвенный объект, атрибут, адверб). Существенно установить способы выражения названных единиц в языках БЯС. Для этого в вопросник включается ряд фраз или отдельных синтагм, составленных таким образом, чтобы можно было получить данные о грамматических особенностях системы БЯС[11]. Информанту предлагается распознать и синтезировать (т.е. перевести с родного языка на известный ему другой балканский и наоборот) эти фразы. Очевидно, удобнее начинать с простого предложения, состоящего из 4—6 слов, с общей схемой следующего вида:

Subj. — (Atr) — Praed. — Obj. dir. — (Atr.) — Obj. obl. — Adv.

Эту схему можно считать типичной для разговорной речи. Некоторое комбинирование ее элементов (например, путем инверсии) дает возможность выделить конструкции, анализ и синтез которых поможет исследованию грамматики БЯС.

Можно привести несколько конструкций такого рода и наиболее общие, сводные способы их перевода на языки БЯС (берется только существительное; учитываются два типа именной системы БЯС — беспадежный и двухпадежный, с противопоставлением прямого падежа — Dir. — и косвенного — Obl. = D. — G.):

1. Subj. & Praed. & Obj. dir. → S. dir. + V. + S. dir. ⋁ S. dir. + S. dir. + V. ⋁ V. + S. dir. + S. dir. ⋁ S. dir. + Pron. dir. + V. + + S. dir. ⋁ S. dir. + V. + (praep. + S. dir.),

т.е. в данной фразе субъект и прямой объект могут выражаться существительными в прямом падеже; в определенных случаях прямой объект может дублироваться личным местоимением в форме Acc., а также выражаться сочетанием существительного

inslav

в прямом падеже с предлогом (например, в румынском и ряде македонских диалектов).

2. Subj. & Praed. & Obj. obl. → S. dir.+ V. + S. obi. (praep. + + S. dir.) ∨ S. dir.+ Pron. obl. + V. + S. obi. (praep. + S. dir.),

т.е. в данной фразе субъект выражается существительным в прямом падеже, а косвенный объект — существительным в косвенном падеже или сочетанием предлога с существительным в прямом падеже; косвенный объект может дублироваться личным местоимением в форме Obl.[12]

Предлагаемый способ исследования синтактико-морфологических особенностей БЯС можно иллюстрировать разбором конструкций, в которых атрибут и косвенный объект выражены именем существительным. Как известно, на морфологическом уровне в большинстве балканских языков и диалектов происходит полная нейтрализация косвенного объекта и атрибута: оба они выражаются либо существительным в форме косвенного падежа (там, где есть противопоставление Dir./Obl., как, например, в румынском *scrisoare vecinului*), либо сочетанием предлога *на* (*на, от, od, la, σέ* и т.п.) с существительным в прямом падеже (например, в болгарском — *книгата на учителя*). Это смешение кажется серьезным препятствием для понимания (в особенности тем, в чьем языке такое противопоставление сохраняется). Интересно выяснить, в каких случаях нейтрализация действительно приводит к двусмысленности. Теоретически это может произойти в синтагме вида S. & S. (как в русском *письмо микадо* — чье? или кому?). Но, с одной стороны, существуют формальные приемы разрешения этой нейтрализации (например, интонация, инверсия, употребление артикля); с другой стороны, снимает или во всяком случае значительно уменьшает двусмысленность контекст, понимаемый в самом широком смысле этого слова. Необходимо было бы изучать и другие способы выражения атрибута и косвенного объекта, либо сосуществующие с уже названными, либо вытесняющие их (например, в мегленорумынском атрибут регулярно выражается сочетанием существительного с артиклем *lu*, а косвенный объект — сочетанием существительного с предлогом *la*; аналогично в новогреческом, где при выражении атрибута используется артикль τοῦ, а косвенного объекта — предлог σέ)[13].

Можно предложить и несколько иной аспект рассмотрения местоименной репризы: действительно ли она применяется носителями языка сознательно как различительное средство

inslav

(во всяком случае так представляется описывающим употребление репризы извне) или это обычно свойственный языку плеоназм, сопоставимый, например, в русском языке с употреблением местоимений вместе с личными формами глагола (*я нес-у, ты нес-ешь* и т.д.), что при определенном подходе тоже, пожалуй, можно трактовать как специальное редуплицирующее различительное свойство. Есть кое-какие факты, подтверждающие это предположение (как, несомненно, есть факты, его опровергающие): реприза прямого объекта появляется в новогреческом языке, где различение логико-синтаксических единиц происходит на морфологическом уровне; литературный болгарский, напротив, старается ее избегать, хотя тут она, казалось бы, совершенно необходима.

Сейчас более или менее цельную картину распространения репризы можно получить именно путем картографирования. Составить контрольные фразы достаточно просто (во всяком случае гораздо проще, чем выискивать и подбирать их по текстам).

Полезной кажется и проверка определенного артикля (независимо от того, находится он в постпозиции или в препозиции) на «грамматичность». Под грамматичностью здесь понимается форморазличительная способность, т.е. то, насколько артикль теряет собственно определительное значение, становясь своего рода отделившейся флексией. Так происходит, например, в мегленорумынском, где в Obl. можно одновременно употреблять определенный и неопределенный артикли (*lu un ampirat*), из которых первый обозначает только падеж, а второй — род, число и неопределенность. Структурный подход к артиклю важен потому, что по традиции внимание обращают только на его положение по отношению к определяемому существительному, а не на функциональную роль.

Здесь перечислялись особенности, в общем характерные для всех или почти всех языков, входящих в БЯС. Однако ограничиться изучением черт такого рода означало бы не использовать преимуществ, предоставляемых методами ареальной лингвистики. В данном случае их ценность заключается в том, что они позволяют сравнивать языки выборочно — по два, по три и т.д., обнаруживая частные, или локальные, схождения балканистического характера. Можно быть уверенным, что пока известна только небольшая часть подобных схождений, а описана еще меньшая.

Заслуживает внимания, например, такая специфически балканская изоглосса, как образование множественного числа

inslav

существительных с исходом на твердый согласный прибавлением признака палатальности (румынский, албанский, ряд северногреческих диалектов).

При изучении элементарных синтаксических конструкций в лингво-географическом аспекте необходимо было бы обратить внимание на порядок слов. Балканские языки в общем допускают свободный порядок слов в 2—6-членном простом предложении. Для славянских языков, входящих в БЯС, пожалуй, сильным ограничением является только взаимное расположение прямого и косвенного объекта после предиката и соответственно расположение местоимений, дублирующих прямой и косвенный объект. Такая конструкция выведена З. Голомбом для македонских диалектов Салоник и подходит для описания других славянских языков и диалектов[14]. То, что в синтаксисе простой фразы все же существуют определенные закономерности, хотя бы они и заключались в допустимости широкого варьирования, отчасти доказывается изменением (под славянским влиянием) синтаксиса простого предложения в гагаузском языке. Там нарушен фиксированный порядок слов, свойственный тюркским языкам, например, объект может стоять после предиката, а атрибут — после определяемого слова. Вообще же конструкция простого предложения в гагаузском языке та же, что и в других балканских языках[15].

Предполагается, что приемы лингвистической географии окажутся весьма эффективными для выяснения того, какой из балканских языков обнаруживает максимальное число общих черт с другими балканскими языками и с какими именно (вопрос о «самом балканском» или «самом влиятельном» языке всегда служит предметом самых ожесточенных споров). Тогда, может быть, новыми фактами обогатится и подтвердится, например, поразительное сходство между румынским и албанским — языками, в настоящее время максимально удаленными друг от друга (ср. сходство в системе связующих артиклей, в согласовательных классах существительного и т.д.). Тогда, может быть, появятся новые данные о правомерности включения в БЯС сербско-хорватского языка. Одним словом, эти исследования могут принести пользу для размещения балканских языков в лингвистическом пространстве.

Мы не будем касаться исследований структуры БЯС на других уровнях. Для фонологического, например, вопрос может быть решен достаточно просто, во всяком случае с точки зрения метода, благодаря существованию достаточно разработан-

inslav

ных способов фонологического описания. Здесь речь может идти, скорее, о сборе фактического материала. Гораздо сложнее обстоит дело с лексическим уровнем. Он наиболее проницаем, лексические заимствования характерны для любого вида языкового взаимодействия, и трудно выделить то, что имеет отношение непосредственно к языковому союзу (а в данном случае интересно не только полное перечисление лексических совпадений). Поэтому лексический уровень, может быть, целесообразно рассматривать в несколько ином аспекте, так сказать «общекультурном», объединяя его с семантическим уровнем, т.е. включая в систему общих духовных ценностей балканского сообщества.

При составлении вопросника, к какому бы уровню он ни относился, существенно было бы принимать во внимание значимость порядка вопросов[16], тем более, что многие явления могут быть связаны отношениями транзитивности и импликации (например, в ряде новогреческих диалектов сохранение флексий у существительного предполагает падение склонения артикля и наоборот).

В 1937 г. М. Деанович высказал идею создания средиземноморского атласа. В 1956 г. приступили к его осуществлению. Быть может, атлас БЯС будет счастливее. Некоторым утешением может служить то, что уже сама разработка программы и вопросника атласа несомненно сыграет значительную роль в развитии балканистики и лингвистической географии вообще. Принципиальная новизна атласа БЯС заключается не в многоязычии, а в том, что этот атлас в основе своей должен быть типологическим. Такое сочетание, или сращение, методов типологии и лингвистической географии, насколько нам известно, для лингвистических атласов пока еще не применялось. Между тем оно может значительно расширить сферу применения и тех и других методов, создав наиболее выгодные и эффективные условия для их приложения. Типология получит возможность оперировать более широким материалом, целенаправленно выбирая его, а ареальная лингвистика приобретет определенную системность. Естественно, что сочетание ареальных и типологических методов должно осуществляться разумным образом и в разумных пределах. Перевес любой стороны нежелателен. В применении к атласу БЯС это означает следующее: если он строится традиционно, по образцу уже имеющихся атласов, то упускаются из виду типологические цели, и в результате получается описание разрозненных явлений, часть которых может оказаться полезной, а часть ничего не прибавит к

inslav

изучению балканистических процессов. Если же ограничиться чисто типологическими целями, понимая их как поиски балканизмов, охватывающих максимальное число языков, то это может оказаться повторением пройденного — такая проверка подтвердит или уточнит уже известные изоглоссы, не проведя нового, более детального разбиения. Поэтому составить вопросник для атласа БЯС — значит решить задачу теоретическую в той же мере, как и практическую.

[1] См.: *Sandfeld K.* Linguistique balkanique. P., 1930. P. 163 и далее.

[2] Ср., например, появление в румынском языке местоименной репризы в предложении без инверсии: *i-a făcut semn lui Indrea* (*Coteanu I.* Anticiparea complementului prin pronume, o regula gramaticală nouă? // Limba romînă. 1963. N 3. S. 244); некоторую аналогию можно найти в болгарском: *остави ги тия писма* (*Попов К.* Стилно-граматична употреба на удвоеното допълнение в българския книжовен език // Известия на Института за български език. 1962. Кн. VIII. С. 464—466).

[3] См., в частности, его работы: *Deanović M.* L'atlas linguistique des Balkans et l'atlas linguistique méditerranéen // «Балканско езикознание» 1961. Т. III. Ч. 2; *Он же.* L'atlas linguistique mediterranéen et l'atlas linguistique balkanique // Bolletino dell'Atlante linguistico mediterraneo. 1962. N 4; *Он же.* Über den Entwurf eines Sprachatlasses des Balkanraumes // Zeitschrift für Balkanologie 1962. T. 1. *Он же.* Deux atlas plurilingues et la slavistique // Revue des études slaves, 1964. T. XL и т.д.

[4] См.: *Ivić P.* Les balkanismes naissants dans les parlers serbes du Banat // Cercetări de lingvistică. 1958. T. III supliment.

[5] См., в частности: *Pop S.* Atlas linguistique roumain // «Orbis», 1958. T. VII, N 1; *Coppenolle J. van.* A la mémoire de Theodor Capidan. Les Macédo-Roumains // Ibid.; *Flora R.* L'atlas linguistique des parlers roumains du Banat yougoslave // Ibid. 1956. T. V. N 1; *Он же.* Graiurile romîneşti din Banatul jugoslav // Fonetică şi Dialectologie. 1958. T. I, и др.

[6] См.: *Greenberg J.H.* The measurement of linguistic diversity // Language. 1956. T. 32, N 1.

[7] На важность этих характеристик указывает и М. Деанович. См.: *Deanović M.* Über den Entwurf... S. 4.

[8] См.: *Цивьян Т.В.* К описанию этикета как семиотической системы // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962. С. 79—80.

[9] См.: *McDavid Raven I.* Structural linguistics and linguistic geography // Orbis. 1961. T. X, N 1.

[10] См.: *Pavlovic M.* Les processus balkanistiques et les perspectives du parler serbe de Prizren // Ibid. 1958. T. VII, N 1.

[11] Предлагаемый вариант вопросника рассчитан на информантов, знающих более одного языка (хотя бы в слабой степени). Естественно, что в случаях одноязычия применяется другая система опроса.

[12] Подробнее о таких конструкциях см.: *Цивьян Т.В.* К проблеме построения лингвистического атласа балканского языкового союза // Проб-

inslav

лемы лингво- и этногеографии и ареальной диалектологии. Тез. докл. М., 1964; *Она же.* Имя существительное в балканских языках М., 1965.

[13] В новогреческом косвенный объект в ряде случаев может выражаться и родительным падежом: ἔστειλε γράμμα τῆς κοπέλλας — *он послал письмо девушке* (см.: *Mieranbel A.* Grammaire du grec moderne. P., 1949. P. 72).

[14] См.: *Gołąb Z.* Funkcja syntaktyczna proklityki zaimkowej w gwarach macedońskich // «Lingua Posnaniensis». 1953. T. IV.

[15] См.: *Калякина-Каледина Т.* Порядок слов в простом предложении гагаузского языка. М., 1955.

[16] См.: *Halle M.* On the role of simplicity in linguistic description // Structure of language and its mathematical aspects. Providence; Rhode Island, 1961.

1966

inslav

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКЕ БАЛКАНСКИХ ЯЗЫКОВ

При актуальном и постоянно возрастающем интересе к балканистике определение ее предмета до сих остается не вполне выработанным. В традиционном понимании задача балканистики сводится к тому, чтобы описывать ограниченный ареально фрагмент целого ряда дисциплин (лингвистика, литературоведение, фольклор, история, этнография, искусство, культура и т.д.), где в силу ряда обстоятельств, сводимых обычно к историческим или генетическим, обнаруживается большое или даже поразительно большое число схождений. Результаты исследований такого рода, в конце концов, экстенсивны и имеют ценность скорее для общей типологии, предоставляя ей новый материал, чем для собственно балканистики, где этот материал должен быть включен в особую перспективу. При современном состоянии вопроса имеет смысл говорить о необходимости выделения из конгломерата сходств относительно гомогенного ядра, на основании которого можно сформулировать более строгий объект исследования. Между тем неопределенность («несформулированность») целей и задач, отсутствие границ и правил в отборе приводит к тому, что и сейчас балканистика стоит перед вопросом: должна ли она включать в себя н е ч т о, выходящее за пределы «специфически балканского» (в разных аспектах) или даже н е ч т о, кроме сопоставления конкретных результатов?

Пожалуй, наиболее благополучное положение создалось в лингвистической балканистике, благодаря введению термина *балканский языковой союз* в свое время вызвавшего споры и разногласия. Post factum можно сказать, что противники этого понятия, даже если бы они были правы по существу, явно недооценили его теоретического значения: с принятием этого термина открывались возможности для определения предмета балканской лингвистики, установления ее границ и формулирования системного подхода к исследованию ее составляющих.

inslav

При таком широком подходе к балканистике даже на достаточно продвинутом уровне можно пренебречь тем, что определение языкового союза само по себе остается не вполне точным и удовлетворительным, и что многие вопросы решаются, скорее, на интуитивном уровне. Понятие языкового союза, по сути, конвенциональное, делает возможным определять балканскую лингвистику как науку об отношении систем отдельных балканских языков друг к другу и к системе балканского языка-посредника (о котором будет сказано далее). Преимущественным свойством системы БЯС является ее принципиальная динамичность, постоянное пребывание, так сказать, in statu nascendi, испытывая влияние балканистических процессов. Особую значимость представляет то, что существенные для системы изменения и тем более их отражения («волны») в разных ее фрагментах могут быть прогнозированы, притом что прогнозирование осуществляется именно и исключительно в рамках термина *языковой союз*. Из этого вытекает, что при системном подходе к БЯС необходимо учитывать высокую степень имплицитности составляющих его элементов.

Плодотворность термина *языковой союз* для балканской лингвистики проявляется среди прочего и в том, что это позволяет предложить дальнейшие шаги (что уже было высказано): избрать эталоном описания некий эвентуальный «общебалканский язык», «язык-посредник» на грамматическом уровне. Язык-посредник представлял бы собой абстрактную систему символов, которая 1) обеспечивала бы экономное описание любого балканского языка в общебалканистическом аспекте; 2) указывала бы набор приемов, позволяющих с минимальными усилиями переходить от одного балканского языка к другому, от любого балканского языка к языку-посреднику и от языка-посредника к любому балканскому языку. Если исходить из признания глубинных и основообразующих сходств между балканскими языками, то можно предположить, что в качестве эталона может выступить любой балканский язык, входящий в БЯС, при условии, что его описание снабжено правилами пересчета на другие балканские языки (хотя это может оказаться и неэкономным). Такой подход, обеспечивая глобальный взгляд на БЯС, вместе с тем не только не уводил бы в сторону от конкретных исследований, но, напротив, определяя с большей точностью их задачи, обеспечивал бы их актуальность и целесообразность. Этот метод описания балканских языков являлся бы к тому же и достаточно удобным средством для систематизации

inslav

материала — задача весьма важная для балканской лингвистики, поскольку отсутствие упорядоченного описания одновременно и скрывает лакуны и не дает возможности полноценно использовать накопленные данные.

Системное описание БЯС представляется целесообразным вести в терминах сопоставительной грамматики балканских языков. Грамматика такого рода соответствовала бы модели некоего метаязыка, с указанием способов перехода к каждому из конкретных языков. Как кажется, осуществлять эту задачу следует на синтаксическом уровне (или прежде всего на синтаксическом уровне). Одной из существенных особенностей языковых союзов вообще и БЯС в частности является то, что схождения проявляются прежде всего и преимущественно в синтаксисе. Во всяком случае именно синтаксический уровень обеспечивает нетривиальные результаты: сопоставление фонетических и фонологических данных, как кажется, не столь актуально, о лексике как о системе также трудно говорить, что же касается морфологической системы БЯС, то она, в сущности, становится значимой лишь в проекции на синтаксический уровень, т.е. когда морфологические единицы рассматриваются как конституенты единиц более высокого уровня — синтаксических. Кроме того, синтаксический уровень легче всего позволяет соединить синтагматический план (текст) с парадигматическим (система), т.к. синтаксические модели содержат весь набор морфологических элементов с указанием правил вхождения их в текст.

Далее можно говорить о некоторых более конкретных аспектах построения сопоставительной грамматики БЯС. Очевидно, ее композиционная схема должна отвечать следующим требованиям: 1) однородное описание синтаксических систем отдельных балканских языков; 2) сведéние полученных описаний воедино и попытка построения общей синтаксической системы БЯС. Однородность обеспечивается описанием синтаксиса с помощью *элементарных синтаксических конструкций* (ЭСК) (синтаксические описания такого рода в последнее время находят все большее распространение). Под ЭСК понимаются не менее чем двусоставные сочетания любых классов слов данного языка, между которыми существуют синтаксические связи (т.е. согласование, управление, примыкание). Описание синтаксиса с помощью ЭСК начинается с установления сочетаемости всех классов слов друг с другом; затем рассматриваются все разновидности полученных сочетаний и составляются возможно более полные списки ЭСК. Эти списки снабжаются сведе-

inslav

ниями о порядке членов ЭСК (для балканских языков это весьма существенно, см. хотя бы мену артиклей в ЭСК в зависимости от порядка составляющих ее элементов), а также правилами расширения ЭСК до трех- и более членных и правилами сочетания ЭСК друг с другом. На дальнейшем этапе ЭСК приводятся в соответствие с основными логико-грамматическими единицами, конституирующими фразу. Под такими единицами понимаются *субъект, предикат, атрибут, прямой* и *косвенный объект* и *адверб.* Предполагается, что в самом общем виде любой текст может быть удовлетворительно описан с помощью именно этих единиц. Все вышеизложенное применимо к анализу простого предложения. На более высоком уровне описывается сложное предложение, конституентами которого являются простые предложения и отдельные, особым образом оговоренные ЭСК.

В собственно сопоставительной части материал балканских языков, т.е. списки ЭСК по конкретным языкам, можно было бы располагать в виде системы соответствий, перечисленных по всем описываемым языкам и не обязательно сводимых к материальному выражению. Другими словами, речь шла бы о той же идее конструирования некоей условной модели БЯС, которая, будучи по возможности близкой к каждому из реальных балканских языков, обеспечивала бы наибольшую простоту в пересчете на любой балканский язык и обратно. Эта модель была бы совокупностью некоторых грамматических конструкций, проходящих по всем языкам, относимым к БЯС, и при этом принадлежащих структуре БЯС. Очевидно, что строить эту модель целесообразно на основе *теоретико-множественного произведения* (ТМП) ЭСК балканских языков (а не *теоретико-множественной суммы* (ТМС): тогда при переходе на конкретный балканский язык придется отсекать конструкции, принадлежащие — максимально — ко всем остальным языкам, в то время как при ТМП речь пойдет о прибавлении конструкций одного языка). «Эталонный набор» ЭСК снабжается правилами перехода от метасистемы к любому балканскому языку (на морфосинтаксическом уровне).

Корректное представление материала обеспечивается соблюдением следующих принципов в его отборе:

1) Приводится сплошная обработка материала, перечисление всех синтаксических конструкций, а не только тех, которые считаются «балканистичными»;

2) Заранее предполагается, что в результате такого описания будет построена е д и н а я синтаксическая система БЯС,

inslav

так же относящаяся к каждому из реальных языков, как относится к реальному языку нормативная грамматика.

Первый принцип имеет целью дать возможно более полное описание системы, притом пригодное не только для анализа, но и для синтеза. Таким образом описание системы БЯС велось бы на основаниях противоположных тем, на которых строится обычно описание, например, диалектных систем. Там почти исключительно отмечаются отличия от литературного языка, к которым приходится дополнительно выстраивать систему соответствий. В результате построенные таким образом описания вполне удовлетворительны для анализа (хотя и неэкономны, поскольку реально приходится иметь дело не с одним, а минимум с двумя языковыми вариантами), но не пригодны для синтеза, где нельзя обойтись одними различиями. Аналогию можно распространить и на описание синтаксической системы БЯС, которую нельзя представить только в виде списка балканизмов. Специфичность и в каком-то смысле уникальность системы БЯС основана на м о н т а ж е, на комбинации элементов, значительная часть которых является вполне тривиальной, но которые вместе с тем в своем динамическом равновесии составляют нечто качественно новое, представляющее БЯС и только его.

Второй принцип — о заранее известных результатах, — не противоречит первому, а является как бы обеспечением для него: вообще для целенаправленного, а не самодовлеющего исследования (что существенно для современной балканистики) было бы разумно не только правильно выбирать точки приложения сил, но и представлять конечные результаты (что вполне возможно на основании уже собранных фактов, позволяющих вскрывать определенные тенденции в развитии БЯС).

Ориентированность описания на основные логико-грамматические единицы предложения в принципе предполагает высокую степень обобщения и абстрактности; в дальнейшем предложенную абстрактную схему можно как угодно детализировать, — но в своих собственных пределах, от абстрактного к конкретному. При таком уровне, описания, может быть, целесообразно не доводить его во всех случаях до уровня материального выражения, но указывать «точки разворота», в отношении которых требуется проведение особого анализа. Указание «точек разворота», как будто, имеет преимущества перед неиерархизованным списком правил (всегда принципиально открытым); оставаясь в пределах системы, «точки разворота»

inslav

указывают место приложения и направление усилий для дальнейшего движения.

Для балканских языков такой подход представляется вполне оправданным, и прежде всего из-за специфических особенностей понятия «литературный язык» в системе БЯС (на основании чего и предполагается строить сопоставительную грамматику БЯС). Поскольку литературные балканские языки создавались на основе конгломерата вариантов (ареальных, исторических и т.п.), т.е. на обогащении некоего абстрактного языка, а не на ограничении его жесткой «правильностью», система «литературного языка» для БЯС в принципе нестабильна. Такое положение вынуждает в каких-то случаях к предельному схематизму, а в других — к указанию большего числа вариантов, чем это было бы в языке с отлитой литературной нормой. Особая динамичность БЯС, о которой уже говорилось и которая интерпретируется как результат постоянно действующих балканистических процессов, в свою очередь, имплицирует относительное безразличие к единственности варианта. (Ср. в связи с этим хотя бы систему балканских артиклей, где набор строгих формальных правил — артикль и предлоги, артикль и артикль, иерархия артиклей при сочетании различных, ЭСК, — контрастирует с полной свободой и безразличием в выборе артикля в тех ситуациях, где по общепринятым канонам требовалось бы однозначное решение, см. особенно свободное варьирование определенного и нулевого артикля. Другой пример — явно выраженная тенденция к номинализации, приводящая в конце концов к ослаблению оппозиции *глагол/имя*; сосуществование гипотактических и паратактических конструкций, с заметным усилением стихии паратаксиса. Ср. также общее стремление к сужению сферы действия формальных показателей, что в конце концов приводит к принципиальной семантической неоднозначности, когда выбор, во-первых, осуществляется на уровнях более высоких, чем грамматический, и, во-вторых, требование единственности и окончательности вообще может сниматься.) В результате можно говорить о том, что и внутри одного варианта языка, избираемого в конкретной ситуации, открывается возможность выбора по крайней мере двух в общем равнозначных (стилистические критерии выдвигаются на более продвинутых уровнях) способов выражения одного и того же смысла.

На максимально общем уровне синтаксическую систему БЯС, так же как и любых других групп языков или отдельных языков, можно представить в виде одной схемы, соответствующей простому предложению, и этой же схемы, но трансформирован-

inslav

ной и мультиплицированной, — для сложного предложения:

Subj .+ Atr.+ Praed. + Obj. dir. + Obj. obl. + Adv.

Строго говоря, эта схема нереальна, вернее, реальна только в своих смежных частях. Даже для одного языка представление синтаксической системы в одном предложении неудобно, оно будет слишком сложным и громоздким, поскольку каждой логико-грамматической единице будет соответствовать слишком большой набор ЭСК. Тем более такая «однофразовая» запись неудобна для одновременного описания нескольких языков, как это происходит в случае БЯС. На практике, в зависимости от целей и степени подробности описания, может быть введена более детальная классификация логико-грамматических единиц, обеспечивающая более детализированный и разветвленный набор смыслов.

Построение сопоставительной грамматики БЯС, как кажется, преследовало бы более широкие цели, чем предложение нового (или еще одного) способа описания. Количество имеющегося балканистического материала вызывает настоятельную необходимость в аранжировке и в создании некоторой схемы, описывающей систему БЯС. До тех пор, пока такая схема не будет выработана, вопрос о сходстве балканских языков, о тенденциях развития БЯС, о сфере действия балканистических процессов и т.п. будет оставаться, скорее, на интуитивном уровне, всецело зависящем от конкретных данных. Поскольку любое сравнение балканских языков внутри БЯС практически предполагает хотя бы мысленное сопоставление с какой-то смутно ощущаемой общей схемой (приблизительно соответствующей набору балканизмов), то экономной и целесообразной представляется попытка реализации этой схемы, т.е. построения единой грамматики БЯС.

В основу грамматики такого рода кладется следующее предположение: синтаксические системы отдельных балканских языков настолько близки друг к другу, что в каком-то смысле о системе БЯС можно говорить как о языке с несколькими терминами, т.е. о языке, обладающем единой грамматикой, которая реализуется на разном лексическом материале. Если такое предположение оправдано, то для всех балканских языков, входящих в БЯС, может быть построен один и единый синтаксис, с указанием в соответствующих пунктах индивидуальных особенностей каждого из языков. Другими словами, если предположить, что синтаксическая система каждого из пяти балканских языков описывается набором из 25 ЭСК (в соответствующем варианте, составленном для новогреческого набор ЭСК равен 25), то при

inslav

сопоставлении наборов ЭСК разных балканских языков ТМС во всяком случае не будет равна 125, хотя и ТМП не будет равно 25. Однако, если предположить, что ТМП будет, где-то между 15 — 20, а ТМС — между 60 — 70 (пока это предположение основано на чисто эмпирических прогнозах и приводится не более чем в качестве гипотезы), то соотношение такого рода делает оправданным построение единой грамматики синтаксиса БЯС.

Помимо ряда практических преимуществ (грамматика дала бы возможность одновременного ознакомления как с общей системой БЯС, так и с каждым отдельным языком и отчасти решила бы проблему того, надо ли в одинаковой степени знать все балканские языки для того, чтобы заниматься балканистикой), такой подход мог бы оказаться плодотворным и для дальнейшего развития теории БЯС. На комплекс разнородного и практически неисчерпаемого материала была бы наложена некоторая сетка ограничений, узлы которой в точках пересечения соответствовали бы наиболее значимым пунктам системы БЯС, в частности с точки зрения действий балканистических процессов. Последнее особенно важно ввиду динамичности системы БЯС, с ее постоянными изменениями и колебаниями, при существовании нескольких равноправных вариантов на уровне формального выражения.

Построение балканского языка-посредника, являющегося в некотором смысле сокращенной записью результатов сопоставительной грамматики балканских языков, имело бы и теоретический смысл (как вклад в дисциплину, посвященную типологии отношений разных лингвистических систем друг к другу) и, возможно, практический (вплоть до задач перевода — внутрибалканского — и обучения). Вместе с тем есть еще одна совершенно реальная ситуация, которая самым настоятельным образом нуждается в исследовании указанного типа. Речь идет о многочисленных ареалах, где осуществляется дву- или многоязычие (см. хотя бы ситуацию Баната). Для таких случаев правомерно говорить о наличии у говорящего (по крайней мере на подсознательном уровне) некоей предельно абстрактной схемы, позволяющей почти мгновенно производить пересчет с одного языка на другой. Поскольку механизм балканского многоязычия, ввиду особенностей БЯС, основан именно на наличии некоего инварианта, обеспечивающего переход к конкретным языкам, можно говорить о том, что балканский язык-посредник, выработанный на основе сопоставительной грамматики БЯС (и при условии корректности описания) в основных своих структурных чертах совпадает с указанной схемой, возникающей при механизме многоязычия.

1973

inslav

СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА[1]

I

...В построении синтаксиса БЯС должна присутствовать умышленность и, если угодно, предвзятость. Это не противоречит принципу объективности... Дескриптивное описание синтаксиса балканских языков сменяется построением грамматики, что, в конце концов, соответствует «изобретению грамматики» — в понимании Н. Хомского — как ментальному процессу, производимому человеком при усвоении языка. Общепризнанно, что этот процесс по сути интенционален, более того, что отбор происходит как бы с использованием предварительных знаний, — которых не может быть, — и с предвидением конечного результата[2].

Уже говорилось о применении к системе БЯС понятия языка с несколькими терминами. Это не означает, что грамматическая структура концептуального языка-посредника безразлична к своим «терминам» или даже независима от них. Напротив, грамматика языка-посредника сочетает свою дистиллированность и обобщенность с ориентацией на каждый конкретный язык. Такая чуткость к реальному материалу обеспечивает указание «точек разворота», т.е. мест, где с наибольшей вероятностью можно ожидать результатов действия балканистических процессов.

Ориентированность на конечный результат обусловила отбор средств первичного синтаксического уровня и отбор ЭСК для синтаксической модели БЯС. Было сочтено целесообразным сохранить в ней ту двойственность или даже многовариантность, которая пронизывает систему БЯС на всех уровнях, вплоть до семантического. Двойственность в грамматических системах балканских языков известна; нагляднее всего она иллюстрируется сочетанием синтетизма и аналитизма (но также и сочетанием финитных и нефинитных глагольных форм, и шире — паратаксиса и гипотаксиса и т.д.). В балканских языках флективные формы и предложные конструкции дублируют

inslav

друг друга или создают друг другу фон, причем и здесь проявляется двойственность: в языках, сохранивших склонение, фоном будут аналитические конструкции, и наоборот, аналитические формы дублируются флективными. В разных своих фрагментах синтаксическая модель БЯС описывается с разной степенью подробности — от указания общего принципа конструкции до уровня конкретных лексем. Неравномерность такого рода свойственна вообще системе языка, во-первых, и, во-вторых, — системе языкового союза, где схождения, по определению, не могут быть равномерны, а проявляются в определенных точках как результат возмущения, вызванного действием конвергентных и дивергентных процессов...

...Если говорить о балканском lingua franca, то его можно представить следующим образом. На уровне грамматики он адекватно описывается единой грамматикой БЯС, т.е. в равной степени репрезентирует структуру всех балканских языков. Его словарь в определенном смысле можно уподобить словарю языка с высокой степенью синонимии. При переходе с одного балканского языка на другой ставится задача перехода от метаграмматики к реальной грамматике и от металексемы к реальной лексеме. Существует большая степень вероятности, что во всяком случае для ряда элементарных ситуаций, например установление контакта, грамматика БЯС может обслужить любой балканский язык без введения дополнительных индивидуальных конструкций. Что касается лексики, предполагается, что и здесь общий фрагмент достаточно велик, и на него может быть сделана установка (естественно, первостепенное значение имеет с ф е р а общения: там, где в принципе есть терминология, единообразие лексики будет особенно велико). Иными словами, переходя на чужой язык, говорящий знает, что задача усвоения лексики будет для него заведомо облегчена наличием «знакомых слов», количество которых будет возрастать при включении в сферу общения каждого следующего балканского языка[3]. В этих условиях меняется психологическое отношение к чужому языку — он именно «усваивается» в этимологическом смысле, т.е. сглаживается оппозиция между родным и чужим языком. На определенном уровне они могут восприниматься одинаково, чему, помимо ориентации на единую грамматическую систему, способствует структура словаря, при которой совпадение лексем считается естественным, а различный набор лексем ощущается как проявление лексической синонимии[4]. Следовательно, и на лексическом уровне работает установка на единство, и это в свою очередь является поддерж-

inslav

кой единства грамматической системы, которая прорабатывается носителями языка на материале особым образом организованного словаря[5]. Разумеется, это lingua franca особого рода, так сказать, высшего порядка. Имеется в виду л и ш ь т о, что глубинная общность балканских языков, базируясь на единой структурной схеме, обладает, кроме того, и некоторым общим инвентарем для воплощения этой схемы; это ни в коем случае не предполагает унификацию балканских языков.

II

...Однородно представленные синтаксические системы балканских языков достаточно легко сводятся воедино и на их основе может быть построена синтаксическая система БЯС, переход с которой на балканские языки и обратно в принципе не слишком сложен. Из этого во всяком случае следует, что с практической точки зрения такой способ описания можно считать оправданным: он дает представление как о структуре каждого языка, так и о структуре всей общности.

Однако выполнение сугубо практических целей само по себе еще не является полностью удовлетворительным основанием для выбора того или иного метода анализа. Это особенно касается БЯС — обсуждение его генезиса, статуса и т.п. со времени введения этого понятия проходит разные степени дискуссионности. Постоянно дебатируемые проблемы конвергенции и дивергенции языков БЯС, как кажется, настоятельно требуют более общего, если угодно, почти философского подхода. Предполагается, что балканские языки могут быть описаны в рамках соотношения *похожесть/непохожесть*. Это, на первый взгляд, расплывчатое определение вводится здесь для того, чтобы представить онтологическую суть проблемы и избежать некоторого механицизма, присутствующего в оппозиции *сходство/различие* с экстенсивным перечислением соответствующих примеров. Тогда встают вопросы: 1) дает ли *похожесть* основание описывать их как единую систему; 2) дает ли *непохожесть* основание описывать их раздельно; 3) возможен ли третий путь — описание балканских языков и как *похожих* и как *непохожих* друг на друга. Последнее вновь побуждает обратиться к процессу медиации. Оппозиция *похожесть/непохожесть* вводится здесь как неприватившая; соответственно оба ее члена маркированы. Тогда «примирение» противоположных членов оппозиции приводит не к усреднению (в данном случае — «в чем-то похожи, а в чем-то не похожи»), но к особому статусу,

inslav

в котором *похожесть* не означает унификации, а *непохожесть* не опровергает наличия на глубинном уровне единой структурной схемы. Переходя, так сказать, на бытовой уровень, можно заметить, что балканские языки воспринимаются как похожие или даже как удивительно похожие, поскольку похожесть проявляется и в более общем, и в почти неожиданных тонких деталях. С другой стороны, они столь же не похожи, не смешиваемы, индивидуальны (это, пожалуй, особенно наглядно проявилось при сравнении параллельных текстов на балканских языках, где без перехода на уровень глубинных структур трудно воспринять идентичность таких сочетаний, как, например, *τὸ σπίτι τοῦ πατέρα, casa tatălui, shtëpia e i atit, къщата на баща, куќата на татко* 'дом отца', за исключением болгарского и македонского, отличных друг от друга по звуковому оформлению и лексическому инвентарю). В своем взаимодействии, или в процессе медиации, противоположные члены оппозиции как бы питают друг друга, высвечивают друг друга. Можно сказать, что *похожесть* балканских языков не была бы столь яркой (или не воспринималась бы столь живо), если бы она не подкреплялась *непохожестью* и наоборот. Кажется почти парадоксальным, но именно описание системы БЯС методом элементарных синтаксических конструкций (ЭСК), чрезвычайно высокая степень совпадения наборов ЭСК отдельных балканских языков, почти непредвиденная легкость приложения единой схемы ко всем языкам БЯС позволила по-новому и особенно ощутить основоположную индивидуальность балканских языков, их сугубую «разность».

Анализ синтаксической системы БЯС привел к убеждению, что механизм БЯС основан на симбиозе *похожести* и *непохожести* балканских языков. Быть может, в этом отчасти содержится ответ на вопрос, почему балканские языки не выработали lingua franca в узком смысле. Отвлекаясь от исторических, социальных, психологических и под. объяснений, при всей их существенности (хотя бы потому, что благодаря им было выработано отстраненное отношенное к родному языку как к самодовлеющей ценности)[6], можно усматривать и чисто лингвистические факторы этого, а именно: действие балканистических процессов направлено на выработку единой структуры, а не единого языка. Не хотелось бы вводить эту тенденцию в рамки конвергенции и дивергенции: они в данном случае представляются способами функционирования языков в условиях контакта, но не принципами этого функционирования. Поэтому конвергенция и дивергенция могут выступать

inslav

тогда, когда требуется определить «точки разворота», т.е. точки, в которых можно ожидать соответственно схождений или различий.

Постулирование одновременного действия факторов *похожести* и *непохожести* в системе БЯС заставляет вновь привлечь теорию языковых контактов, поскольку и здесь балканские языки проявляют своеобразие. Теория языковых контактов в своей основе эмпирична, и свои положения она черпает, как правило, из исследования механизма контактов, т.е. из того, как реально происходит общение носителей разных языков, как осваиваются языки друг друга и т.п. Пожалуй, наиболее освобожденным от эмпиризма было введенное Н.С. Трубецким и Р.О. Якобсоном понятие языкового союза — не в противоречие тому, что оно строилось на сугубо конкретном (балканском) и к тому же фрагментарном (фонология) материале. Тем не менее именно понятие «языковый союз» было и продолжает оставаться наиболее общим и теоретичным, и наиболее плодотворным, если принимать его в конвенциональном плане (чему было специально посвящено введение настоящей работы). Во всяком случае, работы по языковым контактам не могут обойтись без понятия языкового союза, хотя бы на уровне его критики.

Термин «языковой союз» может применяться как инструмент для исследования лишь при соблюдении его конвенциональности. В противном случае происходит то, против чего с полным основанием возражает У. Вайнрайх:

> ...Термин Sprachbund представляется неудовлетворительным. Его основной недостаток состоит в том, что он предполагает некое единство, группу, как будто каждый язык либо является, либо не является членом данного Sprachbund'a. Но ведь ясно, что такая группировка языков не имеет особых a priori заданных критериев; ряд географически смежных языков может быть объединен в Sprachbund, образованный ad hoc, по любой структурной изоглоссе[7].

Представляется, что это именно так, во всяком случае теоретически корректно начинать с того, что по структурным изоглоссам можно объединить любую группу языков, в том числе и не обязательно географически смежных (напомним, что в связи с балканскими языками постоянно, например, вводится постпозитивный артикль в скандинавских языках, не столько как основание для подключения их к БЯС, сколько как основание для критики БЯС). Разумеется, при определении состава языковых союзов прежде всего требуется здравый смысл, понимаемый среди прочего как сочетание «предварительного знания» и прогнозирования. Практически так и происходит, и

inslav

дискуссии обычно ведутся не по поводу неправильного отбора языков, а по поводу квалификации характера их схождений... Речь идет не о том, чтобы изменить и расширить состав БЯС за счет, скажем, сербско-хорватского, тюркских диалектов и т.п., но о том, чтобы определить структурное место этих языков по отношению к системе БЯС[8]. Иными словами, сопоставление их наборов ЭСК с набором ЭСК системы БЯС должно показать, имеет ли смысл описывать эти языки в рамках единой балканской грамматики или не имеет. Можно предложить также компромиссный вариант: включение их в БЯС на уровне фрагментов (при том, что они должны быть диагностическими, т.е. характеризовать именно БЯС, а не произвольно выбранный конгломерат языков).

Такой способ описания представляется плодотворным для целей не только внешнего, но и внутреннего сравнения, или для сочетания внешнего сравнения с внутренним. Дело, в частности, в том, что за пределами БЯС в узком смысле остается большое количество материала, как бы не находящего своего места в системе. Это, например, различные совпадения между отдельными (но не всеми) балканскими языками в разных количественных и качественных комбинациях, совпадения между балканскими языками (также в разных сочетаниях) и языками ближайшего окружения и т.д. Наблюдений такого рода собрано и собирается очень много, ценность их несомненна: строго говоря, именно они репрезентируют самое жизнь БЯС в ее динамике, с постоянным кипением балканистических процессов, с наложением конвергентных и дивергентных явлений, с выходом за границы БЯС и т.п. Вся совокупность этих изменений, по сути дела является тем материалом, из которого в течение нескольких веков кристаллизуется структура БЯС. Однако нередко эти наблюдения как бы повисают в воздухе: слишком жесткой оказывается традиция приписывать ранг «балканизма» лишь тем явлениям, которые проходят по всем балканским языкам.

Такой путь определения балканизмов достаточно надежен и защищает от экстенсивности. Более того, для установления каркаса БЯС, его границ, он и единственно надежен, иначе трудно или даже невозможно было бы упорядочить массу данных. Следовательно, на первом этапе был разумно выбран ограничительный способ описания. Далее он дал толчок к расширению списка балканизмов за счет более частных схождений (что было уже в «Балканской лингвистике» К. Сандфельда). Таким образом, постепенно и естественно, имплицируемая самим

inslav

материалом, намечается и другая тенденция: б а л к а н и з м ы — изменения, проходящие по всем языкам, → б а л к а н и з м ы — изменения, проходящие по группам языков, → б а л к а н и з м ы — изменения в каждом балканском языке. Последнее утверждение кажется неосторожным, но оно столь же крайнее, как и первое и потому в определенном смысле условно. Сужение списка балканизмов необходимо для установления максимально общей структуры БЯС, и оно предельно как исходная точка, до которой о БЯС не имеет смысла говорить. Однако одновременно это и точка разворота, потому что очерченная таким образом модель требует дальнейшей детализации и разработки.

Подключение к исходной модели новых данных (схождений балканских языков) определяется актуальностью языковых контактов (необходимое условие, лежащее в основе категории языкового союза). Поэтому оправданно считать балканистичными структурные изменения, которые возникают в любых комбинациях контактирующих балканских языков, с тем прогнозом, что при расширении контактов данный вариант может захватить большее число языков → все языки. Однако здесь неизбежно возникает проблема: как трактовать схождения в языках, непосредственно не контактирующих? Тогда, естественно, приходится переходить от понятия п р я м ы х языковых контактов к понятию, так сказать, о п о с р е д о в а н н ы х языковых контактов, — или б а л к а н и с т и ч е с к и х п р о ц е с с о в. Балканистические процессы означают втянутость данной языковой зоны в состояние взаимодействия в широком смысле, взаимодействия, уже перешедшего рубеж зависимости от непосредственных контактов. Иными словами, балканистические процессы предполагают чуткую реакцию языка на любое возмущение системы независимо от того, вызвано ли оно реальными контактами или более общими причинами. К числу таких более общих причин относится прежде всего сама структурная модель БЯС, оказывающая определяющее влияние, если не давление, на структуру отдельных балканских языков.

Теория контактов предполагает, в частности, наличие в основе интерференции двух сторон (соответственно двух языков) — источника и объекта интерференции. Это, естественно, позволяет установить в каждом данном случае, что́ заимствуется и ка́к преобразуется данное заимствование[9]. Разумеется, это несколько упрощенное, «начальное» представление, на которое затем накладывается целый ряд дополнительных усложня-

inslav

ющих условий, но тем не менее предполагается, что в принципе источник и направление заимствований определимы. Однако в балканских языках, прошлые состояния которых в общем достаточно известны, с достоверностью не может быть установлен ни один источник балканизмов, т.е. ни один преимущественный «балканизмопроизводящий язык» (по какому поводу и спорят до сих нор «семь городов»)[10]. Здесь не имеет смысла вдаваться в столь известный вопрос, тем более, что он не может быть решен однозначно, и, как представляется, не только из-за недостатка источников, но и по более общим причинам, касающимся особенностей БЯС. Исследования в этом направлении, вернее, их отрицательные (в общем плане) результаты являются ценным вкладом в развитие балканистики: они помогают вскрыть особую структуру БЯС, где наиболее фундаментальные схождения возникли как бы из нуля: в основе их лежала не с у б с т а н ц и я, а и н т е н ц и я. Такая трактовка механизма БЯС не претендует на истинность в философском смысле (т.е. на то, что все происходило так «на самом деле»; вполне вероятно, что истина лежит в совершенно иной плоскости), но она, по крайней мере, операционна, а это немаловажно, поскольку операционность сама по себе может подвести к истине.

Итак, принятая здесь точка зрения состоит в априорном отказе от выяснения того, материал какого языка служит основой заимствования, т.е. в отказе от соотношения *источник — объект* заимствования (даже в случае ка́лек любого рода). Взамен этого выдвигается идея существования некоторой общей модели структуры БЯС (приблизительно соответствующей диаструктуре У. Вайнрайха), на которую жестким образом ориентированы структуры отдельных балканских языков. Эта модель конвенциональна и, естественно, конвенционально следует понимать и дальнейшие утверждения: любое изменение в структуре отдельного балканского языка есть прежде всего результат воздействия на него модели БЯС, а не контакта с другими языками, в частности балканскими. Подход, принятый здесь, снимает вопрос о происхождении БЯС, хотя его структурные характеристики позволят в дальнейшем высказать по этому поводу некоторые предположения. Пока же речь идет о м о д е л и и об интерпретации в связи с нею ряда существенных черт балканских языков.

...Сама специфика БЯС побудила отказаться от чрезмерной детерминированности и положить в основу модели неоднозначность, многовариантность, отражающую как формально-

inslav

грамматический, так и семантический аспект. Отказ от выбора в качестве модели БЯС ТМП набора ЭСК балканских языков привел к тому, что ее составляет как бы двойной набор формальных средств, дублирующих друг друга и при этом противопоставленных друг другу и соответствующих скользящим группировкам балканских языков[11].

Это касается прежде всего сочетания *паратаксис/гипотаксис* (по согласному мнению, основоположного в структуре балканских языков[12], сочетания *флективность/аналитизм*, когда каждый член оппозиции выступает попеременно фоном для другого, наконец, «неиспользования» инвентаря собственных формальных средств, приводящего к неоднозначности, принципиальной невозможности отождествления словоформы или смысла (ср. хотя бы асимметричность и дефектность балканского склонения, бедность формальными показателями, почти свободное чередование флективных и аналитических конструкций и далее вообще сведéние к минимуму формальных показателей). Если располагать эти характеристики модели иерархически, то во главе, безусловно, будет оппозиция *паратаксис/гипотаксис*, распространяющая свое влияние столь широко и глубоко, что, как уже говорилось, имеет смысл говорить об особом роде синтаксической связи в БЯС, которая находится где-то на границе сочинения и подчинения, а внутри последнего — на границе управления и примыкания[13].

Паратаксис контролируется гипотаксисом, и обе эти категории находятся в сложных отношениях взаимной поддержки и взаимного опровержения. В системе БЯС постоянно идет игра на том, что однозначность в принципе и возможна, и достижима (ср. хотя бы трансформационный уровень), но именно для того, чтобы ее избежать, приходится создавать иные, вариантные, конструкции[14]. Таким образом, растет синонимия грамматических конструкций, выражающих одно и то же синтаксическое отношение, причем это не снимает грамматической омонимии, поскольку число новых конструкций обратно пропорционально их функциям (показательный пример — стремление к универсализации аппозитивных сочетаний, находящее крайнее выражение в продуктивности категории сложных слов). В результате можно говорить о тенденции БЯС к аграмматичности, к переносу центра тяжести с формального уровня на семантический, лексический и т.п. Аграмматичность проступает особенно отчетливо именно потому, что она контрастирует с грамматичностью, а в некоторых случаях почти с гиперграмматичностью (ср. хотя бы сложность системы балканского глагола).

inslav

Состояние системы БЯС на первом уровне его структурной модели формулируется следующим образом: в БЯС сосуществуют процессы, которые можно назвать центростремительными и центробежными. С одной стороны, наблюдается движение к некоему центру, формирование гомогенного ядра, аккумулирующего основные характеристики отдельных членов БЯС. С другой стороны, в БЯС царит свобода и необязательность, тенденция к установлению принципиальной неоднозначности, многовариантности решений. И то и другое неотъемлемо принадлежит БЯС. Естественно возникает потребность, если не объяснить это противоречие, это представляющееся нелогичным и почти хаотическим состояние системы, то хотя бы ввести его в некоторые более общие рамки, где непоследовательность могла бы выступать, напротив, как высшая целесообразность.

Постулирование единой модели, представляющей структуру БЯС, может невольно привести к ее абсолютизации при следующем рассуждении: если известно, что, образовав БЯС, входящие в него языки существенно и единообразно изменили свою структуру, так что на основе этих изменений выработана некая общая структура, соответствующая БЯС в целом, то эта структура в то же время представляет будущее каждого балканского языка. Иными словами, поскольку неопровержим факт схождения балканских языков и известны направления схождения, т.е. ориентированность на единую модель, то почему бы не предположить в идеале максимальное слияние каждого балканского языка с этой моделью и соответственно их унификацию. Это рассуждение в определенном смысле оправданно и полезно. Такой подход во всяком случае облегчает включение в общебалканский контекст частных схождений, увеличивая инвентарь балканизмов, и до определенного момента — это наиболее операционный способ описания структуры БЯС.

Однако соприкосновение с живым языковым материалом БЯС в его разнообразии и неповторимости не дает признать вполне удовлетворительным или во всяком случае единственным этот эволюционистский подход к механизму БЯС как к развивающемуся линейно и однонаправленно от частного к общему и от разного к единому. При том, что тенденция к единообразию несомненна и постоянно подтверждается, так сказать, «полевыми» наблюдениями, сама специфика БЯС, чья система на всех уровнях представлена и поддерживается оппозициями, заставляет не останавливаться исключительно на этом аспекте. Соотношением *похожести/непохожести* как основной харак-

inslav

теристикой балканских языков контролируется их статус: структурное единство балканских языков несомненно, единая грамматика БЯС не только допустима, но и целесообразна и т.п., но при этом балканские языки «не похожи» друг на друга. Создается впечатление, что глубинный уровень структурных схождений, соответствие единой системе как бы стимулирует противоположный процесс (или стимулируется им) — сохранение исторических и генетических корней, т.е. живое ощущение своего прошлого, что обеспечивает «проведение собственной линии». Как и в других аспектах БЯС, эти две противоположные тенденции не опровергают, а усиливают друг друга. БЯС показывает, что следование правилам не отрицает свободу, единство не означает одинаковости, а различие — отсутствия единства.

Из сказанного вытекает, что описание системы БЯС только с помощью модели, соответствующей единству структуры балканских языков, является неполным прежде всего из-за своей односторонности. Требуется ввести более высокий уровень абстракции, помогающий примирить противоположные тенденции в развитии системы БЯС. Здесь — это *уровень коммуникации*. Предполагается, что и в своем формально-грамматическом единстве, и в своем разнообразии система БЯС ориентирована на осуществление коммуникации в условиях максимума помех в канале связи (разноязычие, потенциальная необходимость перехода с языка на язык). В этом смысле в основу БЯС должна быть положена к о м м у н и к а т и в н а я модель, реализующаяся на уровне балканистических процессов и независимая от временной и пространственной оси. Этим она отличается от грамматической модели БЯС, описывающей с р е з, хотя бы и соответствующий продолжительному временно́му периоду и учитывающий, насколько это возможно, прошлое и будущее. Коммуникативная модель вскрывает м е х а н и з м становления и функционирования БЯС, она может быть выявлена в любой точке пространственной и временно́й оси. Если на уровне грамматической модели существенно, например, что по всем балканским языкам проходит один набор грамматических предлогов или что союз ЧТОБЫ может свободно чередоваться с союзом И, то в пределах коммуникативной модели это оказывается не столь важно. Для нее не имеет значения, например, то, что новогреческий и славянские языки БЯС противопоставлены по наличию/отсутствию системы склонения, хотя в рамках формально-грамматической модели это интерпретируется (и в определенном смысле вполне справедливо) как бо́льшая

inslav

степень балканистичности славянских и некоторое «несоответствие» новогреческого системе БЯС. В коммуникативную модель не включено понятие с т е п е н и балканистичности: балканистичны в с е языки постольку, поскольку они входят в БЯС (критерий вхождения определяется на предыдущих уровнях) и, следовательно, «подгоняют» свое устройство к оптимальному осуществлению коммуникации в условиях балканского многоязычия[15].

Таким образом, из коммуникативной модели изымается оценочность, и предполагается (а в общем это и соответствует действительности), что переход с любого балканского языка на любой другой в принципе требует одинаковых усилий. Естественно, что коммуникативную модель нельзя рассматривать независимо от формально-грамматической. Они связаны иерархически, и безразличие коммуникативной модели к уровню выражения, т.е. к уровню конкретных языков, основано на их структурном единстве, выявленном формально-грамматически; с другой стороны, уже то, что в формально-грамматическую модель введены оппозиционные категории (например, флективность/аналитизм), отсылает ее к коммуникативной модели, где противопоставления такого рода нейтрализуются.

Коммуникативная модель предлагает свой вариант будущего системы БЯС: очевидно, что балканские языки не разойдутся, если только не изменятся кардинально условия их существования, но вместе с тем это не означает, что они превратятся в один язык: это нереально прежде всего потому, что объединяющие их имплицитные черты гораздо глубже и сильнее эксплицитных (так же, как родство душ не требует внешнего сходства)[16].

...Первая из основных характеристик коммуникативной модели — стремление к аграмматизму, касающееся как материального набора, так и способов связи (на рассматриваемом здесь уровне — синтаксической связи). Аграмматизмом захвачены все балканские языки, хотя результаты этого процесса, наложенного на разный исходный материал, проявляются поразному. Примеры «борьбы» балканских языков со своей грамматикой многочисленны. Достаточно назвать хотя бы ограничение сочетаний Praep + obl в пользу Praep + dir = acc, при том что вводится правило (или тенденция) к употреблению при предлогах Subst. без артикля, т.е. с заведомой нейтрализацией nomin = acc. См. также случаи лексических ограничений в диагностических контекстах: конкретные лексемы отбираются таким образом, чтобы избежать однозначного определения

inslav

формы (таким образом процесс упрощения влияет на синтаксическую валентность слова, а через это происходит значительная перестройка синтаксической системы) ...на коммуникативном уровне аграмматизм приписывается всем языкам в качестве «над-балканизма» (т.е. по признаку аграмматизма все балканские языки получают плюс).

Именно здесь встает вопрос об уровне смысла. Из сказанного выше вытекает, что крайний случай аграмматизма — соположение исходных словоформ — принципиально соответствует выражению любого смысла. Это далеко не умозрительный пример, поскольку практически он реализуется, хотя бы в аппозитивных сочетаниях Subst + Subst. В таких случаях считается, что задача определения смысла переносится на контекст, ситуацию и т.п., т.е. в конце концов на вне-языковые данные, что действительно так, но является лишь частными средствами и частным объяснением. Имманентный и самодостаточный, каждый язык устроен таким образом, что любые операции над ним могут быть произведены средствами исключительно самого языка. То же действительно и для системы БЯС. Безусловно, аграмматизм сам по себе и особенно аграмматизм, развившийся в условиях затрудненного общения, предполагает повышенную роль контекста, ситуации, жеста в широком смысле (об этом отчасти будет говориться далее в связи с повышением роли фатического уровня и задачей установления контакта). Однако это не является универсальным решением проблемы. Можно предположить, что именно на основе аграмматизма, а более точно — на общекоммуникативной основе — выработалось столь характерное для системы БЯС (и шире — для балканской модели мира, о чем будет речь в своем месте) стремление к принципиальной многозначности, амбивалентности.

Вопрос о том, как при недостатке формальных средств выразить один и единственный смысл, решается парадоксально просто: если это формально невозможно, значит 1) это несущественно, т.е. не мешает восприятию и пониманию (а такие случаи в избытке можно найти в любом языке и не только в балканском, поскольку так манифестируется обязательная для каждого языка нейтрализация)[17]; 2) этот смысл — не единствен. Таким образом, чистая грамматика переводит проблему на уровень почти философских спекуляций. В самом деле, можно ли приписывать высказыванию, ситуации и т.п. однозначность только на основании предположения, что эта однозначность присутствует в грамматике (притом нередко имеется в виду нормативная грамматика, в сущности, навязанная языку теми,

inslav

кто его описывает). Тогда кажущаяся простота и кажущаяся «неразработанность» балканских языков оборачивается особой тонкостью и почти изощренностью. В балканских языках (и в балканской модели мира), как бы не ставятся точки, в них нет окончательности, а лишь временные остановки, за которыми есть (или ожидается) еще *нечто*, может быть, более важное, чем то, что выражено эксплицитно; это *нечто* может так и остаться неразрешенным, но тем не менее продвигает нас на некоторый дополнительный уровень познания и восприятия мира.

При описании синтаксической структуры БЯС выявилось четкое противопоставление элементов, принадлежащих классам C, и элементов классов Z, т.е. полнозначных и неполнозначных. Это противопоставление значимо и для парадигматического уровня, и для уровня текста. Более того, как было показано, элементы Z играют формообразующую роль в тексте и на уровне минимальных единиц (ЭСК), и на уровне протяженных отрезков. Оказывается далее, что, переходя в виде конституента (ср. ранее морфологический уровень — конституент синтаксического и т.д.) в коммуникативную модель, эта оппозиция в общем плане соответствует *аграмматизму* (C) и способам установления и проверки *контакта* (Z). Следует указать, что это соответствие общего плана, не исключающее среди прочего и то, что элементы Z играют существенную роль в реализации аграмматизма (ср. хотя бы замену флективных форм предложными конструкциями, аналитические глагольные формы, аналитическое образование степеней сравнения и т.д.), а элементы C — в реализации контакта (выделение темы, эмфатическая инверсия, отмеченная роль Voc и Imper и т.д.). Тем не менее это не влияет на основной принцип проекции оппозиции C/Z на уровень коммуникативной модели.

Итак, предполагается, что предельно упрощенная грамматика еще не гарантирует успешное осуществление коммуникации в условиях разноязычия, в частности потому, что она оказывается слишком нейтральной и в каком-то смысле избыточно однородной и равномерной для столь острой ситуации, где дополнительно встают по крайней мере три задачи: 1) маркированность начала коммуникации, сигнал «внимание», т.е. *контактоустановление*[18]; 2) проверка контакта, поддержка внимания на протяжении всего процесса коммуникации; 3) выделение значимых элементов сообщения, т.е. в итоге переход на уровень смысла. Снова следует подчеркнуть, что такое разделение функций носит характер общего принципа, поскольку да-

inslav

леко не всегда можно четко отличить (1) и (2) от (3) функции и соответственно отделить чисто фатические Z («жесты») от специально грамматических, особенно когда речь идет о протяженных цепях элементов Z. Тем не менее очевидно, что задачи (1) и (2) выполняются с помощью привокативных, приимперативных и изофункциональных им Z (в частности, Z междометного характера), которые могут абсолютизироваться и выступать самостоятельно в разных позициях, хотя статистически чаще — в инициальной.

Этот класс Z в балканских языках весьма разработан, набор соответствующих элементов широк и разнообразен и, что особенно существенно, выделяет основное лексическое ядро, проходящее по всем балканским языкам. Таким образом обеспечивается не только яркий, но и высоко надежный и эффективный способ контактоустановления: для носителя любого балканского языка оклик БРЕ, ХАЙДЕ и под. однозначен в своей функции обращения и привлечения внимания. Более того, эти элементы Z проясняют непосредственно примыкающие к ним элементы C, идентифицируя их прежде всего грамматически (voc, Imper), а затем при определенных условиях и лексически. Функцию установления и проверки контакта выполняют также вопросительные, отрицательные, утвердительные и некоторые другие Z. Достаточно значима не только сама по себе фиксированность позиции всех вышеперечисленных элементов Z, но и то, что для целого ряда из них специально устанавливается «не первое» место в ЭСК или предложении, т.е. происходит синтаксическое регулирование: Z распределяются таким образом, чтобы выполнялась функция п р о в е р к и контакта, постоянной поддержки внимания (ср. в связи с этим возможность размещения voc и Imper в любой позиции в предложении).

Если бы можно было разделить различные этапы передачи сообщения, это представлялось бы следующим образом. После того, как адресат выяснил, что сообщение предназначено ему, определил его начало и конец, и его внимание поддерживается специальными средствами на протяжении всего времени, занимаемого сообщением, перед ним встает задача собственно декодировки, т.е. грамматического анализа, в итоге приводящего к установлению смысла. Можно предположить, что декодировка ведется в соответствии с актуальным членением, т.е. выделением темы и ремы, или упрощенно группы Nom и группы Vb. И здесь классификатором par excellence выступают элементы Z: артикли, предлоги, союзы, приглагольные грамматические частицы, местоименные и глагольные клитики и ряд дру-

inslav

гих изофункциональных перечисленным Z[19]. Nom и Vb обладают собственным набором Z, что само по себе способствует их «узнаванию». Не говоря о специально грамматических функциях (они были в достаточной степени проанализированы в предыдущих разделах, чтобы здесь можно было к ним не возвращаться, тем более, что сейчас речь идет о, так сказать, «неграмматическом» фрагменте коммуникативной модели), приименные и приглагольные Z, выступающие обычно комплексами, служат сигналами введения соответственно группы Nom и группы Vb. Таким образом осуществляется первое и основное членение сообщения. Далее, те же комплексы Z помогают произвести более детальный анализ внутри группы Nom и группы Vb.

В плане коммуникации существенно выделить еще один функциональный аспект Z. Речь идет *о разрежении потока информации*. Известно, что нагнетение исключительно значимых элементов, т.е. устранение избыточности, ведет к затруднению понимания, поскольку при этом падает объем восприятия: для уяснения смысла человеку требуется некоторый разгон, паузы в потоке информации. Возможно, это связано с наличием «предварительного знания», о котором говорилось в связи с идеями Н. Хомского о взаимоотношении языка и мышления: для того чтобы привести в соответствие изначальное знание с информацией данного момента, требуются дополнительные усилия и дополнительная затрата времени. С другой стороны, именно это «знание заранее» в сочетании с высоким уровнем аналитических и синтетических возможностей человека делает ненужным переизбыток содержательной информации (так сказать, «информацию без пропусков»). «Паузы» приобретают особое значение в условиях затрудненности контакта, в данном случае — в ситуации разноязычия.

В определенном смысле этот же принцип приложим и к самим элементам Z. На парадигматическом уровне они классифицируются достаточно четко и приписываемая им грамматическая информация бывает многозначной, но она не расплывчата и вполне определенна. В результате может возникнуть иллюзия, что в балканских языках с их тенденцией к аграмматизму на уровне классов C, грамматическая информация оказывается вынесенной за скобки и представленной в виде отдельных формантов, каждый из которых обладает своей четко выраженной функцией и, более того, фиксированной позицией, связанной и с его дистрибуцией в цепи Z. Далее делается следующий шаг: анализ сообщения на балканских языках (хотя

inslav

бы предварительно) можно проводить формальными средствами, отвлекаясь от смысла, т.е. приблизительно так, как это делается при анализе текстов на древних (в частности, индоевропейских) языках, где анализируется чисто грамматическая информация, и именно она служит не только опорой в установлении смысла высказывания, но часто проясняет лексическое значение незнакомого слова.

Казалось бы, ничто не мешает применять этот же метод к анализу текстов на балканских языках, где он сверх всего должен облегчаться еще и тем, что, соответствующие грамматические форманты уже выделены. Оказывается, однако, что к балканским языкам он не применим или во всяком случае малоэффективен. Практический опыт говорит, что для понимания (например, перевод) балканского текста надо выделить (с помощью Z) элементы C, установить их значение, на этой основе определить предварительный смысл высказывания и затем обратиться к той грамматической информации, которую можно извлечь из Z. Извлечь же этой информации удается значительно меньше, чем это предполагается, исходя из парадигматического уровня. Основные причины весьма просты. Первая из них та, что между лексическим набором Z и их значением существует такой разрыв, что нередко проще отождествление Z по общему смыслу высказывания, чем обратное. Более того, здесь происходит как бы игра в «ложное нарушение запрета». Ср. хотя бы случай, когда один и тот же звуковой комплекс соответствует ударному слову и клитике, позиции которых в ЭСК и предложении могут быть взаимоисключающими[20].

Другая причина заключается в том, что парадигматические правила употребления Z на синтагматическом уровне реализуются со значительными отклонениями. Ср. хотя бы употребление $Pron_{cl\ acc}$ при непереходных глаголах, заставляющее искать несуществующий объект; местоименную репризу, синтаксическая детерминированность которой, несмотря на усилия исследователей, опровергается свободой и непоследовательностью ее употребления и т.д. Сам язык (или система БЯС) подводит к тому, чтобы трактовать функции Z в тексте более широко. Разумеется, сказанное выше нельзя понимать слишком буквально, в том смысле, например, что грамматическая информация Z отвергается вообще или что реально при анализе уровень C и Z рассматривается полностью дискретно, а не во взаимодействии. Тем не менее, как кажется, этот способ изложения помогает установить основную содержательную функцию Z в системе БЯС — дейксис в широком смысле, будь это указание на грани-

inslav

цы сообщения, на группы элементов С или на грамматические характеристики элементов С.

Уже говорилось о том, что для балканского текста характерно скопление Z, объединенных в цепи, и существенна их позиция по отношению к полнозначному элементу. При переходе на уровень более крупных единиц Z выступают, таким образом, своего рода распределителями, членящими единицы текста, например, предложение, которое схематически можно изобразить как z ! [zz Nom z] [zzz Vb z] [z Nom z]...[21], что естественным образом приводит к мысли о ритмическом членении предложения (и шире — текста) с помощью элементов Z. Функциональность Z как выделителей элементов С, «паузаторов», в потоке информации подтверждает их ритмизующее свойство: они как бы улавливают и отражают внутренний ритм, в частности, ритм мышления (известно, что ритм является одним из значимых параметров в конструкции балканского текста, ср. наряду с общими проблемами синтаксической акцентуации, связанной прежде всего с клитиками, и более специальные рекомендации). При описании синтаксиса БЯС уже говорилось о том, что цепи Z весьма сложны и индивидуальны, как в аспекте разных балканских языков, так и в пределах одного языка.

Эта особенность представляется также связанной с их ритмизующей функцией, если представлять ритм, исходя из анализа этого термина, произведенного Бенвенистом[22]: ритм понимается как сочетание особой, преходящей, образованной ad hoc формы с определенной системой чередования соответствующих единиц.

На этом анализ системы БЯС можно было бы закончить, резюмировав, что в основе его механизма лежит ориентировка на коммуникативную модель, основными характеристиками которой будут тенденция к упрощению грамматики (в крайней точке — аграмматизм) и специальные приемы обеспечения коммуникации, и что уровнем, предшествующим коммуникативной модели, является формально-грамматическая модель, представленная здесь единой синтаксической схемой БЯС. Однако этот достаточно общий и как будто бы логичный подход, при котором с самого начала объявлялся отказ от проблемы балканского perpetuum mobile — генезиса балканизмов, при своей «неуникальности» являющихся основой длительного языкового сообщества, все-таки не позволяет миновать эту же самую проблему.

Действительно, очень многое говорит о том, что балканскими языками избран обычный, если не универсальный, способ

inslav

приспособления языка к ситуации разноязычного общения. В конце концов, русская формула *твоя моя не понимай*, являющаяся условным обозначением «русского пиджина» (как в иноязычных устах, так и в устах носителя, стремящегося сделать сообщение более понятным), аккумулирует основные принципы балканской языковой модели. См. прежде всего ритмически (и даже рифменно) организованное введение ремы с участием клитики — *твоя моя не*, грамматическое упрощение *понимай*, маркированное оформление местоимений (изофункциональных Z), с одновременным переходом их к аналитизму (*моя́, твоя́* вм. *я/меня, ты/тебя*), наконец, смысловая неопределенность: «ты не понимаешь (— поймешь, — понял) меня», «я не понимаю тебя», «мы не понимаем друг друга», — лишь отчасти снимаемая порядком местоименных элементов. Отвлекаясь от ситуации разноязычия, этот же способ организации текста чередованием Z и C можно видеть в любом языке с тем уточнением, что в нейтральных условиях и в условиях отмеченных он реализуется по-разному, соответственно нагнетением Z при повышении сложности коммуникации и др., ср. хотя бы: *он* СКАЗАЛ, и *но ведь он же уже сам нам* СКАЗАЛ или фольклорные клише типа *это што у тебя пошто, да это што у тебя на што* и под., в примерах здесь не будет недостатка.

Соответствующие аналогии прослеживаются далее, за пределами узуса современных языков в разговорном, так сказать, бытовом, варианте. Нанизывание клитик в инициальной или, шире, пограничных позициях, введение цепи клитик после первого опорного слова является одним из основоположных свойств индоевропейской синтаксической системы. Многочисленные исследования последних лет, анализирующие соответствующие сочетания как с точки зрения их акцентуационных характеристик (ср. проблему ритма), так и в аспекте лексико-грамматического состава, показывают, что балканские языки в данном случае использовали готовую модель, к тому же прошедшую проверку временем и пространством[23].

Поэтому в принципе можно утверждать, что, каковы бы ни были балканизмы, при решении вопроса об их генезисе целесообразно обращаться к исходному общему источнику, т.е. в конечном счете к индоевропейским языковым моделям, приспособленным к осуществлению контактов в трудных условиях, или, если можно так выразиться, к языку, коммуникативному par excellence. Эти «индоевропеизмы» в одних случаях сохраняют и продолжают старое, действительно индоевропейское наследие. В других случаях речь идет о своеобразной ре-

inslav

курсии, «возвращению» к состоянию, которое типологически близко к индоевропейскому. Такие «возвращения» сами по себе могут быть неслучайными и к тому же весьма показательными, в частности, сигнализирующими о сходстве целой конфигурации внутри грамматической системы.

...В ходе исследования оказалось, что на поверхность выступают некоторые особенности структуры БЯС (собственно, вообще любой языковой структуры), до сих пор не актуализованные. Описание было корректным лишь тогда, когда одновременно учитывались противопоставленные условия. Так, ограничив себя т о л ь к о и с т р о г о синтаксическим уровнем, приходилось, с одной стороны «спускаться» к морфологии, а с другой — «подниматься» к собственно семантике. Получился своего рода парадокс: строгое выделение одного языкового уровня в его собственных пределах оказалось возможным лишь при признании смазанности границ между уровнями и их взаимопроникновения, т.е. возникновения своего рода прослоек.

Введение этих прослоек вызывается не только необходимостью распределения элементов, принадлежащих одновременно и высшему, и низшему уровням. Так манифестируется глубинная внутренняя связь, более того, неразрывность этих уровней, напоминание о том, что их разделение есть скорее фактор описания, — при всей его целесообразности и соответствию истине, пусть и не в высшей инстанции.

Такого же «сквозного подхода» настоятельно требует система БЯС. Возможность, хотя бы предварительно, установить на основе синтаксического уровня еще более высокую ступень (или степень) общности на семантическом уровне, необходимость учета морфосинтаксического уровня и т.д. приводит к мысли об и е р а р х и и схождений от максимума к минимуму — в соответствии с движением от высшего (семантического) к низшему (фонологическому) уровню.

Представление языковой структуры как многоярусной, где при переходе от яруса к ярусу обнаруживается некоторый общий слой, ориентировано по оси *фонетика—семантика*, т.е. *обозначающее—обозначаемое*, или *звук—смысл*[24]. Это побуждает обратиться к проблеме соотношения звуковой формы слова с его семантикой. Постепенность перехода, или «подъема», уровней в языковой структуре помогает увидеть, как звуковая оболочка, обрастая новыми ДП, выступающими имманентно или в контексте, получает статус, при котором материальная манифестация отступает перед смыслом в чистом виде, однако не дает забыть о себе как о необходимом начале. Этот путь

inslav

можно сопоставить с таким известным жанром фольклора, как цепная сказка, где начало и конец разделены большим количеством промежуточных операций, связанных между собой как бы случайно, но так, что выполнение каждой из них детерминирует основоположную связь начала и конца.

Тогда объяснение разной степени проницаемости языковых уровней в ситуации взаимодействия получает определенную поддержку и в том, что, чем ниже уровень, чем опосредованнее он связан со значением, тем в меньшей степени он способен к сближению (ср. в связи с этим сложность проблемы приведения в соответствие звукового уровня языка с содержательным). Вместе с тем каждый уровень, хотя и в разной степени, поставляет свой материал для формирования последующего, и, если оказывается возможным построить единый синтаксис БЯС и на его основе перейти к семантическому уровню, говоря далее о балканской модели мира[25], то нельзя забывать о том, что в начале этого грандиозного сооружения лежит скромная лепта звукового уровня.

Данная работа служит примером того, насколько материал определяет свое метаописание. Амбивалентность, довлеющая системе БЯС, непрестанно происходящая в ней борьба и примирение оппозиций приводит к тому, что и описание целиком построено на противоположностях, почти на самоопровержениях.

Предыдущие рассуждения имели целью показать, что «балканский язык» есть язык в условиях затрудненной коммуникации, что соответствующие изменения являются реакцией языка на возмущение в точке приложения внешних сил, что и эти точки, и характер изменений более или менее предсказуемы. Более того, поскольку исходный материал в принципе един, а изменения универсальны, делалось допущение, что, во-первых, любой язык (и не только индоевропейский, ср. выше о тюркских диалектах Балкан), втянутый в орбиту действия балканистических — а шире коммуникативных — процессов, будет балканизироваться. Можно идти дальше и предполагать тогда, что любой языковый союз, построенный на индоевропейской основе, будет однотипным балканскому[26].

И здесь снова приходится напоминать, что БЯС уникален, что образующие его языки в полной мере сохраняют свою самостоятельность и своеобразие, что, наконец, ближайшие соседи БЯС по региону (и прежде всего — сербско-хорватский, на уровне литературного языка) в общем не поддаются балканизации.

inslav

Следуя здесь основному принципу организации БЯС, не имеет смысла стремиться к однозначному ответу, независимо от того, насколько он реален. Можно лишь повторить, что индивидуальность и независимость развиваются особенно плодотворно на основе глубинного единства, и решительно отказаться от попыток ввести БЯС в несвойственные ему рамки чрезмерного детерминизма.

[1] Фрагмент заключительной главы одноименной книги.

[2] *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972, passim: «Носитель языка усвоил грамматику на основе весьма ограниченных и некачественных данных; грамматика имеет эмпирические следствия, которые простираются далеко за пределы этих данных» (с. 38); «...Наше знание языка включает свойства гораздо более абстрактной природы, не обозначенные явным образом в поверхностной структуре» (с. 49); «Каким-то неизвестным образом носитель... языка изобретает принципы... на основании имеющихся у него данных; еще более загадочен, однако, тот факт, что он знает, при каких формальных условиях применимы эти правила» (с. 62) и т.д.

[3] Особый вопрос — схождения в семантической организации лексического состава балканских языков См.: *Blandr V.* Über Übereinstimmungen im Wortschatz der Balkansprachen // X Congrès intern.linguist. Bucarest, 1967. Bucarest, 1970. Actes. III.

[4] См., с другой стороны, использование для «тайных языков» лексики контактного балканского языка, например, албанской для македонского и под.: *Јашар-Настева О.* За македонските тајни јазици // Год. Зб. филоз. ф-т. Унив. Скопје. 1970. 22.

[5] Ориентация на грамматический и лексический язык-посредник в связи с переходом от него к конкретным языкам, как кажется, находится в кругу идей Н. Хомского о выработке универсальной грамматики, необходимой для усвоения языка. См.: *Хомский Н.* Указ. соч., passim; *Он же.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972, passim.

[6] Из недавних работ на эту тему см.: *Rohr R.* Zum Problem Sprache und Nation // In: Ethnogenese und Staatsbildung in Südosteuropa. Göttingen, 1974. См., с другой стороны: *Macnamara U.* The linguistic independence of bilinguals // Journ. of verbal learning and verbal behavior. 1967. N 5.

[7] *Вайнрайх У.* О совместимости генеалогического родства и конвергентного развития // Новое в лингвистике. VI. М., 1972. С. 506—507.

[8] Сравнение языков, входящих в БЯС, с языками, в него не входящими, но принадлежащими к более или менее близкому окружению — самостоятельная область исследований, имеющая особое значение как для балканистики, так и для общей теории языковых контактов. Набор языков здесь весьма разнообразен (итальянский, ретороманский, фриульский, сефардский, цыганский и т.п.), тем не менее возможно выделить два основных направления. Первое из них — анализ отношений славянской части БЯС с другими славянскими языками Балканского п-ова, главным

inslav

образом с сербско-хорватским, в плане конвергенции и дивергенции. Здесь среди многочисленных конкретных наблюдений см. работы Г.А. Цыхуна, рассматривающего проблемы балкано-славянских языков в широкой типологической перспективе (к уже упомянутому см.: *Цыхун Г.А.* Тыпалогія сінтаксічных адрозненняў у балканаславянскім арэале. Мінск, 1978). Другое направление, столь же актуальное и представленное большим числом работ — анализ тюркско-балканских языковых связей. См. в последнее время работы Л.А. Покровской по гагаузскому языку, результаты которых изложены в: *Покровская Л.А.* Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении. М., 1978 (речь идет как бы об обратном влиянии, когда гагаузский язык под влиянием контактов приспосабливает свою синтаксическую структуру к общей схеме БЯС). — Библиографию работ по этим вопросам см., в частности: *Цивьян Т.* Обзор основных изданий по современной лингвистической балканистике // Симпозиум по грамматичесой типологии современных балканских языков. М., 1973.

[9] См. прежде всего: *Вайнрайх У.* Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. VI., М., 1972. С. 29 и сл.

[10] См. на эту тему в той же статье Вайнрайха (с. 40): «Опять-таки не всегда может быть ясно, какой из языков может быть источником, а какой адресатом этого нововведения, но, по-видимому, общие грамматические инновации в соседних языках имеют единые «доисторические» корни. Балканский полуостров является хорошо известным примером области грамматической конвергенции языков. Тот факт, например, что и в румынском, и в болгарском, и в албанском развился постпозитивный определенный артикль, не может быть объяснен их индоевропейским родством, так как каждый из них является единственным языком в своей подгруппе, имеющим эту черту». — Признание «доисторических» корней в данном случае равнозначно признанию того, что в самих контактирующих языках не содержалось материала именно для данных изменений. Разумеется, это лишь один аспект итерференции. Шире об интерференции, с отсылкой к балканским языкам см. в обзорных работах: *Розенцвейг В.Ю.* Основные вопросы теории языковых контактов // Новое в лингвистике. VI; *Asenova P.* La notion de l'interférence et l'union linguistique balkanique // Балк. ез. XX. 1977. 1—2.

[11] Так, на уровне системы имени все балканские языки объединяются наличием ЭСК Nom (V) + Praep + Subst; славянские языки и румынский объединяются по ЭСК Nom + $Subst_{(dir)}$, и V + $Subst_{(dir)}$, поскольку в румынском языке Subst не различают nomin и acc, албанский, новогреческий и румынский объединяются по ЭСК, где Subst выступает в форме obl; албанский и новогреческий и ограниченно болгарский объединяются по тем ЭСК, для которых существенно различение nomin и acc и т.д. Представляется, что это отображает современное состояние синтаксической системы БЯС, в общем настолько компактной, что это делает нецелесообразным говорить, по крайней мере в общем плане, о более узких предпочтительных группировках балканских языков. В определенном смысле это и неплодотворно: ясно, что при любых сочетаниях максимальная степень близости будет между болгарским и македонским, для чего не надо проводить специальных изысканий.

[12] См. об этом прежде всего: *Mirambel A.* Syntaxe néo-hellénique et structure de la langue // Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire ori-

inslav

entales et slaves. Mélanges Henri Grégoire. X. 1950. P. 178—179. — Характеристика новогреческого языка с полным правом может быть приложена ко всему БЯС: «В новогреческом языке синтагмы подчиняются двум противоположным тенденциям, одна из которых — «соположение» (juxtaposition), а другая — «конструирование» (construction). Соположение осуществляется там, где выражение определенного значения не влечет за собой никакого специального морфологического изменения. Соположение идет от простого повторения слова... до аппозиции, широко распространившейся в последний период развития языка и заслуживающей специального исследования, поскольку здесь речь идет об особой системе, особом образе мыслей, с далеко простирающимися разветвлениями». — О паратаксисе как innere Sprachform балканских языков см.: *Gołąb Z.* «Balkanisms» in the South Slavic languages // The Slav. and East Eur. Journ. 1962. N 2. P. 140.

[13] См. в связи с этим мысли Е. Куриловича о cas special de l'apposition во флективных языках, в котором можно видеть соответствие этой особой синтаксической связи: *Курилович Е.* Проблема классификации падежей // *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 189.

[14] Случаи такого рода для аппозитивных синтагм в новогреческом (невозможность однозначного определения падежа управляемого элемента) см., в частности: *Цивьян Т.В.* Аппозиция в связи с некоторыми тенденциями развития синтагматических структур новогреческого языка // Балканское языкознание. М., 1973.

[15] К оппозиции *славянские/новогреческий*: не случайно, что именно в новогреческом столь продуктивна категория сложных слов — своего рода «аграмматическая компенсация» за слишком большую флективность. Это вполне отвечает общему положению о том, что формирование новых конструкций, правил и т.п. происходит особенно интенсивно в точках действия балканистических процессов, где образуются зоны неустойчивости, расшатывания исходной структуры и соответственно выработки, часто непоследовательной, синонимичных конструкций, из которых, возможно, в общий фонд войдет только одна. Такие явления — своего рода балканизмы in progress, которые в дальнейшем кристаллизуются в общебалканской модели. Ср. аналогию с общим развитием языка в диахронии, где также можно видеть процесс отбора: «...Предпочтение в диахронии определенных типов обусловленных изменений в противоположность другим на самых ранних стадиях в стиле аллегро будет казаться обусловленным свободным варьированием, а позднее — обусловленным несвободным варьированием, а еще позднее, если позиционный аллофон станет фонологическим, предстанет как морфонологическое чередование» (*Гринберг Дж.* Фонологические универсалии в синхронии и диахронии // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 245).

[16] Или — в общем аспекте овладения языком: «...Ясно, что поверхностная структура часто является обманчивой и неинформативной и что наше знание языка включает свойства гораздо более абстрактной природы, не обозначенные явным образом в поверхностной структуре» (*Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972. С. 49).

[17] Связь *невозможность/несущественность* постулируется, исходя из ряда более общих наблюдений над языком. Динамика развития различ-

inslav

ных категорий в языке предполагает среди прочего существование некоторой закономерности приблизительно следующего смысла: то, что неопределенно — неопределимо; то что неопределимо — излишне определять. Можно привести чрезвычайно много примеров, общий смысл которых сводится к одному и тому же: там, где однозначное определение грамматической категории трудно или невозможно, оно в большинстве случаев не является необходимым для анализа или даже для синтеза (см.: *Цивьян Т.В.* Морфосинтаксические функции новогреческого артикля в аспекте грамматики балканского языкового союза // СБЯ. [Вып. 2]. С. 168–169).

[18] Это в сущности то, о чем говорит Э. Бенвенист, хотя и в более общем плане, как о процессе, при котором речевое общение в форме диалога закладывает фундамент связи между людьми, когда он приводит пространную цитату из Б. Малиновского: «Несомненно, что здесь мы имеем дело с новым типом использования языка, который мне... хотелось бы назвать контактоустановлением (тип речевого общения, при котором узы общности создаются посредством простого обмена словами...). Употребляются ли слова при контактоустановлении главным образом для передачи значения, того значения, которое присуще им как знакам? Конечно нет. Они выполняют социальную функцию, и это их основное назначение» (*Бенвенист Э.* Формальный аппарат высказывания // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 318).

[19] См. выделение этих единиц в особые классы, выходящие за пределы «частей речи», у Е. Куриловича в работе «Деривация лексическая и деривация синтаксическая» (*Курилавич Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 66–67).

[20] Так, усвоив, что в болгарском запрещен порядок слов **я гледай* '(на) нее смотри', поскольку клитика не может стоять в абсолютном начале, можно стать в тупик перед регулярно встречающимся *я гледай* 'ну, смотри', где *я* — фатическая частица. Такие примеры рассыпаны по балканским языкам в большом числе, и они приводились в соответствующих разделах.

[21] Знаком ! обозначается установление контакта с помощью Z. Цепь Z представляет собой акцентуационное единство (притом что ударение может располагаться как внутри цепи, так и вне ее), т.е. как бы одно слово данного языка, но непривычно оформленное и не имеющее словесного смысла. Это в еще большей степени выделяет Z и оттеняет полнозначные слова по контрасту «бессмыслицы» и смысла. Естественно, что и здесь существуют варианты: совпадение цепей Z с лексемами С или превращение цепи Z в одну лексему С.

[22] В понятии ῥυθμός сочетается значение «отличительной формы положения, соразмерности», при этом прилагаясь, к какой-то изменчивой субстанции, как форма мгновенного становления, сиюминутная, и значение фигуры движений, организованных во времени и длительности, порядка движений, соединенного с мерой. См.: *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. Гл. XXX, passim.

[22] См. работы К. Уоткинса, Р.В. Лемана, В. Дресслера и т.д. Приводимые здесь примеры энклитических цепей, организованных по принципу «вводящий элемент (катализатор) — комплекс энклитик», обнаруживаю-

inslav

щие глубокие совпадения с БЯС, заимствованы из работ Вяч. Вс. Иванова: «Сравнение поверхностных и глубинных синтаксических структур как метод реконструкции общеиндоевропейского и раннеобщеславянского синтаксиса» (в кн.: Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972); «О следах индоевропейских комплексов энклитик в славянском» (Studia linguistica... Lisse, 1978) и «Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом» (Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979): хеттск. *numaltaḫḫun* 'ну вот, я молился', готск. *us-nu-gibiβ* 'дайте теперь', микенск. греч. *o-de-ka-sa-to* 'так вот, он получил', комплекс энклитик типа *te-hu-si-dudi* в старолитовском и т.д.

[24] Ср. теперь: *Jakobson R., Waugh L.* The sound shape of language. Bloomington; London, 1979.

[25] См. на эту тему у Вайнрайха в уже цитированной статье «Одноязычие и многоязычие», с. 25: «Случаи поразительного единообразия в культуре в условиях пестрого разнообразия языков служат доказательством того, что общение может преодолевать и действительно преодолевает языковые границы».

[26] См. подобный вывод в работе: *Scatton E., Augerot E.* Balkan phenomena, local or universal? // Балк. ез., 1976. XIX. 4. С. 47: «We would like to submit that everything which emerges as common in the phonologies of Bulgarian and Rumanian — or at least in the fragment of them we have considered here — represents linguistic universals».

1979

inslav

МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ В ОПИСАНИИ СИСТЕМЫ БЯС

Роль морфонологических схождений в системе БЯС до сих пор остается явно недооцененной. Это находит себе частичное объяснение в некоторой расплывчатости границ морфонологии, «discipline bâtarde», по выражению А. Мартине[1], — методологические разногласия, естественно, мешают практическому анализу. Однако основная причина, как представляется, заключена в том, что для языковых союзов вообще и для БЯС в частности согласно признается преимущественная роль схождений на синтаксическом уровне, где они проявляются ярче всего и наиболее нетривиальным образом. Действительно, единство грамматической системы БЯС целесообразно демонстрировать прежде всего на материале синтаксиса, из чего исходил автор в своей попытке установить единую синтаксическую структуру БЯС[2], попытке, которая оправдывалась высокой степенью совпадения набора элементарных синтаксических конструкций, устанавливаемых для каждого балканского языка.

В процессе описания синтаксиса выступили на поверхность некоторые особенности структуры БЯС (собственно, вообще любой языковой структуры), до сих пор не актуализованные. Описание обретало целесообразность и возможную корректность тогда, когда одновременно учитывались противопоставленные условия. Так, при анализе только и исключительно синтаксического уровня приходилось, во-первых, использовать в качестве его конституентов единицы морфологического уровня, а, во-вторых, ориентировать описание на семантический уровень, единицы которого конституировались уже средствами синтаксического уровня. По установлении этой иерархии обнаружилось, что однозначное разделение уровней невозможно или, по крайней мере, механистично. «Неразделимость» в целом ряде случаев морфологии и синтаксиса, синтаксиса и семантики заставила — прежде всего опера-

inslav

ционно — использовать понятия морфосинтаксического уровня и уровня семантического синтаксиса, представляющих собой как бы прослойки, которые обеспечивают органическую целостность языковой системы. Получился своего рода парадокс: строгое выделение одного языкового уровня в его собственных пределах возможно лишь при признании смазанности границ между уровнями и их взаимопроникновения[3].

Представление языковой структуры как многоярусной, где при каждом переходе от яруса к ярусу обнаруживается некоторый общий, или амбивалентный, слой, ориентировано по оси *фонетика* (*фонология*) → *семантика*, т.е. *обозначающее* → *обозначаемое* или *звук* → *смысл*. Это побуждает обратиться к проблеме соотношеия звуковой формы слова с его семантикой (см. в связи с этим мысли Н. Хомского)[4]. Постепенность перехода, или «подъема» уровней в языковой структуре помогает увидеть, как звуковая оболочка, обрастая новыми ДП, выступающими имманентно или только в контексте, обретает статус, при котором материальная манифестация отступает перед смыслом в чистом виде, однако не дает забыть о себе как о необходимом начале. Этот путь можно сопоставить с таким широко известным жанром фольклора, как цепная сказка, начало и конец которой разделены большим количеством промежуточных операций, связанных между собой как бы случайно, но так, что выполнение каждой из них детерминирует существенную связь начала и конца.

Такого рода рассуждения не могут не привести к морфонологии, как совершенно особому уровню в иерархии структуры языка. Речь идет прежде всего не просто о промежуточном, но именно амбивалентном положении морфонологии между фонологией и морфологией, когда формально каждое явление может быть описано и как фонологическое и как морфологическое[5]. Это случайным образом отразилось и в самом термине *морфонология*, где компонент *фо* представляет и морфологию, и фонологию и где гаплология неожиданно оказалась семантическим шифтером. Морфонологическое явление таким образом — это первая точка, где звуковая форма, значение которой до сих пор ограничивалось различением в чистом виде, приобретает смысловую нагрузку более высокого порядка[6].

К описанию структуры БЯС сказанное выше прилагается пока в той же степени, что и к описанию структуры любого отдельно взятого языка: она может быть представлена в виде в е р т и к а л ь н о г о среза, с выделением слов и прослоек, т.е. в виде контрапункта, где кроме того, сообщаются правила

inslav

перехода от одного уровня к другому, при учете иерархии языковых единиц. Далее, однако, естественно возникает мысль и о горизонтальном сравнении, т.е. о том, что морфонологические схождения в БЯС в свою очередь образуют систему, хотя, может быть, построенную по-иному, чем морфологическая и синтаксическая система БЯС. Эта мысль обязана возникновением не аналогии, а идеям Н.С. Трубецкого о морфонологии как о важном критерии типологической классификации языков[7]. Вряд ли случайно эти идеи Н.С. Трубецкого были высказаны параллельно с введением им понятия языкового союза, основой чему послужили фонологические схождения балканских языков. Действительно, балканские языки представляют собой благодарное поле для типологических экспериментов, оправдывающих самые смелые и неожиданные предположения.

В данном случае предполагается, что, подобно тому, как оказалось возможным установить единую синтаксическую структуру БЯС, может быть установлена его морфонологическая структура. Однако здесь требуется ряд существенных оговорок, касающихся того, как она реально будет представлена. В качестве примера могут быть приведены по крайней мере две модели описания грамматической структуры БЯС. Первая — фонологическая, которая в конце концов сводится к набору фонем, общих для всех балканских языков; в этой модели, следовательно, каждый язык представлен своими реальными единицами. Вторая — синтаксическая, которая состоит из набора элементарных синтаксических конструкций, репрезентирующих все минимальные сочетания слов данного языка и снабженных комбинаторными правилами; в этой модели единицы являются абстракциями, которые каждый язык заполняет своим конкретным материалом. Смысл синтаксической модели состоит в том, чтобы показать, что сходство балканских языков проявляется на глубинном уровне их структур, в то время как на уровне непосредственного выражения они сохраняют свою индивидуальность и «непохожесть». Этот подход обеспечивает более свободный взгляд на суть и формы контактных явлений в балканских языках, что имеет смысл, поскольку споры о том, достаточно ли «похожи» балканские языки для того, чтобы можно было говорить об их типологическом единстве, до сих пор, к сожалению, не потеряли своей актуальности.

При пограничном положении морфонологии возникает вопрос о том, какую модель описания целесообразно выбрать в

inslav

этом случае: фонологическую или синтаксическую. Представляется целесообразным, по крайней мере на первых порах, определить выбор, исходя из операционных критериев, т.е. из намерения установить грамматическую структуру БЯС на всех уровнях. Первым этапом было установление синтаксической структуры БЯС, построенной таким образом, что каждый последующий уровень конституировался средствами предыдущего (при общем направлении снизу вверх). В этом плане морфонологический уровень (или уровень-прослойку) нельзя отрывать от морфологического, а его описание в аспекте БЯС следует, по крайней мере пока, ограничить третьим разделом морфонологической теории Н.С. Трубецкого: звуковыми чередованиями, выполняющими морфологическую функцию. Это само по себе определяет уровень абстракции в описании: естественно, что речь должна идти прежде всего о видах и способах чередований и лишь потом — об их конкретном выражении. Далее: в другом месте уже говорилось о двух типах грамматик балканских языков — в зависимости от того, ориентированы они на БЯС или нет. В первом случае подчеркиваются черты, существенные для БЯС, и может затушевываться то, что к БЯС непосредственного отношения не имеет; во втором случае описание строится, так сказать, равномерно и объективно. То же и в случае морфонологического уровня, где ориентированность на БЯС может оказаться существенной.

О балканских грамматиках, ориентированных на БЯС, здесь упомянуто в связи с тем, что предварительные однородные описания каждого из балканских языков являются необходимым условием для последующего обобщения и сведéния их воедино — на этом основании и может быть корректно выделена единая структура БЯС на разных уровнях. Следует еще раз оговорить, что предварительные описания должны быть использованы в той степени, в какой это необходимо для построения общей грамматической структуры БЯС по предложенному здесь способу. Поэтому, во-первых, учитываются лишь те морфонологические альтернации, которые имеют отношение к словоизменению, а, во-вторых, и этот круг может быть в дальнейшем сужен, поскольку каждый последующий языковый уровень использует средства предыдущего далеко не в полном объеме.

Для морфонологического уровня БЯС имеется удачный прецедент монографического описания болгарского языка — книга Г. Аронсона «Морфонология болгарского словоизменения» (М., 1974). Она может послужить основой соответствую-

inslav

щих описаний остальных языков, входящих в БЯС[8]. Из работы Г. Аронсона следует, что морфонологические явления в болгарском языке захватывают: в имени — граммемы рода, числа, падежа (письменный вариант) и определенности, в глаголе — граммемы лица, числа, времени, наклонения и залога. Уже это перечисление показывает, что речь идет о проекции морфонологии на всю морфологическую систему языка: пусть морфонологические явления манифестируются неравномерно, однако ни про одну граммему нельзя сказать, что она в принципе не может выражаться (или поддерживаться) морфонологическими средствами. Отсюда естественно предположение, что уже сама дистрибуция морфонологических альтернаций в системе БЯС может оказаться существенной: возможно, например, что в общей системе БЯС выделяются своего рода «кросс-уровневые балканизмы», когда ярко выраженное схождение на одном языковом уровне как бы отражается в иной форме и степени на других уровнях.

Итак, после того, как для каждого балканского языка будет выявлена дистрибуция морфонологических альтернаций и эти данные будут сведены воедино, устанавливается дистрибуция морфонологических альтераций в системе БЯС, т.е. указываются классы слов и граммемы, в которых они представлены, и определяется таким образом первый порядок морфонологических схождений. Далее следует обратиться к плану выражения, также идя от общего к частному (например, указывается, что граммема числа выражается чередованием гласных, после чего сообщается набор соответствующих чередований). В основе описания такого рода лежит все та же мысль, что при выявлении балканизмов более существенна структурная модель, а не ее материальное заполнение. Представляется, что имеет смысл начать с так называемых дистинктивных альтернаций[9], которые, собственно говоря, и являются морфонологическими в узком смысле: для каждого данного случая они — единственные носители грамматической информации, а не сопутствующее средство ее выражения. Еще одна оговорка: в качестве балканизмов должны рассматриваться и морфонологические схождения, проходящие не по всем балканским языкам; более широкий взгляд позволяет приписывать балканистичность в конце концов едва ли не всем изменениям, происходящим внутри языкового союза под постоянным воздействием интерференционных процессов.

По соображениям места здесь невозможно привести сколько-нибудь полный анализ хотя бы одного фрагмента морфоно-

inslav

логического уровня БЯС. Однако, отвлекаясь от обычно приводимых примеров (палатализация конечного согласного как показатель мн. числа — в романском регионе, ограниченно — в албанском языке, а также в ряде новогреческих диалектов, шва-чередования в болгарском и албанском и нек. др.), кажется допустимым прогнозировать ту область морфонологических схождений в БЯС, которая представляется наиболее перспективной. Это — акцентуационные альтернации, до сих пор, как будто, не рассматривавшиеся в балканистическом аспекте. Прежде всего следует обратить внимание на ударение. В этом отношении балканские языки представляют достаточно разнообразную картину. Во-первых, они различаются по фиксированности — нефиксированности постановки ударения на определенном слоге. Далее, эти правила сочетаются (и отчасти перекрываются) правилами передвижения ударения как в парадигме, так и на синтагматическом уровне (речь идет о сочетаниях полнозначного слова с клитиками). Всё вместе образует достаточно сложную систему. Это хорошо иллюстрируется на примере македонского языка, единственного из балканских, где правила ударения закреплены в максимально отлитой форме и где фиксированность ударения на третьем от конца слоге имплицирует и парадигматическую, и синтагматическую передвижку ударения (см. обычные примеры *водéничар — водени́чари — воденичáрите*, где ударение переносится по парадигматическим правилам при выражении граммемы мн. числа и/или определенности; или *дáјте ми — дајтé ми го*, где речь идет об организации синтагматического единства — полнозначное слово и клитики, и т.п.). Возникает ситуация, когда фиксированное ударение как бы путешествует по слову, занимая запрещенные позиции (*дајтé*). Это явление захватывает и другие балканские языки, что поддерживает общее впечатление непоследовательности и вариантности. Вариантность сама по себе может свидетельствовать о, так сказать, неспокойном состоянии всей системы, что характерно для той неустойчивости и расшатанности, которая является следствием долговременных языковых контактов[10]. Помимо всего прочего здесь могут играть роль и процессы адаптации, происходящие при усвоении чуждой фонетики[11]. Если угодно, именно разнообразие и несходство систем ударения в балканских языках и заставляет обратить особое внимание на эту область, ожидая в ней, как бы наперекор, существенных схождений.

С первого взгляда дистинктивные альтернационные схождения обнаруживаются в глагольной системе болгарского, ру-

inslav

мынского и новогреческого языков. С их помощью выражаются (в отдельных членах парадигмы):

1. Грамматемы времени (оппозиция Praesens/Praeteritum)
а) непрошедшее — аорист в болгарском: *чета́* — *че́те*;
б) настоящее — перфект в румынском: *cîntă* — *cîntă*.
2. Грамматемы наклонения (оппозиция Indicativus/Imperativus)
а) в болгарском: *хо́ду* — *ходи́*, *пла́чете* — *плаче́те*;
б) в новогреческом: ρωτᾶ — ρώτα[12].

Исходя из принципа преимущества для БЯС структурных схождений перед материальными совпадениями, здесь существенным признается сам факт альтернации ударения и несущественным то, что в каждом языке эти альтернации реализуются противоположно: в первом случае в болгарском ударение переходит с последнего слога на предыдущий, в румынском — наоборот; во втором случае в болгарском ударение переходит с первого слога на последующий, в греческом — наоборот. Неважно, что эти совпадения кажутся частичными. Об их балканистичности свидетельствует то, что они манифестируются в весьма показательной точке системы, характеризуя основное временно́е противопоставление (наст. — прош.) и выделяя императив — особую, фатическую категорию глагола[13]. В этом и состоит специфика балканизации: язык сохраняет свою целостность и индивидуальность и не поддается унифицированию; однако существуют loci minoris resistentiae (которые определяются задачами коммуникации в многоязычной среде), где происходит прорыв и начинают вырабатываться общие структуры.

Другая до сих пор мало исследованная область — морфонологические альтернации гласных по долготе/краткости. Фонологическая долгота фиксируется в албанском языке, где ряд грамматистов выделяет легксические омонимы, различающиеся по долготе гласного[14]. Э. Чабей приводит примеры дистинктивной морфонологической альтернации в гегском. Там с ее помощью различаются граммемы рода: *dy djelm* — *dȳ vajza* ‘два юноши — две девушки’. Соответствующие параллели указываются для новогреческого[15]. Можно предполагать, что и здесь, при более глубоком анализе и обследовании большего материала, в особенности по диалектам, будут обнаружены показательные в плане БЯС схождения.

Если включать в рассмотрение не только дистинктивные морфонологические альтернации, то после перечисления вокалических и консонантных альтернаций, характеризующих слово-

inslav

изменительную систему имени и глагола в балканских языках, для БЯС первостепенное значение будет иметь анализ акцентуационного оформления характерных для балканских языков и уже упомянутых синтаксических (синтагматических) единств, где центром является полнозначное слово, обычно имя или глагол, как бы обрастающее слева и/или справа клитиками, см., например: *и ти ще ми се* ***обаждаш*** *ли?* 'а откликнешься ли ты мне?'; *şi de ce să nu* ***vreau?*** 'а почему бы мне не хотеть?' *ne se do të më* ***djykojnë*** ... 'если меня осудят...', πῶς δέν μοῦ τό **εἶπες**; 'как ты не сказал мне этого?' и т.п. В результате образуется единый акцентуационный комплекс со своими правилами постановки ударения, или единое «балканское слово», которое в определенном смысле и можно считать кросс-уровневым балканизмом, поскольку образования такого рода как бы аккумулируют основные типы балканских схождений по вертикальному срезу языка: в морфонологии (акцентуация), морфологии (аналитизм) и синтаксисе (паратактические цепи, о чем подробно см. в другом месте). Внутренняя организация этих «слов» в системе БЯС представляет особый интерес еще и потому, что при соблюдении общих принципов расположения и сочетания клитик каждый балканский язык строго придерживается индивидуального варианта. Здесь наиболее очевидно проявляется сочетание единства глубинной грамматической структуры БЯС с сохранением своеобразия и «непохожести» каждого балканского языка.

Эти наблюдения, при всей их беглости, представляются достаточными для подтверждения того, что включать морфонологический уровень как самостоятельный в грамматическую систему БЯС вполне целесообразно. Они, кроме того, подтверждают и другой принцип, лежащий в основе БЯС: выявление глубинного структурного единства, точек приложения сил (т.е. тех точек, где наиболее отчетливо действие балканистических процессов) иногда более существенно, чем количество конкретных совпадений. Вообще при определении балканистических схождений на любом уровне следует помнить, что БЯС — это не застывшая схема, а динамическое состояние системы, в которой постоянно происходит брожение и перестраивание, притом что процессы балканизации как бы освобождаются от необходимости непосредственных языковых контактов и становятся почти самодовлеющими.

inslav

[1] *Martinet A.* Formalisme et réalisme en phonologie // Phonologica 1972. München, 1975. P. 38.

[2] *Цивьян Т.В.* Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979.

[3] В контексте данной заметки небезразлично то, что мысль о взаимопроникновении языковых уровней высказывается в работе, посвященной общим проблемам морфонологии, см.: *Dressler W.U.* Grundfragen der Morphonologie. Wien, 1977. S. 13: «Es wird angenommen dass die Semantik auf Morphologie, Lexikon und Syntax aufgeteilt ist. Man könnte auch argumentieren, dass Morphologie und Syntax zusammen eine grössere Einheit "Semantax" bilden».

[4] Когда он, в частности, говорит об идее Гумбольдта о «"форме языка", которую в несколько туманном, но глубоком замечании в своей великой работе "Über die Verschiedenheit des Menschlicher Schprachbaues" Гумбольдт определяет как «то постоянное и единообразное в ... деятельности духа, возвышающей артикулированный звук до выражения "мысли", взятое, во всей совокупности своих связей и систематичности"» (*Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972. С. 89–90).

[5] Ср.: Mein Vorschlag besagt, dass eine «MphR». vielmehr eine PR ist, die automatisch an eine MR gekoppelt ist, und die, weil morphologische Regularitäten wichtiger als phonologische sind, Elemente der phonologischen Natürlichkeit verlieren kann». – *Dressler W.U.* Op. cit., S. 28. Ср. определение «морфонологичности» у Е. Куриловича: «We call morphonemic a stage within a morphological (derivational) process or transformation which is redundant from the morphological (semantic, syntactical) standpoint, but significant from the phonemic (diacritic) point of view» (*Kurylowicz J.* The Notion of Morpho(pho)neme // Directions for Historical Linguistics. Austin; London, 1968. P. 70.

[6] Технику этого перехода можно иллюстрировать примером диахронического развития фонетических изменений: «Предпочтение в диахронии определенных типов обусловленных изменений в противоположность другим на самых ранних стадиях в стиле аллегро будет казаться обусловленным свободным варьированием, а позднее – обусловленным несвободным варьированием, а еще позднее, если позиционный аллофон станет фонологическим, предстанет как морфонологическое чередование» (*Гринберг Дж.* Фонологические универсалии в синхронии и диахронии // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 245). Крайним выражением этого перехода можно считать нулевую морфему, – понятие, по сути дела, введенное морфонологией, – где связь между обозначающим и обозначаемым приобретает особую тонкость.

[7] См. прежде всего: *Трубецкой Н.С.* Некоторые соображения относительно морфонологии // Пражский лингвистический кружок. М. 1967; современное состояние проблемы см.: *Schmidt K.H.* Typologie und Morphologie // KZ, 91, 1977, N 1.

[8] Предложения по четкому выделению морфонологического уровня при описании албанского языка см. в: *Dressler W.* Phonologische, morphonologische und mophologische Regeln des Albanischen // Akten des Internat. Albanolog. Kolloquiums, Innsbruck 1972. Innsbruck, 1977.

inslav

[9] Которые выделяет для болгарского Г. Аронсон (Указ. соч., С. 206 – 207), используя термин Э. Станкевича (*Stankiewicz E.* Consonantal Alternations in the Slavic Declensions // Word. 1960. 16. P. 189).

[10] См., например, современное состояние акцентуационной системы новогреческого глагола в ее многовариантности и определенной неустойчивости: *Newton B.E.* The dialect geography of Modern Greek active inflections // Glossa. 7. 1973. № 2; о морфонологической функции ударения в новогреческой глагольной парадигме см.: *Warburton I.P.* The Function of Inflectional Paradigms in Synchronic and Diachronic Linguistic Descriptions // Phonologica 1976. Innsbruck, 1977.

[11] О роли адаптивных правил при усвоении чужого языка, когда система родного языка обогащается дополнительными правилами, что в конце концов может привести к ее расшатыванию, см.: *Wurzel W.U.* Adaptionsregeln und Heterogene Sprachsysteme // Phonologica 1976.

[12] В новогреческом меняется не только место, но и вид ударения. Для него вообще можно выделять (во всяком случае для традиционной графики) особый уровень «графо-морфонологии», фиксирующей чисто графические дистинктивные альтернации, например, оппозиции по падежу или по числу и падежу и т.д. См., например, оппозиция Gen. / Acc. для некоторых групп окситонных Subst. masc. sing.: ψωμᾶ – ψωμά, καφετζῆ – καφετζή, παππού – παππού и т.д.; оппозиция Praes.-Aor. в глагольной основе: βρίσκω – βρῆκα [vrisko] – [vrika] и т.д.

[13] Об акцентуационной выделенности императива в балкано-славянских диалектах см. в частности: *Ronelle A.* Pravci morfonološke promene u balkanoslavenskim dijalektima: akcentuacija imperativa // American Contributions To the Eighth International Congress of Slavists. Columbus (Ohio), 1978.

[14] См., например: *Sheperi I.D.* Grammatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe. Romë, 1972. P. 24 – *dhe, dhè* 'и' 'земля', *pa, pà* 'без', 'увидел' и т.п.

[15] *Cabej E.* Über einige Lautregeln des Albanischen // Die Sprache. XVIII. 1972. № 2. – С другой стороны, К. Хеблер не обнаружил этой альтернации в албанском диалекте Саламина: *Haebler C.* Grammatik der albanischen Mundart von Salamis. Wiesbaden, 1965, S. 44: «Phonologisch relevante Quantitätsunterschiede konnte ich nicht feststellen».

1981

inslav

МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НОВОГРЕЧЕСКОГО АРТИКЛЯ В АСПЕКТЕ ГРАММАТИКИ БАЛКАНСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Памяти
ИСААКА ИОСИФОВИЧА РЕВЗИНА

Функции артикля в новогреческом языке (далее нгр.) рассматриваются здесь в аспекте грамматики балканского языкового союза (БЯС)[1]. Речь идет о грамматических по преимуществу употреблениях артиклей, т.е. о тех, которые определяются морфосинтаксическими условиями, а не семантическими, стилистическими и под[2].

Анализ категории *определенности/неопределенности* в широком плане занимал значительное место в кругу интересов И.И. Ревзина. Одной из последних его работ по этой теме была анкета по категории определенности – неопределенности, в большой степени основанная на балканских языках (но не ограниченная ими)[3]. В анкете, которая, несомненно, даст начало многим новым исследованиям в области *определенности/неопределенности*, И.И. Ревзин предложил широкий набор логико-грамматических критериев для описания системы артиклей. Здесь использованы те из них, которые классифицируют употребление артиклей строго формально: на основании их дистрибуции с различными классами слов или их подгруппами, преимущественно на парадигматическом уровне; на основании взаимодействия артиклей с различными морфосинтаксическими категориями, а также в ряде других случаев, которые будут оговорены особо. Описание формально-грамматических употреблений артиклей рассматривается как предварительный этап; далее оно должно быть введено в более широкий контекст (логических, семантических и др. критериев), см. упомянутую анкету. Этот путь может оказаться плодотворным для перехода как к более общим, так и к операционным заключениям о механизме употребления артиклей, в частности для балканских языков.

inslav

Наблюдения над структурой балканских языков, в том числе на морфологическом и синтаксическом уровне, отраженные в многочисленных работах, приводят к мысли, что в языках БЯС намечается тенденция к смазанности различных морфологических категорий (классы слов, отдельные граммемы) на парадигматическом уровне и, как результат этого, — тенденция к невозможности (и несущественности) их различения на синтагматическом уровне, т.е. в тексте[4]. Одно из проявлений этой тенденции — морфологическая нечеткость оформления собственно слова и перенос центра тяжести на специальные служебные элементы с фиксированной позицией во фразе. Существенно, что эти служебные элементы, как правило, представляющие собой односложные, т.е. очень короткие слова, характеризуются высокой степенью омонимии: достаточно многообразные грамматические отношения обслуживаются ограниченным набором элементов (ср. хотя бы алб. *të*, выполняющее функции личного местоимения, связующего и изолированного артикля и приглагольной частицы; нгр. артикль, совпадающий по форме с местоимениями и т.п.). Поскольку указанные элементы реально функционируют не в парадигме, а в тексте, отделить морфологический уровень от синтаксического бывает трудно и, учитывая сказанное ранее, не всегда целесообразно. В этом плане выдержано и предлагаемое здесь описание нгр. артикля[5]. Цель его — выделить по возможности максимальное число грамматических употреблений артиклей, не проводя жесткой границы между морфологическим и синтаксическим уровнем. Такое описание, в частности, может создать предпосылки для грамматической характеристики категории артикля в рамках грамматики БЯС.

В новогреческом языке различаются: в *Sink.* 3 вида артикля (*Art.*): определенный (*d.*), неопределенный (*ind.*), нулевой (*); в *Pl.* — 2 вида артикля: определенный и нулевой. Тройная оппозиция артиклей в *Sing.* — *d./ind./#*, — как правило (во всяком случае на грамматическом уровне), реализуется в виде бинарных оппозиций, строящихся по принципу: два из трех возможны/один невозможен или один обязателен/два невозможны[6]. Отмечается также и сохранение тройной оппозиции, и ее нейтрализация, т.е. безразличное, с формальной точки зрения, употребление всех трех видов артиклей в одной позиции. В *Pl.* остается бинарная оппозиция: *d/#*.

inslav

АРТИКЛЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КЛАССА СЛОВ

Артикль (как правило, *d.*, реже и в семантически отмеченных случаях *ind.*)[7] переводит в класс *Subst.*:

– любой морфологический класс слов (кроме деепричастия);

– ряд словоформ (в частности, личные формы глагола);

– отдельные ЭСК (элементарные синтаксические конструкции, вводимые как основная единица описания синтаксиса в грамматике БЯС; их список для нгр. будет приведен далее);

– сочетания ЭСК, целые предложения[8]. См. некоторые примеры.

Субстантивация классов слов и словоформ[9]:

Adj.: οἱ ξένοι 'иностранцы', ὁ φτωχός 'нищий' (*Subst.*), τὸ καλό 'добро', τὸ κακό 'зло'[10];

– *Num.*: (часто с *Art.ind.*) ἕνα τέτάρτο (τῆς ὥρας) 'четверть (часа)', μιὰ πέμπτη 'одна пятая' (музыкальная мера), ἡ μιά 'одна' (Subst.);

– *Pron.*: τὸ ἐγώ – μαχόμαστε γιὰ τὸ ἐγώ μας 'мы сражались за наше я';

– *V.*: τὸ εἶναι 'бытие' (старый инфинитив), τὸ ἔμπα καὶ τὸ ἔβγα 'вход и выход', τὸ «λύσε» καὶ τὸ «δέσε» '«развяжи»' и '«свяжи»' (обычно субстантивируются формы императива, нередко это дуплицированные формы одного глагола, или сочетание двух глаголов с синонимичным или антонимичным значением: τὸ γράφε γράφε = ἡ πολυγραφία '«многописание»' τὸ πάρε δῶσε = ἡ δοσοληφία 'сделка');

– *Adv.* στὰ πεταχτά 'поспешно'[11];

– Все неполнозначные классы слов (предлоги, союзы, частицы и др.): τὸ νά, τὸ πῶς, τὸ πότε, τὰ ὑπέρ καὶ τὰ κατά, δὲ μ'ἀρέσει αὐτὸ τὸ γιατί 'не нравится мне это почему' (*Subst.*) и т.д.[12].

См. также более сложные сочетания:

ὁ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ 'сатана' (табуированное название, дословно 'вне от здесь', построенное по универсальной семиотической оппозиции *внутренний* (здешний, свой)/*внешний* (тамошний, чужой);

τὸ κάππα ζῆτα '27' (буквенное обозначение цифр);

τὸ καλῶς ὥρισα – οἱ χωρικοὶ ἤρθαν νὰ μοῦ εὐχηθοῦν τὸ καλῶς ὥρισα 'крестьяне пришли пожелать мне добро пожаловать', τὸ ἔχετε γειά 'будьте здоровы' (*Subst.*), νὰ λὲς τὸ «πῶς ὀνομάζεσαι καὶ ποῦ κατοικεῖς» 'Надо сказать «как тебя зовут и где ты живешь»' (*Subst.*) и т.д.

Характерно, что и сам нгр. артикль в ряде случаев обнаруживает зыбкость морфосинтаксических границ, тенденцию к

inslav

смещению в сторону класса местоимений. См. так называемые самостоятельные употребления *Art.d.*:

τὸ καὶ τὸ, τὰ καὶ τά, ὁ μέν, ὁ δέ (τὰ [προϊόντα] τῆς βιομηχανίας, γεωργίας καὶ κτηνοτροφίας '[продукция] промышленности, земледелия и скотоводства');

Art.d. в качестве указательного местоимения: γετόνισσες κακόγνωμες, τὰ δὲν ἰδῆτε λέτε (=ἐκεῖνα πού) 'соседки злонравные, чего не видели, говорите'.

Очевидно, к этой же группе следует отнести и те употребления *Art.d.*, которые в греческой грамматической традиции принято называть плеонастическими. Речь идет как об *Art.d.* при отдельных местоимениях (τὸ τί; 'que?' или 'ce que?', τὸ τινός; 'de qui?' или 'à qui?' и др.), входящих в состав более сложных конструкций, вплоть до предложения (τὸ τί εἶδες; 'что (ты) увидел?', τὸ ποῦ εἶν' οἱ ἄντρες μας; 'где наши мужья?' τὸ τί τράβηξα 'что я перенес'), так и о возможности появления Art.d., преимущественно в форме τό, перед любым союзом или союзным словом, вводящим придаточное предложение: καταλαβαίνει τὸ τί γίνεται μέσα του' 'понимает, что происходит в нем', ... νὰ ροτάει τὸν Νικόλα... γιὰ τὸ πῶς πᾶνε ρευματισμοί του.... '... спросить у Николаса... как его ревматизм', αὐτοί εἶδανε καὶ ξέρουνε τὸ τί ἔχω περασμένα 'они видели и знают, что у меня в прошлом', φέρε μου γλυκὸ κρασί... τὸ πού (=ὅπου, γιατί) 'μαι λαβωμένος 'принеси мне сладкого вина ... потому что я ранен', ξεχνῶ τὸ ποῦ μὲ τρώει σαράκι '(я) забываю, что меня гложет недуг' и т.д.

Плеонастическими эти употребления артикля считаются потому, что, по крайней мере, в синхронном плане, они не несут ни формальной, ни смысловой нагрузки. В работе, посвященной относительному предложению и способам его присоединения к главному, Э. Бенвенист[13] говорит, в частности, о зыбкости границ между местоимением и определенным артиклем. Основная группа приводимых им примеров относится к диахроническому плану, когда речь идет о переходе местоимений в артикль. Однако соответствующие случаи обнаруживаются и в синхронном срезе (ср., хотя и специально оговоренный Бенвенистом, пример двойной функции — артикля и относительного слова — местоименного ряда *der, die, das* в немецком языке, осложненной использованием этого местоимения как указательного). В нгр. формы *Art.d.* также совпадают с формами местоимения (личного), что актуализирует связь *Art.d.* < *Pron.* Этому способствует самостоятельное использование *Art.d.*, исполнение им функции указательного местоимения, «плеонастическое» его употребление. С последним можно сопоставить

inslav

«плеонастическое» употребление *Acc.* местоимения в формах τό и τά при глаголах, когда они не обозначают никакого реального объекта τὰ πηγαίνω (καλά) '(успешно) идти', τὰ χάνω 'be at loss', τὸ σκάνω 'run away' τὰ χαλάσανε 'the brocke up' и т.д.[14]. Омонимичные формы и Pron. весьма часто сталкиваются в нгр. фразе, прежде всего благодаря плеонастическому использованию *Pron.poss.*[15], которое практически может определять любое имя, а также благодаря местоименной репризе, по правилу связанной с *Art.d.*, распространению так называемых релятивных конструкций типа τὸ παιδὶ ποὺ τὸ εἶδα 'ребенок (который я его) увидел', и повторению *Art.d.* в атрибутивных синтагмах типа τὸ παιδὶ τὸ καλό, ὁ Ἰουλιανος ὁ παραβάτης. В результате можно говорить о своего рода недискретных ситуациях, в которых повторяющиеся элементы [t...] воспринимаются прежде всего как маркеры, членящие фразу[16], и лишь на более продвинутом этапе отождествляются с Art.d. или с Pron. см., например:

τὴν (*Pron.*) εἰδα την (*Art.*) Ξανθοῦλα '(ее) (я) увидел Ксантулу', τὸ (*Art.*) σπίτι τοῦ (*Art.*) πατέρα του (*Pron.*) 'дом его отца', γιά δες την (*Pron.*) τὴν (*Art.*) Μαριόλα στὸ (*Art.*) παράθυρο 'вот видишь ее, Мариолу, в окне', ὁ Τώνης, ἕνας ἀπὸ τους (*Art.*) τρεῖς γιοὺς τοῦ (*Art.*) φίλου του (*Pron.*) τοῦ (*Art.*) Λάγκα 'Тонис один из трех сыновей его друга Лангаса', καὶ παίρνοντας μαλακὰ μὲ τὸ (*Art.*) χέρι του (*Pron.*) τὴ (*Art.*) μία ἀπότὶς (*Art.*) πλεξοῦδες της (*Pron.*), τῆς (*Pron.*) τὴν (*Pron.*) ἔδειχνε 'и нежно беря в (свою) руку одну из кос, ей ее показывал', τὄφερε (*Pron.*) ὁ ἴδιος τὸ (*Art.*) παιδί τὴν (*Art.*) περασμένη βσομάδα καὶ τὸ (*Pron.*) παράδωκε στὴ (*Art.*) γιατρίσσα '(его) привел он сам ребенка, на прошлой неделе и его передал врачу' и др.[17]

Что же касается случаев плеонастического употребления *Art.d.* и *Pron.*, то на синхронном уровне конструкции типа τὸ τί εἶδες и καλὰ τὸ ἔχουν τὰ βουνά различаются дистрибутивно, с помощью трансформаций, но не на смысловом уровне, где эти одинаковые формы одинаково не имеют позитивного значения. В этом смысле допустимо говорить примерно следующее: элементы τό и τά (без уточнения класса слов) могут появляться в позиции 1 (перед любым союзом и союзным словом, вводящим придаточное предложение) и в позиции 2 (перед глаголами, которые, может быть, целесообразно давать списком)[18]. Признав несущественность на определенном уровне и в определенных позициях разделять Art.d. и Pron., можно более свободно применять типологические критерии для описания соответствующих конструкций. Так, допустимо выделить специальную синтаксическую конструкцию *Art.d.* (или τό + *Pron.* v *Conj.*, синонимичную конструкции *Pron.* v *Conj.* (или представляющую собой ее развертывание), вводящей придаточные

inslav

предложения: εἶπε μου τί κάνεις = εἶπε μου τὸ τί κάνεις 'скажи мне, как ты поживаешь'. Тогда самостоятельные предложения, в начале которых стоит τό, можно рассматривать как потенциальные изъяснительные, что вполне допускается их семантикой (Τὸ πὼς τοὺς εἶπε κουβέντες βαρειές. 'Что он сказал им грубые слова'). В рамках предложенной А.А. Зализняком типологической классификации способов присоединения придаточных предложений различаются три вида связи: 1) *Pron.rel.* я знаю, что я делаю; 2) *Pron. deict.* **я знаю, то я делаю*; 3) *Pron. deict.* + *Pron.rel.* я знаю то, что я делаю. Нгр. использует конструкцию 1) и 3), если принято допущение, что в данной позиции Art.d. изофункционален Pron. deict. В связи с этим можно заметить, что столь популярная в нгр. релятивная конструкция *Pron.rel.* + *Pron.pers.* (πού τό..., ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸν ξέρω 'человек, которого я знаю', τὸ παιδί ποὺ τοῦ εἶπα 'ребенок, которому я сказал' и т.д.) в каком-то смысле зеркально повторяет конструкцию *Art.d.* + *Pron.* (ср. ...τὸ ποὺ εἶμαι λαβωμένος). Не переходя на уровень классов слов (ποὺ τό ... морфологически определимо), можно считать эти конструкции не только однотипными по структуре, но и «сборными» из ограниченного набора стандартных элементов. Промежуточные, связующие, служебные конструкции такого рода подробно описаны А. Дзардзаносом. При ограниченности исходного набора элементов (о высокой степени их омонимии уже говорилось), их блоки достаточно разнообразы и продуктивны, при том, что их морфологические характеристики менее существенны. Этот процесс не может не оказывать влияния на соответствующие формальные классификации, по крайней мере, на уровне классов слов (но это — тема специальной работы). Можно лишь повторить, вслед за другими исследователями, что для нгр. во многих случаях синтаксическая функция превалирует над морфологической принадлежностью.

В некотором смысле можно говорить об адъективирующей функции артикля по отношению к так называемым предложным и местоименным наречиям: ὁ κάτω κόσμος 'подземный [нижний] мир', τὰ πέρα μέρη 'дальние края', ὁ ποτὲ παράδεισος 'когда-то рай', τὰ γύρο καράβια 'окружающие корабли'[19] и т.д. Однако здесь большее значение имеет рамочная конструкция *Art.* — *Adv.* — *Subst.* и особенно положение наречия перед существительным, см. примеры с опущением артикля: ἔξω φύλλο 'ставень' ('снаружи створка'), πίσω φῶς 'задний свет' ('сзади свет') и т.д. Хотя и редко, адъективируются в той же рамочной конструкции и более протяженные последовательности эле-

inslav

ментов: τά' ἕως τὸ 1843 γεγονότα 'происшедшее до 1843 года', ἡ μέσα μας θερμοκρασία 'наша внутренная температура' и под.

В случаях, обусловленных семантически, позиционно, контекстом и т.п., когда субъективация и адъективация осуществляются и без артикля (τὰ πήγαινε κ'ἔλα... υὰ χτυπήσει... «κράτει» στὶς μηχάνες '... отстучать... «так держать» в машинное отделение', πίσω φῶς и под.; см. также: Ἔχεις παράδες «Χριστὸς ἀνέστη» (*Art.* #). Δὲν ἔχεις: εἶναι τὸ «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι» (*Art.d.*) 'Есть деньги: «Христос воскрес». Нету (денег): «Плачу и стенаю», Ἐπιχείρησις «Ὅρμα χοντρέ» 'Предприятие «Кидайся, толстый»' (название фильма) и т.д. вряд ли целесообразно говорить о субстантивирующей и адъективирующей роли Art. # как некоей материальной субстанции. Наблюдения над артиклем-субстантиватором приводят к заключению, что в этой функции его употребления принадлежат не к морфологическому, а, скорее, к синтаксическому уровню или даже уровню реального текста. Артикль — субстантиватор (и адьективатор), который может замещаться местоимением или вообще опускаться, по сути дела выделяет не *Subst.* и *Adj.*, а основные .синтаксические единицы предложения (*Subj.*, *Obj.*, *Art.*[20]) и более крупные конструкции. С помощью артикля, в частности и в субстантивирующей функции, происходит выделение элементов предложения[21]. При этом целесообразно иметь в виду именно реальное предложение и реальный текст с индивидуальной расстановкой артиклей, поскольку, как будет показано далее, для нгр. трудно установить абсолютные правила употребления артикля.

АРТИКЛЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ ИМЕН

В этом разделе рассматриваются регламентированные формально-грамматическими условиями употребления артикля: *Art.* при ограниченных группах *Subst.*; *Art.* в конструкциях с *Pron.*, *Adj.* Перечисляемые ниже употребления *Art.* в наибольшей степени относятся к парадигматическому уровню грамматики[22]: вид, место артикля определяется его грамматической позицией, отклонения от правил мотивированы (или должны быть мотивированы) формально. Как представляется на поверхности, именно в этих случаях употребление артикля предельно не зависит от семантики[23].

В данных конструкциях регулярно осуществляется оппозиция *Art.d./Art. #.Art.ind.* может заменять любой из двух других артиклей в семантически отмеченных случаях.

inslav

Art. d.* при *Subst. *Art. d.* выделяет из класса Subst. собственные имена. Не касаясь сложности свойства «быть собственным именем» (см. известную работу А. Гардинера), можно указать, что в нгр. эта категория весьма широка и в каком-то смысле открыта, особенно если учесть продуктивность эвентуальных образований типа ἡ Τετάρτη Τάξη 'Четвертый Класс' (школы), ἡ Διευθύντρια 'Начальница' (при ἡ δασκάλα 'учительница', ἡ Σχολικὴ Ἐπιτροπή 'Школьный Комитет', ἡ Γεωγραφία. 'География' (как школьный предмет), τὸ Σύνταγμα 'Конституция' и т.п. Можно выделить *Subst. propr.*, где признак собственности особо отмечен: имена, фамилии, прозвища, топонимы и т.д. Кроме этого в категории *Subst. propr.* включены названия народов, национальностей, жителей различных мест, определенных групп населения, организаций (в том числе аббревиатуры); названия произведений, праздники, месяцы, дни недели, события и др.[24] Обращение к тексту показывает, что для *Subst. propr.*, которые можно отнести к периферийным, формальные правила соблюдатся не так строго и последовательно[25]. Здесь приводятся примеры наиболее несомненных и употребительных Subst. propr.[26]):

ὁ Δημήτρης 'Димитрис', ἡ Μαρία 'Мария', τὸ Νικολάκι 'Николаки', ὁ Μικροδαχτυλάκης 'Мальчик-с-Пальчик', ἡ «Ἀργώ», '«Арго»', ἡ «Ἰλιάδα» '«Илиада»', ἡ «Ἐλευθερία» '«Свобода»' (название газеты), ὁ ΕΛΑΣ 'ЭЛАС' (Греческая Народно-Освободительная Армия), ἡ Ἀθήνα 'Афины', ὁ Ὄλυμπος 'Олимп', τὸ Μεσολόγγι 'Месолонги', οἱ Δελφοί 'Дельфы', ἡ Ἀκρόπολη 'Акрополь', ἡ 'Ελλάδα 'Греция', ἡ Ἰταλία 'Италия' ἡ Κρήτη 'Крит', ἡ Εὐρώπη 'Европа', ὁ Ἕλληνας 'грек', οἱ Ἀχαιοί 'ахейцы', ἡ Σουλιώτισσα 'сулиотка', οἱ Σπαρτιᾶτες 'спартанцы' и т.д.

В дву- и более членных Subst. propr. (по крайней мере один элемент которых может быть нарицательным), Art.d. обычно ставится один раз, в начале:

ὁ Στράτης Μυριβήλης 'Стратис Миривилис', ὁ Κώστας Β. 'Костас В.', ἡ κυρὰ Μάρω 'госпожа Маро' (лиса в сказках), ὁ θεὸς Ἥλιος 'бог Гелиос', ὁ μάστρο–Νικόλας 'мастер Николас', ὁ καπετὰν Ξυρίχης 'капитан Ксирис', ὁ μάντης Ϛάλχας 'прорицатель Калхас', ὁ «Προμηθέας Δεσμώτης '«Прометей прикованный'», τὰ «'Ελληνικὰ παραμύθια» '«Греческие сказки»' (название сборника), ἡ 'Ελληνικη 'Απανάσταση 'Греческое восстание' ὁ Ἰνδικὸς ὠκεανός 'Индийский океан', ἡ Μαύρη θάλασσα 'Черное море' и т.д.

См., с другой стороны, повторение *Art. d.*:

ὁ Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος 'Константин Палеолог', ὁ Ἰουλιάνος ὁ παραβάτης 'Юлиан отступник', ὁ γέρος ὁ Τραμοντάνας 'старик Трамонданас', ἡ Δέσπω ἡ Σουλιώτισσα 'Деспо сулиотка' ὁ ποντικός ὁ Φαφούτης 'мышонок Фафутис' и т.п.

inslav

Ср. также стилистически отмеченное употребление *Art.ind.* при *Subst.propr.*, обозначающих особенно известных лиц — ἕνας Ναπολέων и под., а также возможность вариантного употребления артиклей при Θεός 'бог' — ἕνας Θεός, ὁ Θεός и Θεός (в конструкциях, например, πρός Θεοῦ). См. еще *Art.ind.* при собственных именах в ситуациях, где подчеркивается признак неопределенности:

μιὰ τεράστια μυθικὴ Χαρύβδη (какая-нибудь) страшная мифическая Харибда', μιὰ ἄλλη Βηθλεέμ 'другой Вифлеем', ἐμεῖς ἔχομε καὶ μιὰ Μίκα στὸ σπίτι μας 'у нас в доме есть (одна) Мика' и т.д.

***Art.d.* при *Adj.*:** *Art.d.* + *Adj.comp.* → *Adj. superlat. Art.d.* в конструкции с *Adj.* в сравнительной степени образует превосходную степень *Adj.*: ὁ πιὸ καλός, ὁ καλήτερος, ὁ πιὸ καλήτερος 'самый красивый'.

Art.* + *Pron. Особая область — сочетание групп местоимений и отдельных местоимений с артиклем[27]. Обычная оппозиция *Art.d./Art.#*[28] (учитывая специфику местоимений, для *Art.ind.* более сложно подобрать соответствующую ситуацию, см. однако: τὸν ἄλλο χρόνο μιὰ ἄλλη δασκάλα 'на другой год (одна) другая учительница' и под.). Местоимения могут сочетаться 1) только с *Art.d.*; 2) только с *Art.#*; 3) с *Art. d.* и *Art.#*[29]:

c Art.d: перифрастические формы личных местоимений τοῦ λόγου (μου, του,...), ἡ ἀφεντιά (σου,...) и др.[30], возвратное ὁ ἑαυτός (μου, σου,...), обоюдные ὁ ἕνας... ὁ ἄλλος 'один ... другой'; неопределенные ὁ τάδε (ς), ὁ δεῖνα 'такой-то, некий'; относительное ὁ ὁποῖος, определительное ὁ ἴδιος и нек. др.;

c Art.#: личные, местоимения ἐγώ, ἐσύ,...; неопределенные ἕνας, κανείς, ὅποιος, κάτι, λίγος, μερικός, κάμποσος, отрицательное τίποτε, вопросительные τί, ποιός, πόσος, относительные πού, ὅποιος, ὅ τι, ὅσος и нек. др.

c Art.d* и *Art.#: прочие местоимения (об указательных см. далее, особо), например, κάθε παιδί и τὸ κάθε παιδί 'каждый ребенок', ἡ δική του μοῖρα 'его собственная участь' и δικό του ξύλο 'его собственный (зд.) корабль; τέτοια στάση 'такое положение', τέτοια φτώχεια 'такая бедность'; οἱ τέτοιοι τύποι 'такие типы', ὁ τέτοιος χαρακτήρας της 'такой ее характер', πολλὲς φορές 'много раз', οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι 'многие люди', ὅλος ὁ κόσμος 'весь мир', ὅλη νύχτα 'всю ночь' и т.д.

См. даже: τὸ ἴδιο βιβλίο 'та же самая книга' и ἴδιο πρόσωπο 'то же самое лицо'. Местоимение μόνος сочетается с *Art.d.* в атрибутивном употреблении: τὸ μόνο βιβλίο 'единственная книга', но ἦρθε μόνος (του) 'он пришел один'. Случаи, когда чередование *Art.d./Art. #* изменяет смысл (ἄλλο κραδί 'другое вино', ἡ ἄλλη 'Ελλάδα 'остальная Греция' и под.), не рассматриваются, т.к. они выходят за пределы чисто грамматических.

Особую группу составляют местоимения, требующие *Art.d.* при существительном, к которому они относятся: указательные

inslav

αὐτός, τοῦτος, ἐκεῖνος – αὐτὸ τὸ παιδί, τοῦτο τὸ παιδί 'этот ребенок', τὸ παιδί ἐκεῖνο 'тот ребенок'; притяжательные энклитики ὁ πατέρας μου 'мой отец', ἡ μητέρα σου 'твоя мать', ὁ γιός του 'его сын'.

Существительное, определяемое местоимением πού 'который', вводящим придаточные предложения, как правило, сочетается с *Art.d.* или с *Art.ind.*:

ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸν εἶδα χτές 'человек, которого я видел вчера', τὸν πατέρα ποὺ μᾶς τὸν πῆρε ἡ στρίγγλα θάλασσα 'отца, которого у нас взяло убийца море', ὁ καφετζῆς, ποὺ ἔβαζε τὰ τραπέζια του... 'хозяин кофейни, который расставлял свои столы...', μιά γκουβερνάντα, ποὺ ὁδηγοῦσε στὸν περίπατο δυὸ μικρά 'гувернантка, которая выводила на прогулку двух малышей', μιὰ παιδούλα..., ποὺ γιατρὸς τοῦ σπιτιοῦ μας ἦταν ὁ πατέρας της 'девочка, чей отец был нашим домашним врачом':

См. однако: ὅσο καὶ ἂν ὑπάρχουν σὲ λέξεις ποὺ τὶς λέμε ... '... хотя они и имеются в словах, которые мы говорим', или ... ν'ἀνταμώνει ἀνθρώπους ποὖχαν δουλέψει μαζί του '...чтобы встретить людей, которые работали с ним, σὰν ἄνθρωπος ποὺ τοῦ ἀρέσει ἡ ἀκρίβεια как человек, которому нравится точность и т.д.

В этой группе местоимений артикль, появляющийся в конструкции с существительным не может стоять непосредственно перед *Pron.* (αὐτὸ τὸ παιδί, τὸ παιδὶ αὐτό но не *τὸ αὐτὸ παιδί; ὁ πατέρας μου, но не *πατέρας ὁ μου и т.д.). Место артикля (не перед Pron.) выделяет эту, лексически ограниченную группу местоимений, обладающих самостоятельной синтаксической функцией: в определенном смысле они осуществляют управляющую связь между элементами в конструкции.

Об обязательном употреблении *Art.ind.*, пожалуй, имеет смысл говорить прежде всего на уровне текста. Такой подход, естественно, предполагает достаточно полное статистическое обследование. Это не входит в задачи представленной статьи и должно стать темой специального исследования. Однако можно высказать некоторые предварительные соображения. Существует особый род текстов, построенных таким образом, что в начале (абсолютном или в начале отдельных фрагментов) с помощью Art.ind. вводится впервые некий объект, который в том или ином виде будет повторен, по крайней мере, еще раз и притом в данной единице текста. Типичный пример — сказовые начала типа «Жил один царь. Царь был ...» В этом случае объект с *Art.ind.* является антецедентом, повторенный же с *Art.d.* (или иным способом), он, в сущности, выражает лишь отношение референциального тождества и не имеет дополнительных компонентов значения, помимо упоминания объекта[31]: Μιὰ φορά κι ἕναν καιρὸ ἦταν ἕνα μικρὸ κοριτσάκι...

inslav

Τὸ κοριτσάκι ἔμεινε ὄρφανο. 'Однажды жила была (одна) маленькая девочка... Девочка осталась сиротой'. Часто названный объект не повторяется, но заменяется личным местоимением (которое в нгр. обычно опускается): ... ἦτανε ἕνας γέρας καὶ μιὰ γριὰ ποὺ δὲν εἶχανε παιδιά. 'Οληµερίς κι 'ολονυχτὶς παρακαλοῦσαν τὸ θεό '... Были (один) старик и (одна) старуха, у которых не было детей. Ежедневно и еженощно (они) молили бога'. Вместо объекта с *Art.ind.* может вводиться другой объект с *Art.d.*, референционно связанный с первым: Μιὰ φορά κι ἕναν καιρό ἦταν ἕνα µικρὸ κοριτσάκι ποὺ ἦταν πολὺ ὄµορφο... Μὰ ἡ µάνα του πέθανε 'однажды жила-была (одна) маленькая девочка, которая была очень красива... Но ее мать умерла'; Μιὰ φορά κι ἕναν καιρὸ ζοῦσε µιὰ µητέρα µὲ τὴν κόρη της. Τὸ σπίτι τους βρίσκοταν κοντὰ στὸ δάσος 'Однажды жила-была (одна) мать со своей дочерью. Их дом стоял возле леса'. Существуют и иные способы повторения антецедента. Уже из перечисленных примеров можно заключить, что объект с *Art.ind.* создает после себя определенную сферу влияния, как бы сообщая признак определенности всем объектам, находящимся в пределах этой сферы. За ее границами возможно введение нового объекта с *Art.ind.*, с новой сферой влияния и т.д. Далее можно говорить о существовании некоторых блоков, на которые членится текст с помощью *Art.ind.* В этом смысле появление каждого нового объекта с *Art.ind.* является своего рода Grenzsignale более или менее законченных по смыслу отрезков текста[32]. Естественно, что речь идет об ограниченном числе текстов, во-первых, и о членении отдельных фрагментов текста, чаще всего начальных. Тем не менее и эти первые замечания кажутся небесполезными хотя бы для постановки вопроса о роли артикля в достаточно протяженном отрезке текста: распространяется ли его действие на ЭСК, сочетания ЭСК, одну фразу, более чем одну фразу и т.п.; можно ли прогнозировать расположение артиклей в тексте и т.п.

ИЕРАРХИЯ АРТИКЛЕЙ В ТЕКСТЕ

Сочетание *Art.d.* с указательными и притяжательными местоимениями (αὐτός, µου, σου...) можно считать переходным случаем между п а р а д и г м а т и ч е с к и м и употреблениями артикля, связанными с классами слов или с ограниченными группами слов, и с и н т а г м а т и ч е с к и м и употреблениями артикля, связанными с его реализацией в тексте. Здесь следует ввести понятие иерархии, существенное при выборе арти-

inslav

кля в тех сочетаниях ЭСК, когда одновременно должны действовать противоположные правила, и выбор делается, исходя из веса. Так *Art.d.* обладает наименьшим весом в конструкции с *Pron.poss.* и может опускаться, если *Subst.* занимает позицию предикатива, а также в конструкции σάν + *Subst.n.*, в конструкции *Acc. duplex*, в сочетании *Pron.*, требующим *Art.#* и в ряде других случаев, см., например:

ἐτοῦτος εἶναι κληρονόμος μου 'он мой наследник', πατέρας σου εἶναι; '(он) твой отец?', νὰ τὸ κάμω παιδί μου 'чтобы сделать его моим ребенком', ἐσᾶς ἔχω δασκάλα μου '(досл.) вас я имею своей учительницей', ἐγῶ... σὰ δασκάλα της 'я ... как ее учительница', ἐξ αἰτίας τους 'по их вине' κὰθε μας τραγούδι 'каждая наша песня', κάποιος φίλος σας 'какой-то ваш друг', συχνὰ παίρνουν τ'ἀφτιά μου κουβέντες τις 'часто слышат мои уши их слова', πήγαινα νύχτα σπίτι της 'шла ночью к себе домой' и т.д.

Ср. также частое чередование *Art.d./Art.#* при δικός (μου, σου...) 'собственный':

ἡ τύχη τῶν δικῶν τους 'судьба их близких', ἡ δική του μοῖρα 'его собственная участь' ἡ πολιτεία εἴταν δική μου 'государство было моим собственным', δικό της παιδί 'ее родное дитя' и т.д.

Местоимение τοῦ λόγου (μου, σου...) после предлогов употребляется с *Art.#*:

γιὰ λόγου μου, ἀπὸ λόγου σας и т.д. , за исключением предлогов μέ и σέ, после которых равновозможны *Art.d.* и *Art.#*.

В позиции предикатива более или менее свободно чередуются *Art.d.* и *Art.#*:

εἶμ ῾Ελληνας (Art.#) 'я — грек' ἐγώ 'μ'ὁ γέρο ῾Ολυμπος (Art.d.) 'я — старик Олимп', ἡ ὑγεία εἶναι ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος (Art.d.) 'здоровье самое большое богатство', αὐτὸ ἤτανε τὸ μεγάλο μυστικό (Art.d.) 'это была большая тайна' δουλεύει μαραγκός (Art. #) 'работает плотником', ἤσανε γετόνισσές της (Art.#) '(они) были ее соседки'; см. также σκυλιά, κι'ἂν μὲ σουβλίσετε, ἕνας Γραικὸς ἐχάθη (Art.ind.) 'собаки, даже если вы меня посадите на кол, (я) погибну (зд. Fut.) греком'.

Безусловно употребление *Art.#* при *voc.*[33] Это в особенности касается *Subst. propr.*, всегда меняющих *Ard.d.* на *Art.#* в позиции *voc.* (но также и нарицательных *Subst.*):

Γειά, χαρά σου, καπετάν Λαμπρούση! 'Здравствуй, привет тебе, капитан Ламбрусис!', Παναγία μου! 'Матерь божья!', Τί δουλειὰ ἔχομε στὸ Παρίσι, Μαρώ μου... 'Что мы будем делать в Париже, моя Маро...', Πέτρο, Πέτρο μου, αγγονάκι μου! 'Петро, Петро мой, внучек мой', Σωγραφιστή, θέλεις νὰ γίνεις Τούρκισσα; 'Зографисти, хочешь стать турчанкой?', Τί λές, παιδάκι μου; 'Что ты говоришь, детка моя?', Μπαρμποῦνι μου θαλασσινό, καλήτερό μου ψάρι! 'Рыбка (краснобородка) моя морская, прекраснейшая моя рыбка! ' (καλήτερό μου ψάρι < τὸ καλήτερο..., Superlat.) и т.д.

inslav

Вообще *Subst.propr.* легко теряют *Art.d.* как в регламентированных случаях, так иногда и немотивированно. *Subst. propr.* употребляются с *Art.#* в конструкции *Acc. duplex* при глаголах со значением называния: μένα μὲ λένε Μυρτῶ 'меня зовут Мирто', δὲν τὴνε λένε πιὰ Θοδώρα. Ντόρα τὴν ξέρει τώρα ὅλος ὁ κόσμος 'ее больше не зовут Фодорой. Все теперь знают ее как Дору'. В определенных условиях, диктуемых структурой текста, *Subst.propr.* также получают *Art.#*: названия, заглавия, подписи, указание авторства (в последнем случае, кроме того, Subst. propr. ставятся обычно в Obl.: 'Α. Τζαρτζάνου, Χρήστου Λεβάντα). См. также употребление *Art.#* и *Art.d.* при *Subst. propr.* в списке распределения ролей: 'Αγαμέμνονας, ὁ Μανόλης Παξινός; Μενέλαος, ὁ Σήσης 'Αλευρᾶς, 'Ιφιγένεια, ἡ Δέσποινα Παπαδημητρίου и т.д.

При характеристике иерархии артиклей в тексте следует остановиться на взаимодействии их грамматических и неграмматических употреблений. Последним обычно в соответствующих описаниях отводится главенствующая роль. Семантические классификации употреблений артикля стремятся к возможно большей подробности и тонкости. Высокая степень дифференциации употреблений невольно начинает навязывать артиклю обязательную семантическую мотивированность, а вслед за этим — обязательность единственного варианта в соответствующих ситуациях. Грамматическим употреблениям артикля отводится гораздо более скромное место в описаниях (обычно соответствующего специального раздела нет, и сведения о формальных употреблениях артикля разбросаны по морфологии и синтаксису). Между тем взаимодействие грамматических и неграмматических употреблений артикля небезынтересно, хотя бы с точки зрения семантики. Поскольку артиклю приписывается в основном функция семантического классификатора, можно было бы ожидать, что неграмматические употребления для сохранения заданного смысла должны превалировать над грамматическими. Однако в реальности можно говорить, скорее об обратной тенденции: грамматические употребления артикля, как правило, сильнее неграмматических. Если представить себе, что сначала дается некий текст, а потом в нем расставляются артикли, то в первую очередь ставятся грамматические артикли, а в пустых клетках остальные. Выделяется сравнительно немного правил формально-грамматического употребления артикля. Однако при их сопоставлении с неграмматическими надо принимать во внимание их статисти-

inslav

ческую частоту (например, в нгр. частота употребления *Art.d.* высока, в частности, из-за плеоназма *Pron. poss.*) Анализ достаточного числа текстов с точки зрения соотошения различных употреблений артикля может дать интересные сведения о его семантике[34].

АРТИКЛЬ В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

В рамках грамматики БЯС синтаксическая система балканских языков описывается через посредство элементарных синтаксических конструкций (ЭСК). Для нгр. выделено 25 ЭСК, из них имя (зд. *Subst.*) входит в состав 18 ЭСК.

1. *Nom.* + *Subst.obl.* τὸ σπίτι τοῦ πατέρα 'дом отца';
2. *Nom.* + *Subst.acc.* 'Ιταλίδα τὴν καταγωγή 'итальянка по происхождению', γεμάτος λουλούδια 'полный цветов';
3. *V.* + *Subst. nom.* ἔγινε γιατρός 'стал врачом';
4. *V.* + *Subst. obl.* εἶπε τῆς μητέρας 'сказал матери';
5. *V.* + *Subst. acc.* πῆρε γράμμα 'получил письмо';
6. *Praep.* + *Subst. nom.* μέχρι ἡ ὥρα ὀχτώ 'до восьми часов';
7. *Praep.* + *Subst. obl.* δια βίου 'для жизни';
8. *Praep.* + *Subst.acc.* γιὰ τὴν πατρίδα 'для родины', ἀπὸ τὴν 'Ελλάδα' 'из Греции';
10. *Pcl.* + *Subst. Acc.* μὰ τό θεό 'клянусь богом';
11. *Subst.* + *Adj.* ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα 'греческий язык';
12. *Subst.* + *Subst.* (аппозиция) ἡ κυρὰ Μάρω 'госпожа Маро', ποτῆρι νερό 'стакан воды';
13. *Subst. nom.* + *V. abs.* φέγγοντας ἡ Κυριακή 'на рассвете воскресенья';
14. *Subst. nom.* + *V. fin.* ὁ ἥλιος λάμπει 'солнце сияет';
17. *Subst.* + *Adv.* ὁ κάτω κόσμος 'нижний мир';
21. *Pcl.* + *Subst. nom. voc.* μπρὲ παιδιά 'эй, ребята', νὰ γιατρός 'вот врач';
22. *Conj.* + *Subst.* μά ὁ ἄνθρωπος 'но человек';
24. *Subst.* + *Subst.* (ἦταν) θεριό, δράκος '(он был) зверь, чудовище';
25. *Subst. (conj.)* + *Subst. (conj.)* (καί) ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα '(и) отец и мать'.

18 ЭСК с *Subst.* можно разделить на две группы: I. *Subst.* + *Subst.* (ЭСК 1, 2, 12, 24, 25); II. *Subst.* + *не-Subst.* (ЭСК 2, когда *Nom.* = *Adj.*, 3–8, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22). Во II группе различаются: *Subst.* + *Adj.*, *Subst.* + *V.*; *Subst.* + *Z.* (любой неполнозначный класс слов). Для I группы определяются артикли при обоих элементах ЭСК.

Универсальных формальных регламентаций для артиклей в пределах ЭСК, как будто, не существует (предполагается, что грамматические употребления артикля выделены до уровня

inslav

ЭСК). В принципе на парадигматическом уровне возможны любые сочетания любых артиклей, и ограничения вступают в силу уже на уровне текста.

В группе I (*Subst.*+ *Subst.*) реализуются все 9 возможных вариантов сочетания артиклей.

СОЧЕТАНИЕ ОДИНАКОВЫХ АРТИКЛЕЙ

1. *Art.d.* + *Art.d.*: τὸ σπίτι τοῦ πατέρα 'дом отца', τὸ τέλος τοῦ πολέμου 'конец войны', τοῦ φτωχοῦ τ'ἀρνί 'баран бедняка', ἡ γέφυρα τῶν στεναγμῶν 'мост вздохов', ὁ γέρος ὁ Καψάχης 'старик Капсалис', ὁ Πανάγος ὁ Τριβώνης Панагос Тривонис', ὁ Χρῆστος ὁ ζητιανός 'Христос нищий', τὸ κουτὶ τὰ σπίρτα 'коробка спичек', τὸ ποτήρι τὸ νερό 'стакан воды', τὸ σάκκι τ'ἀλεῦρι 'мешок муки', ὁ πατέρας, ἡ μητέρα 'отец, мать'; (και) ὁ πατέρας καί ἡ μητέρα '(и) отец и мать', τὴν ξενιτιά, τὴν ὀρφανιά 'чужбину, сиротство', ἡ βροχὴ καὶ τὸ χιόνι 'дождь и снег'.

2. *Art.#* + *Art.#*: σημάδια ζωῆς 'признаки жизни', σειρὰ παραδειγμάτων 'ряд примеров', πλῆθος κόσμου 'множество народа', σωρὸς ἐρωτήσεων 'масса вопросов', (τρεῖς) ὧρες δρόμος '(трех) часовой путь', τακούνι (δέκα) πόντους 'каблук (10) см.', (σαράντα) χρόνια κλέφτης '(сорок) лет клефт', ψαλμὸς «'Αλληλούια» 'псалом Аллилуйя', ἐξπρές–τραῖνο 'поезд экспресс', κομματι τυρί 'кусок сыра', ποτήρι νερό 'стакан воды', κουτὶ σπίρτα 'коробка спичек', δόντια μαργαριτάρια 'зубы — жемчуг', δουλειά, δουλειά 'работа, работа', δουλειὰ καὶ δουλειά 'работа и работа', ἀεροπλάνα, ποδήλατα 'самолеты, велосипеды', κορίτσι ἢ ἀγόρι 'девочка или мальчик', σταλαματιὰ σταλαματιά 'по капле', εἴτε βουνὸ εἴτε ρέμα 'гора ли, ручей ли', καί σιτάρι καὶ κριθάρι 'и пшеница, и ячмень', προσοχή — προσοχή 'внимание, внимание'.

3. *Art.ind.* + *Art.ind.*: ἕνας γέρος καὶ μιὰ γριά 'старик и старуха', ἕνας ἄνδρας καὶ μιὰ γυναίκα 'мужчина и женщина', μιὰ Λαμπρή, μιὰ Κυριακή [однажды] на Пасху, в воскресенье', ἕνας ἀϊτός (περίφανος), ἕνας, ἀϊτὸς λεβέντης 'орел (славный), орел (удалой)'.

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ АРТИКЛЕЙ

4. *Art.d.* + *Art.#*: οἱ τζάντες γυναικῶν 'женские сумки', ἡ πλάκα σοκολάτας 'плитка шоколада', τὸ κομπλὲ ἀσπρορούχων 'комплект белья', οἱ ζῶνες ἀσφαλεῖας, 'предохранительные ремни', χίλιες ὀργυιὲς τὸ βάθος 'тысяча саженей в глубину', ὁ θεῖος Γιάννης 'дядя Яннис', ὁ βασιλιᾶς Δαρεῖος 'царь Дарий', ὁ θεὸς Ἥλιος 'бог Солнце', τὸ μπουκάλι σπίρτο 'бутылка спирта', τό ὄνομα ἄνθρωπος 'имя (= Subst.) человек', τὸ μάτσο χειροβομβίδες 'связка гранат', τὸ γάλα σκόνη 'порошковое молоко', τό διάρι σπαθί 'двойка треф', τὰ μάγουλα τριαντάφυλλα 'щеки розы', (πάει) τὸ βουνὸ βουνό '(идет) все время по горе', τὴ μέση μέση 'по (самой) середине', τὰ γράμματα καὶ ἀριθμοί 'буквы и числа', ὁ κάθε μαχαλᾶς, κάθε σοκάκι 'каждый квартал, каждый переулок'.

5. *Art.#* + *Art.d.*: φιλοξενία τῶν κατοίκων 'гостеприимство жителей', βιβλίο τῆς τσέπης 'карманная книга', γυαλιὰ τοῦ ἡλίου 'солнечные очки', θί-

inslav

ασως τῶν πέντε 'труппа пятерых', 'Ιταλίδα τήν καταγωγή 'итальянка по происхождению', τὸ μαῦρο καβαλάρης 'всадник на вороном (коне)', εὐτυχὲς τὸ (νέον) ἔτος 'пожелания к (новому году', προσοχὴ τὰ χέρια (σας) 'берегите (внимание) руки', (δύο) φορὲς τὴν ἡμέρα '(два) раза в день'; συνοικία τὸ ὄνειρο 'квартал мечта', ξενοδοχεῖον ὁ Παράδεισος 'гостиница Парадиз', φασοῦλι τὸ φασοῦλι (γεμίζει το σακκοῦλι) 'фасоль к фасоли (наполняется мешочек)', στάλα τὴ στάλα 'капля к капле', καὶ σειρήτια καὶ τὰ τιρτίρια 'и шнуры и канитель'.

6. ***Art.d. + Art.ind.***: τὰ κέρατα ἐνὸς (μεγάλου) τράγου 'рога (большого) козла', τὸ μυστικὸ μιᾶς μητέρας 'тайна матери', τὸ ἡμερολόγιο ἐνὸς καταδίκου 'дневник осужденного', τὸ σπίτι ἐνὸς κουμπάρου (μας) 'дом одного (нашего) кума', μιᾶς χῆρας ὁ γιός 'сын старухи', τὸ σπίτι ἐνὸς ἐργάτη 'дом рабочего', τὸν (ἄλλο) χρόνο μιὰ (ἄλλη) δασκάλα 'на другой год другая учительница', ὁ ποιητής ἕνα κενό 'поэт пустота', τὸ βουνό, ἕνα βουνὸ θεόρατο 'гора, громадная гора', τὸ Δημητράκι, ἕνα (ὡραῖο) 'аграки 'Димитраки, (красивый) мальчик'.

7. ***Art.ind. + Art.d.***: ἕνας ὑπάλληλος τοῦ Καρούσου 'служащий Карусоса', ἕνα χαρτὶ τῆς 'Ελλάδας 'карта Греции', μιὰ γωνιὰ τῆς κάμαρας 'угол комнаты', ἕναν αρχαιομαθῆ εὐνοῦχο, τὸ Μαρδόνιο 'одного знатока древностей евнуха Мардония', μιὰν ἄνοιξη καὶ τὸ χειμώνα 'весной и зимой', μιὰ κασετίνα καὶ τὸ κλειδάκι της 'коробочка и ключик от нее', μιὰ Κυριακὴ τὸ βράδυ 'в (одно) воскресенье вечером'.

8. ***Art.# + Art.ind.***: Λυτρώτης μιᾶς χώρας 'освободитель земли', (γιὰ) ἐνὸς ἀγούρου ἀγκάλιασμα '(ради) объятия юноши', τετράδιο, πλακα, ἕνα (κάτασπρο) σφουγγαράκι 'тетрадь, доска, (белейшая) губка.

9. ***Art.ind. + Art.#***: ἕνα εἶδος στρατοῦ 'род войска', ἕνα εἶδος πλατεία 'вид площади', ἕνας κόκκος ἄμμου 'зерно песка', μιὰ στάλα κρασί 'капля вина', ἕνα ποτήρι μελάνι 'стакан чернил', ἕνα κύμα βουνό 'волна (как) гора', μιὰ θάλασσα γυαλί 'море (как) стекло', ἕνα παιδὶ πατριώτης μου 'один парень мой соотечественник', μιὰ πιθαμὴ ἄνθρωπος 'с дюйм человек', ἕνα πουλί, (καλὸ) πουλί 'птица, (красивая) птица', ἕνα Σαββάτο βράδυ 'в субботу вечером'[35].

Во II группе ЭСК *Subst. + не-Subst.* возможны все три вида артикля.

1. ***Art.d.***: δόστε (μου) τὸ χέρι 'дайте (мне) руку', τὸ σπίτι τὸ βρῆκα 'дом я нашел', πηγαίνω τὸ βράδυ 'иду вечером', δείχνει τὰ δελτία 'показывает бюллетени', συναισθανομένος τὶς ἁμαρτίες 'сознающий грехи', λουσμένη τὶς μυρουδιές 'купающаяся в ароматах', εἶναι ὁ δάσκαλος 'он учитель', ἀνθίζει τὸ Γενάρη 'цветет в январе', τὸ πανόραμα ἦταν (ἡ Θοδώρα) 'зрелищем была (Фодора)', περιμένοντας τοὺς βαρβάρους 'ожидая варваров', δίνω τῆς μητέρας 'даю матери', μοιάζει τοῦ πατέρα 'походит на отца', πεθαίνω τῆς πεῖνας 'умираю от голода', κατὰ τῶν Περσῶν 'против персов', μέ τὸν πατέρα 'с отцом', στὸ σπίτι 'домой, дома', ἀπὸ τὸ μοναστήρι 'из монастыря', γιὰ τὸ γάμο 'о браке', καλῶς τὸν πατέρα 'добро пожаловать, отец', ἀνάθημα τον θάνατο 'проклятие смерти', τὸ μεγάλο ἔργο 'великое произведение', τὰ πικρὰ λόγια 'горькие слова', ἡ τελευταία νότα 'последняя нота', βγαίνοντας... οἱ Τοῦρκοι... 'когда турки ... выходили', ὁ πατέρας γελοῦσε 'отец смеялся', τρέμει ἡ γῆ 'дрожит земля', ὁ δάσκαλος εἶπε 'учитель сказал', νωρὶς τὸ πρωί 'рано утром', χθὲς τὸ βράδυ 'вчера вечером', νά ἡ Μαρία 'вот Мария', καὶ τοῦ χρόνου

inslav

'и в будущем году' (пожелание), μά ὁ ἄνθρωπος 'но человек', σὰν τὸ λόρδο 'как лорд'.

2. *Art.#*: ἔκαμε ράφτης 'сделался портным', ἔγινε καθηγητής 'сделался преподавателем', ποταμοὶ φεύγουνε (τὰ δάκρυα) 'реками бегут (слезы)', ἔτρεχε μέλισσι (ὁ λαός) 'бежал (как) пчела (народ)', γράφει γράμμα 'пишет письмо', πόδια καὶ χέρια (τρέμω) '(дрожу) руками и ногами', φοροῦσε γυαλάκια '(она) носила очки', δὲν ἔχω βιβλίο 'у меня нет книги', στεριᾶς μὲ δέρνει 'бьет меня с суши', γυναίκας μυστικὸ μὴν πῆς 'женщине тайну не говори', γεμίζω νερό 'наполняю водой', γεμάτος περιέργεια 'полный любопытства', κίτρινος λεμόνι 'желтый (как) лимон', πασαλειμμένη ποῦδρες 'обсыпанная пудрой', ἀπὸ φοιτητής 'из студента (сделался...)', ἐπὶ τουρκοκρατίας 'при турецком владычестве', ἀπὸ μάρμαρο 'из мрамора', μὲ λύπη 'с огорчением', σὲ σχέση 'в связи', χωρὶς νερό 'без воды', καλὸς φίλος 'хороший друг', νύκτα σκοτεινή 'темная ночь', πράσινα φύλλα 'зеленые листья', μαῦρο καράβι 'черный корабль', καράβι ἔρχεται 'корабль приходит', τρέχει αἷμα 'бежит кровь', νὰ λάμψει Λευτεριά 'пусть блистает Свобода', νὰ γιατρός, νὰ μάλαμα 'вот врач, вот золото', ὡς γυναίκα 'как женщина', σὰν παιδί 'как ребенок'.

3. *Art.ind.*: φωρτομένος ἕνα δοχεῖο 'нагруженный сосудом', (τό) βρήκαμε μιᾶς ἀρχῆς '(это) мы нашли сразу', μιὰ μέρα μαζευτήκανε 'однажды собрались', κόβει ἕνα ἔλατο 'срубает сосну', κρατεῖ ἕνα μαντήλι 'держит платок', παραγγέλνει ἕνα σπαθί 'заказывает меч', γύρευα νὰ βρῶ ἕναν ἄνθρωπο 'хотела найти человека', μ 'ἕνα ξύλο 'палкой', σὲ μιὰ ναυμαχία 'в морской битве', σ'ἕνα ἐργόλαβο 'к подрядчику', ἀπὸ μιὰ σειρά 'из ряда', ἕνα ἀσημένιο κουδουνάκι 'серебряный колокольчик', μιὰ μεγάλη μασκαράτα 'большой маскарад', ἕνα ὡραῖο ἔθιμο 'прекрасный обычай', μιὰ σοφὴ παροιμία 'мудрая пословица', λέγει μιὰ παροιμία 'говорит пословица', πέρασε μιὰ γριούλα 'прошла старушка', ἄνοιξε μιὰ τρυπίτσα 'открылась дырочка', ἕνας μύθος λέγει 'миф говорит', ἕνα γελιὸ ἀκούστηκε 'послышался смех', οὔτε μιὰ στιγμή 'ни на миг', μήτε μιὰ μάνα 'ни одна мать', ἕνας τόσος δα 'такой вот' и т.д.

Для того чтобы с достоверностью говорить о том, как употребляются артикли в ЭСК, необходимо статистическое обследование. Тем не менее можно указать хотя бы некоторые тенденции, опираясь, в частности, на существующие наблюдения над нгр. артиклем. Так, отмечается сравнительно нечастое употребление нгр. *Art. ind.* как наиболее отмеченного и связанного с особыми текстовыми ситуациями. Соответственно в I группе (*Subst.* + *Subst.*) сочетание *Art. ind.* + *Art. ind.*, нормальное для ЭСК 24 и 25 (сочинительная связь: ἕνας γέρος καὶ μιὰ γριά), редко для ЭСК с подчинительной связью: для некоторых оно невозможно — *ἕνα ποτήρι ἕνα νερό и под.; на других, хотя и нет грамматического запрета — ἕνα σπίτι ἑνὸς πατέρα, наложены ограничения иного рода. Менее распространены, как будто, и те сочетания артиклей, где *Art. ind.* занимает второе место (τὸ σπίτι ἑνὸς πατέρα, σπίτι ἑνὸς πατέρά), что также можно связать с особенностями антецедентного употребления *Art. ind.* в тексте. Более

inslav

или менее регулярные употребления артиклей указываются для ЭСК 12 (аппозиция), где выделяются три группы: 1) господин учитель, 2) стакан воды, 3) зубы-жемчуг.

Для первой группы обычно сочетание *Art. d.* + *Art. #*: ὁ κύριος δάσκαλος или *Art. d.* + *Art. d.* ἡ γριά ἡ Μπουρμπουλίνα 'старуха Бурбулина' (но могут быть и другие варианты, с *Art. ind.*, с *Art. #*: μιὰ χήρα βουργάρα 'старуха болгарка', 'Αχμετ-ἀγὰς βγαίνει πεζός 'Ахмет-Ага уходит пешком' и т.д.).

Во второй группе возможны 4 сочетания артиклей: *Art.d.* + *Art.d.*, *Art.#* + *Art.#*, *Art.d.* + *Art.#*, *Art.ind.* + *Art.#* τὸ ποτήρι τὸ νερό, ποτήρι νερό, τὸ ποτήρι νερό, ἕνα ποτήρι νερο.

В третьей группе Subst., обозначающее собственно сравнение, употребляется с *Art.#*: δόντια μαργαριτάρια 'зубы жемчуг', σπίτι παλάτι 'дом дворец', σκοτάδι πίσσα 'темнота деготь', ἕνα πρόσωπο φεγγάρι 'лицо луна'.

Примечательна возможность сочетания разных артиклей в ЭСК 24 и 25 (сочинительная связь): τὰ γράμματα καὶ ἀριθμοί 'буквы и числа', καὶ σειρίτια καὶ τὰ τιρτίρια 'и шнуры и канитель', τὸ βουνό, ἕνα βουνὸ θεόρατο 'гора, громадная гора' и т.п. Среди них выделяются случаи, когда один артикль в начальной позиции определяет несколько объектов: ὅλα τὰ ὑφάσματα καὶ ἐνδύματα καὶ ἔπιπλα 'все ткани и одежда и мебель', см. также при повторении объекта (особенно в фольклорных текстах): μιὰ μάννα, σκυλόμαννα 'мать, собака-мать', ἕνα παιδί, καλὸ παιδί 'парень, хороший парень', ἀπὸ τὸ ἄγριο θεριὸ καὶ δράκοντα μεγάλο 'от дикого зверя и громадного дракона' (один и тот же объект), и т.п. Хотя такие употребления в этой позиции сравнительно редки на фоне обычных сочетаний одинаковых артиклей, тем не менее они заслуживают особого рассмотрения, о чем будет сказано далее.

В ЭСК *Subst.* + *V.* (3–5, 13, 14) возможны все три вида артикля. Едва ли не единственное формальное ограничение, более или менее надежное, – *Art.#* при *Subst.n.* в адвербиальном употреблении: τρέχει ποτάμι 'бежит (как) река', σταλαματιὰ σταλαματιὰ τὸ μάρμαρο τρυπίεται 'каплями, каплями продалбливается мрамор'. Для других случаев, отмечаемых в грамматиках (или даваемых списками, например, *Subst.* с *Art.#* в конструкциях с κάνω т.д.) – предикативного употребления[36], конструкций *acc. duplex*[37], где предполагается сочатание *Art.d.* и *Art.#* (называть кого *Art.d.*, кем *Art.#*) и т.д. – допускаются варианты.

В ЭСК 10, ограниченной сравнительно небольшим набором управляющих элементов и образующей фиксированные конст-

inslav

рукции идиоматического характера, *Subst.* употребляются с *Art.d.*: ἀνάθημα τὸν ἔρωτα ‘проклятие любви’, καλῶς τα τὰ παιδιά ‘привет, ребята’ и т.д.

Определенные закономерности выводятся для конструкций прилагательного и существительного в ЭСК 2 (управление) и ЭСК 11 (согласование). В ЭСК 2, где *Subst.* обычно стоит на втором месте, оно употребляется с *Art.#* при собственно прилагательных — γεμάτος λουλούδια ‘полный цветов’, κίτρινος λεμόνι ‘ желтый (как) лимон’, γλυκὸ μέλι ‘сладкое (как) мед’, κόκκινος αἷμα ‘красный (как) кровь’ и т.д., и принимает все три вида артикля при причастиях: συναιστανομένος τὶς ἁμαρτίες ‘сознающий вину’, φορτωμένο ἁλάτι ‘нагруженная солью’, φορτωμένος ἕνα δοχεῖο ‘нагруженный сосудом’).

В ЭСК 11, где порядок элементов может меняться, артикль (любой), как правило, стоит на первом месте (конструкции типа πειρούγια τἀσημένια ‘серебряные вилки’ А. Дзардзанос отмечает как редкие). Центральное место *Art.d.* может занимать в конструкциях с некоторыми местоимениями (αὐτὸ τὸ βιβλίο, ὅλος, ὁ κόσμος). Распространено повторение артикля перед каждым элементом ЭСК 11, в том числе и при ее циклическом развертывании:

ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀγαθός ‘добрый человек’, τὸ παλληκάρι τὸ ὡραίο ‘прекрасный паликар’, τὸ παιδί τὸ μαῦρο τὸ Δημήτρη ‘ребенка несчастного, Димитриса’, σὰν τὴν ἀγάπη τὴν κρυφή ‘как любовь тайную’, ὁ λύκος ὁ κουτός ‘волк глупый’, τὸ γαλάζιο της κύμα, τὸ ἥμερο ‘ее голубая волна, спокойная’.

Обычно повторяется артикль *Art.d.*, см., однако, повторение *Art.ind.*:

θεέ μου, βρέξε μια βροχη, Μια βροχή, μια βροχίτγα, διγανή ‘Боже, пролей дождь, Дождь тихий’, γιὰ μιὰ ξανθή, για μιὰ λιγνή μιά χαμηλοβλεπούσα ‘для (одной) белокурой, для (одной) стройной, (одной) скромно глядящей’, μια βοσκοπούλα, μιὰ ζηλεμένη κόρη ‘пастушка, желанная девушка’.

ЭСК 17, 21, 22 слишком тесно связаны с лексическим набором и семантикой соответственно наречий, частиц и союзов (для некоторых из них могут быть составлены более или менее достоверные списки), чтобы выводить какие-либо общие правила употребления артиклей (тем более, что и хрестоматийное правило чередования σάν + *Subst. acc.* → *Art.d.* и σάν + *Subst. nom.* → *Art.#* в текстах нередко нарушается).

Весьма существенно было бы провести последовательный анализ взаимоотношений нгр. артиклей с предлогами. Положение в других балканских языках (албанский, румынский), где эти взаимоотношения выражены достаточно четко, заставляют

inslav

предполагать аналогии и в нгр.[38]. Некоторые случаи уже зафиксированы в грамматиках (*Art.#* в конструкции *Praep.* + λόγου μου, преимущественное употребление *Art.#* при предлогах со значением без — χωρίς, διχῶς, тенденция к сочетанию σέ + *Art.d.*, очевидно, из-за его слияния с *Art.d.* — στό, στή, στούς и под.). Можно высказать предположение, что эта пока еще не затронутая область заключает в себе много существенного для раскрытия системы нгр. артикля.

Различные преобразования ЭСК — циклическое развертывание, сочетания друг с другом и далее образование предложения, — оказывают влияние на употребление артиклей, вернее, на заполнение тех пустых клеток, которые остаются после применения указанных грамматических правил. Возникают фиксированные конструкции, например, для обозначения времени (στὶς πέντε ἡ ὥρα 'в пять часов', στὶς τριάντα τοῦ Δεκεμβρίου 'тридцатого декабря', στὰ χίλια ἐννιακόσια πενῆντα τρία 'в 1953 (г.) и т.д. При стремлении нгр. к конструкциям соположения чередование артиклей (обычно *Art.d.*/(*Art.#*) способствует синтаксическому членению фразы[39]. Однако в нгр. действует принцип «каждое действие равно противодействию» — едва ли не на каждое правило существует как бы его опровержение, что в конце концов заставляет принять особый подход к системе нгр. артикля.

Здесь не будут разбираться употребления артикля в ограниченном отрезке связного текста: это слишком сложный вопрос, для которого прежде всего надо определить, можно ли установить закономерность расстановки артиклей для всего текста, считая, что в законченном фрагменте любой артикль выступает как элемент некоей целостной системы. Альтернатива этому — предположение, что взаимосвязь артиклей не выходит за пределы ЭСК, сочетаний ЭСК, максимум за пределы двух-трех предложений. Наконец, следует учитывать структуру текста в широком смысле (объем, жанр, сочетание прямой и непрямой речи, распределение классов слов, грамматических категорий, отдельных граммем и т.п.). Все это слишком сложные вопросы, к тому же выходящие за пределы объявленной темы. Поэтому здесь сочтено возможным ограничиться соображениями об антецедентной роли *Art.ind.* как одного из средств членения текста определенного жанра[40].

В задачи представленной работы входило дать по возможности более полный анализ формально-грамматических функций артикля. Описание употреблений артикля доводилось до той точки, за которой вступали в действие иные — логико-

inslav

грамматические, семантические, лексические и под. факторы. Естественно, актуальна проблема взаимоотношения формальных и неформальных употреблений артикля, места и веса формальных употреблений в общей системе артикля. Уже было отмечено, что при более или менее строгом иерархическом расположении языковых уровней, каждый из которых последовательно конституируется единицами предыдущего (*фонологический* → *морфологический* → *синтаксический*), формальные ресурсы системы языка используются частично и выборочно. Построить симметричную систему соответствий *фонология — морфология — синтаксис* пратически невозможно. Выделяются лишь некоторые узлы соприкосновения и переходы, на первый взгляд, кажущиеся непоследовательными (ср. хотя бы сосуществование экономии и избыточности, распределенных в языке как бы случайно: в пределах предложения одна граммема может выражаться несколько раз, повторяясь в разных элементах, в то время как другая имеет нулевой показатель и т.п.). Та же картина представляется при первом взгляде на систему нгр. артикля: установить сколько-нибудь последовательное и равномерное распределение артикля на морфосинтаксическом уровне не удается (не говоря о том, что встает проблема различения артикля и не-артикля, см. выше о формах, начинающихся с [t]). В результате формально-грамматические употребления артикля выглядят достаточно разрозненными и случайными. Однако включение системы артикля в гораздо более широкую абстрактную схему языковых отношений создает иную перспективу. Более основательный анализ заставляет предполагать за видимой непоследовательностью действие направляющих процессов, соответствующих некоторым общим закономерностям. Реконструкция глубинной системы, определяющей устройство языка в широком смысле, позволяет по-иному интерпретировать манифестирующиеся на поверхности явления. Так, парадигматические употребления артикля при определенных классах или группах слов как будто случайны и несоотносимы с семантикой. Случайность подтверждается и тем, что на синтагматическом уровне эти употребления подвергаются также случайным и немотивированным изменениям. Однако типологическое сравнение (нгр. и другие. балканские, в цитированной анкете И.И. Ревзина — любые артиклевые языки) приводит к иным выводам. Формальные употребления артикля охватывают: существительные собственные, местоимения и предлоги, т.е. именно те классы слов, которые связаны (генетически, исторически, семантически и т.п.) с категорией *опреде-*

inslav

ленности/неопределенности по преимуществу. В этом смысле язык решает проблему семантики артикля весьма остроумно и почти парадоксально: там, где употребления артикля представляются максимально освобожденными от семантики и чисто формальными, они недвусмысленно выделяют те языковые классы, которые по своей сути наиболее тесно связаны с *определенностью/неопределенностью*.

Очертив область *определенности/неопределенности*, язык стремится уйти от буквализма, от примитивной непротиворечивости, как бы обучая носителя языка более общему и широкому взгляду, позволяющему большую маневренность на формальном уровне и тем самым более совершенное и гарантированное сохранение смысла. Так, и внутри выделенных групп непоследовательность применения артикля снимается на уровне семантики. На синтагматическом уровне, нгр. *Subst. propr.* употребляются то с артиклем, то без артикля. Без артикля они выступают в *voc.*, в конструкциях со значением называния, в названиях, титулах, подписях и т.д., т.е. везде, где выделение признака собственности становится основной целью. В повествовательном тексте, где значение собственности может ослабляться и на первый план выходит референционное значение (так, что данное *Subst.* в принципе может быть заменено *Pron.*), артикль сохраняется[41]. См. характерный в этом смысле пример:

Στὸν καιρὸ τῶν παλαῖων 'Ελλήνων ἦταν μιὰ κὸρη ποῦ τὴν ἔλεγαν Φλανδρώ (*Art.*#). Φλανδρὼ (*Art.*#) θὰ πεῖ μιὰ ποῦ ἀγαπᾶ τὸν ἄντρα της. Φλανδρὼ (*Art.*#) τὴν εἶπαν, Φλανδρὼ (*Art.*#) βγῆκε... ἕνας καραβοκύρης... 'ἀγάπησε τὸ Φλανδρώ... (*Art.d.*). 'Во времена древних греков была одна девушка, которую звали Фландро. Фландро будут звать ту, которая любит своего мужа. Фландро ее назвали, Фландро она стала ... один корабельщик ... полюбил Фландро...'

В этом тексте противопоставление имени Фландро как символа (*Art.*#) Фландро — носительнице имени (*Art.d.*) выражено максимально отчетливо (и подкреплено соответственным расположением слов в предложении). Как уже отмечалось, более свободно употребляется *Art.d.* при периферийных *Subst. propr.*, в частности, при названиях народов, жителей определенных мест, и под. (ср. σκλάβες Τουρκῶν 'рабы турок' и... νά 'μαι σκλάβος τῶν Τουρκῶν ...чтобы я стал рабом турок' и т.п.). Подобный анализ можно провести и на примере сочетания артикля с местоимениями, где кажущаяся случайность распределения *Art.* и *Pron.* может зависеть, в частности, от их взаимозаменяемости (см. соответствующий вопрос в анкете И.И. Ревзина, с. 52). В этом смысле характерна легкость опущения *Art.d.* при эн-

inslav

клитических формах *Pron. poss.*, в нгр. (ὁ πατέρας μου > πατέρας μου). Вполне возможно, что это вызывается особой ролью *Pron. poss.*, плеонастическое употребление которых в тексте дает возможность в каком-то смысле говорить о явлении, сходном с местоименным склонением. *Pron. poss.* обладает признаком определенности (притом более специально выраженным, поскольку он указывает. и на участника речи) и потому функционально может замещать артикль. Возникает примечательная ситуация: более специальный показатель (*Pron. poss.*) вытесняет более универсальный (*Art.*) и появляется в ситуациях, где указание принадлежности несущественно по меньшей мере. В результате *Pron. poss.* ослабляет собственное значение, приближаясь к нейтральному указанию определенности. Если предполагать, что *Pron. poss.* может заменить *Art.d.*, то тем самым увеличивается число, «недискретных ситуаций»: например, в обращении, где наряду с voc. может употребляться и nom., в сочетании *Art.* # + *Subst.* + *Pron. poss.*, где синтаксически нельзя определить падеж у существительных, не различающих nom. и voc. на морфологическом уровне (παιδιά μου, μητέρα μου и т.д.). Ср. также: αὐτὸς εἶναι πατέρας μου 'он — мой отец' (< ὁ πατέρας μου, возможное опущение артикля при предикативном употреблении *Subst.*?) и т.п. Может быть, те же тенденции действуют и при модификации сочетания *Art.d.* с местоименными клитиками (местоименная реприза): *Art.d.*, в принципе обязательный, достаточно часто заменяется *Art.*#.

Подобные рассуждения подводят к мысли, что формально-грамматические, т.е. максимально отстоявшиеся употребления артикля, по своей сути наиболее тесным и существенным образом связаны с семантикой. Семантическая связь такого рода тем более важна, что она принадлежит не данной группе, классу слов, ЭСК, фразе, тексту и т.п., но гораздо более общей системе, в конце концов восходящей к членению мира явлений вообще и к восприятию его человеком. Что касается не-грамматических употреблений артикля, т.е. случаев, когда грамматика разрешает вариантные способы его расстановки, то они могут относиться к уровню в определенном смысле иерархически более низкому, в частности, к уровню эвентуального воплощения. Может быть, это и является одной из причин свободного, нефиксированного употребления артикля, вплоть до индивидуальных вариантов. Другими словами, артикль наиболее фиксирован там, где фиксированы его связи с семантикой общего и абстрактного уровня. Артикль менее фиксирован там, где связи

inslav

такого рода ослаблены и где речь идет о выражении данного смысла (имеется в виду не конкретный текст, но специфика и особенности языка в той части, где они выходят за пределы некоторых универсальных категорий).

Анализ грамматических и не-грамматических употреблений нгр. артиклей в тексте обнаруживает достаточно большую степень вариативности, в том числе и за счет нарушения формальных правил. К уже приведенным примерам см. еще:

τὰ 'βλέπα σὰν ἐχθρούς τοῦ σπιτιοῦ μας (τοὺς ἐχθρούς) 'я смотрела на них как на врагов нашего дома'; δύο ψάρια ἐτηγανίζονταν καὶ ἕνα τὸ ἄλλο δὲν πίστευε (τὸ ἕνα?) 'две рыбы (вместе) жарились, и одна другой не верила'; οὔτε τσουκάλι ἔμεινε οὔτε καὶ Νικολάκης (ὁ Νικολάκης?) 'ни горшка не осталось, ни Николакиса'; ἔχουν κρίνους δάχτυλα — ἔχει τὰ μάγουλα τριαντά φυλλα 'у них пальцы лилии' — 'у нее щеки розы'; δὲν γύριζε νὰ κοιτάζει ἀδερφὸς τὸν ἀδερφό (ὁ ἀδερφός ?) 'не оборачивался посмотреть брат на брата';

ср. особенно в фольклоре, в гномических выражениях, построенных на параллелизме:

ὁ γεωργὸς θέλει βροχή (*Art.* #) κι ὁ κεραμεὺς τὴν ξέρη (*Art.d.*) 'пахарь хочет дождя, а горшечник засухи'; νὰ γίνει μιὰ ἄνοιξη καλή (*Art.ind.*), να γίνει καλοκαίρι (*Art.* #) 'пусть будет хорошая весна, пусть будет лето'; ἀπὸ τὴ γῆ βγαίνει νερό (*Art.* #) κι 'ἀπ' τὴν ἐλιὰ τὸ λάδι (*Art.d.*) 'из-под земли выходит вода, а из маслины масло'; ὁ Κίσαβος ρίχνει βροχή (*Art.* #) κι 'ὁ Ὄλυμπος τὸ χιόνι (*Art.d.*) 'Кисав сбрасывает дождь, а Олимп снег'; τὰ ὄρη (*Art.d.*) ἐδιασκέλιζε, βουνοῦ κορφές (*Art.* #) ἐπήδε '(через) скалы (он) перешагивал, (через) вершины гор перепрыгивал'.

Ср. также равноправные варианты:

Γαμπρὸς υἱὸς δὲν γίνεται и ὁ γιὸς γαμπρὸς δὲ γίνεται 'зять не становится сыном', ἦλθαν τ'ἄγρια (*Art.d.*) νὰ βγάλουν ἥμερα (*Art.* #) — ἤρθαν τ'ἄγρια νὰ διώξουν τὰ ἥμερα 'пришли дикие прогнать ручных' и т.д.; σήμερα ψάλλουν ἐκκλησιές (*Art.* #) ψάλλουν τὰ μοναστήρια (*Art.d.*) 'сегодня поют церкви, поют монастыри', τ'ἀδέρφια σκίζουν τὰ βουνὰ (*Art.d.*) καὶ δένδρα (*Art.* #) ξεριζώνουν 'братья раскалывают горы и вырывают деревья', πέφτουν τὰ βόλια (*Art.d.*) σὰ βροχή, κανόνια (*Art.* #) σὰ χαλάζι 'падают пули дождем, (зд.) снаряды градом', Γιάννος (*Art.* #) μαθαίνει γράμματα κ'ἡ Μαρουδιώ (*Art.d.*) τραγούδια 'Яннос изучает науки, а Марудио песни', Τοῦρκος (*Art.* #) ἀγάπησε μιὰ Ρωμιοπούλα (*Art.ind.*) 'турок полюбил (одну) гречанку', ср. ἕνα μικρὸ Βλαχόπουλο (*Art.ind.*) μιὰ Βλάχα (*Art.ind.*) ν'ἀγαπάει 'маленький валах любит валашку', κλαῖνε μανοῦλες γιὰ παιδιά (*Art.* #), γυναῖκες γιὰ τοὺς ἄντρες (*Art.d.*) 'плачут матери о детях, жены о мужьях' и т.д.

А. Дзардзанос отмечает возможность *Art.* # при терминах родства, ср. в пределах одной фразы: ὄρφανος ἀπὸ μητέρα ... ἔχασε καὶ τὸν πατέρα σου 'осиротев без матери ... он лишился и своего отца' и т.п.

inslav

Можно думать, что в сфере применения нгр. артикля манифестируется та принципиальная свобода и неединственность выбора, которая приписывается языкам БЯС (и которая компенсируется жесткостью и не-свободой в других звеньях системы). Естественно, существует такой набор ситуаций (текстов и т.п.), в которых возможен лишь единственный вариант расстановки артиклей. Наряду с этим предполагается существование такой области, где тексты, отличающиеся только постановкой артикля, остаются тождественными самим себе[42]. Другими словами, есть ситуации, допускающие мену артиклей при сохранении заданного смысла (можно считать также, что параметры заданного смысла в нгр. разрешают достаточно высокую степень расхождения). По традиции артиклю предъявляются, пожалуй, слишком строгие требования, любое его употребление считается мотивированным, в сомнительных случаях предпочитают приписывать артиклю многозначность, но не отсутствие значения. Между тем, общая схема устройства языка — несимметричность отношений *фонология — морфология — синтаксис*, выборочное использование различных категорий, сочетание плеоназма и эллипсиса и под., — дает возможность взглянуть на артикль по-иному. Кажется допустимым, во всяком случае для нгр. артикля, выделять некоторую область «нейтрального» употребления артикля, сохраняющего общее значение абстрактного классификатора, но не привязанного слишком сильно к данной ситуации.

Балканский артикль обычно типологически противопоставляется артиклю в основных западноевропейских языках (прежде всего английский, французский, немецкий), которым приписываются отлитые и однозначные правила постановки артикля — в отличие от непоследовательности и неопределенности, существующей в балканских языках. Соображения общей типологии позволяют выйти за пределы традиционных взглядов на не-балканский артикль. Прежде всего, для описания артикля в западноевропейских языках подходят те же типологические критерии: артикль при собственных именах, местоимениях, предлогах; артикль при определенных морфологических категориях (*voc.*, степени сравнения, предикативные конструкции, адвербиальные употребления *Subst.* и др.), *Art.ind.* как средство членения текста и т.п. Конкретные ответы на эти вопросы, т.е. выбор самой формы артикля, не столь важны. Система языка строится таким образом, что более существенным оказывается сам факт принципиального различия или сходства, но не его материальное выражение. Такое свойство

inslav

сообщает системе большую прочность и устойчивость, с одной стороны, и большую гибкость и приспособляемость, с другой. В этом смысле становится возможным говорить об универсальной типологии артикля в том плане, в каком она соответствует универсальной классификационной схеме, в конце концов, моделирующей мир. Тогда, сравнивая западноевропейские языки с балканскими, следует иметь в виду разницу в степени обязательности выполнения соответствующих правил. Как кажется, эти свойства могут связываться не только (или не столько) именно с артиклем, сколько с языковой нормой вообще. Западноевропейские языки выработали соответственно более отлитую и жесткую форму литературного языка, основанную на усовершенствовании и развитии некоего инварианта, как бы очищаемого от случайностей и нерегулярностей и имплицирующего бóльшую обязательность в употреблении отдельных категорий (литературный язык такого типа по сути адекватен нормативной грамматике и в каком-то смысле ориентируется на нее). Балканские литературные языки складывались на основании конгломерата местных и т.п. вариантов, т.е. не столько на отборе, предполагающем ограничения и стремление к однозначности, сколько на обогащении, предполагающем принципиальную открытость и разнообразие. Естественно, что при этом увеличивается степень свободы, приводящая к многоплановости и неоднородности, распространяющихся на способы реализации различных языковых категорий. На этом фоне и артикль получает иное распределение, так что не кажется еретической мысль, что по крайней мере для некоторых ситуаций (некоторых видов текста и т.п.) равновозможны несколько видов артиклей и замена одного артикля другим незначима (одна из иллюстраций — разнообразное стилистическое использование артиклей, например, в поэтических текстах, где артикль может опускаться или, напротив, употребляется плеонастически и т.д.).

Эти свойства нгр. артикля заставляют обратиться и вообще к грамматической системе нгр. языка в поисках аналогий на материале иных категорий. Действительно, сходное положение наблюдается и там. Современные грамматики нгр. языка невольно (и естественно) приходят к описанию нескольких сосуществующих грамматических систем: аналитические и синтетические конструкции, координация и субординация, конструкция и соположение и т.п. В результате получается нечто вроде языка с несколькими грамматиками. Следующий этап анализа приводит к заключению, что эти отдельные «грамматиче-

inslav

ки» не только не делят сферы влияния, но, напротив, взаимопроницаемы, влияют друг на друга и расшатывают друг друга. В итоге возникает ситуация не только свободы выбора конструкций, но и свободы оформления самой конструкции. Отсюда — нестабильность, принципиальная неоднозначность употребления различных грамматических категорий, что в конце концов приводит и к принципиальной смысловой неоднозначности, отказу от выбора единственного решения. Это относится и к артиклю, который (как отмечалось выше) в ряде случаев неразличим даже морфологически, совпадая по форме с местоимением. Впрочем, связь нгр. артикля с местоимением, различные формы сочетания, взаимозаменяемость и т.д. могут оказаться более значимыми, чем это представляется традиционно. Отношения нгр. артикля с местоимением кажутся достаточно актуальными, распределение артикля в тексте находится в определенной связи с местоимениями. Может быть, и местоименное значение (в широком смысле) присутствует в нгр. артикле в большей степени, чем это вообще приписывается категории артикля? При этом допущении вариантность употреблений нгр. артикля получает поддержку в свободе употребления местоимений, которые далеко не во всех случаях несут на себе отмеченную смысловую нагрузку, но, напротив, могут появляться и исчезать без особого ущерба для данного текста (в нгр. особенно *Pron. poss.*, *Pron. deict.*).

В данной работе анализируется артикль только в нгр. Представляется, что многое из сказанного применимо и к другим балканским языкам в рамках БЯС. Вариативность, отказ от окончательного и единственного выбора характерны и для других балканских языков и, может быть, соответствуют некоторым специфическим свойствам балканской модели мира, о чем будет сказано в свое время в более широком контексте. Поэтому можно думать, что принятый здесь подход небесполезен хотя бы для описания системы артиклей балканских языков в будущей грамматике БЯС. Более системный и более формальный подход к категории *определенности/неопределенности* и, в частности, к артиклю, предпринимаемый в последнее время, уже на первом этапе позволяет предположить достаточно цельную типологию артикля (см. прежде всего анкету И.И. Ревзина, применимую к широкому кругу языков), не зависящую от разрозненного набора различных конкретных ситуаций. Принято строить систему артикля на первичной семантике, сводимой к объяснению каждого данного употребления, и потому открытой и неопределенной. Формально-грамматические употребле-

inslav

ния артиклей тем самым остаются в стороне или доводятся до уровня обозначения граммем рода, числа и падежа. Обратное направление — от формальной грамматики артикля — представляется плодотворным для дальнейшего развития типологии артикля, по крайней мере, в следующем: оно способствует раскрытию основоположных связей грамматических употреблений с общей семантикой артикля; оно тем самым вводит категорию артикля в круг гораздо более общих закономерностей и делает возможным более широкий подход к категории артикля. Наконец, непоследовательные, немотивированные и даже противоречивые употребления артикля могут рассматриваться в рамках более общих закономерностей. Разумеется, все сказанное выше приобретает вес и доказательность только после исследования возможно большего языкового материала.

[1] В грамматике БЯС строится единая синтаксическая схема БЯС, основанная на сведении воедино синтаксических структур отдельных балканских языков, и сообщаются правила перехода от нее к балканским языкам и обратно. План и основные положения грамматики были неоднократно изложены автором ранее. См. ее же публикацию фрагмента грамматики БЯС, описывающую новогреческий синтаксис.

[2] В соответствии с этим не анализируются, например, случаи мены артиклей, когда в одной грамматической позиции возможно употребление всех видов артиклей, обусловленное не-формальными причинами.

[3] *Ревзин И.И.* Анкета по категории определенности — неопределенности. «Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков». М., 1973; *Он же.* Вопросы структурно-типологического подхода к категории определенности в балканских языках // Доклады и сообщения советской делегации. III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы. Бухарест, 4—10 сентября 1974. М., 1974.

[4] Связь *невозможность/несущественность* постулируется, исходя из ряда более общих наблюдений над языком. Динамика развития различных категорий в языке предполагает среди прочего существование некоей закономерности, приблизительно следующего смысла: то, что неопределенно — неопределимо; то, что неопределимо — излишне определять. Если, например, некоторый класс или группа слов проявляет колебания и отношении некоторых граммем (род, наклонение, число и т.д.), притом что в языке в целом соответствующие противопоставления сохраняются, то обнаружить для них диагностические контексты чрезвычайно трудно или даже невозможно. В этих случаях язык как бы избегает определенности и однозначности, предпочитая либо омонимию, либо, напротив, синонимию и перифраз. Ср. хотя бы сложность различения *N.* и *Acc.* в нгр. в конструкциях *Praed.* + *Subj.* ∨ *Obj.* ∨ *Adv.*, нейтрализацию флексий *Ind.* и *Conj.* в балканских языках, неопределенный морфологический статус *един* в болгарском (местоимение или артикль), смешение синтаксических функций аориста,

inslav

и перфекта в албанском и т.п. Однозначно разрешить эти и подобные ситуации бывает возможно лишь с помощью достаточно сложных трансформаций и субституций, в общем несущественных и избыточных для понимания данного фрагмента, т.е. для извлечения заложенной в нем информации. По крайней мере в балканских языках, в таких случаях анализ естественно переносится на лексический, семантический, контекстный и под. уровни, оставляя собственно грамматику в стороне и удовлетворяясь более или менее приблизительными результатами (для того, чтобы выяснить, что в нгр. аппозитивной синтагме с количественным значением, типа ποτήρι νερό 'стакан воды' осуществляется не подчинительная, а согласовательная связь, необходимо было найти такой пример, в котором оба элемента стояли бы в *N.* ένα ποτήρι χυμός είναι στό τραπέζι 'стакан сока стоит на столе'. Это оказалось чрезвычайно трудным, потому что подавляющее большинство сочетаний состояло из лексем, не различающих N. и Acc. Интересно, что и информанты инстинктивно избегали диагностических контекстов, предпочитая в таких случаях перифрастический оборот). Можно привести чрезвычайно много примеров, общий смысл которых сводится к одному и тому же: там, где однозначное определение грамматической категории трудно или невозможно, оно в большинстве случаев не является необходимым для анализа и даже для синтеза.

[5] В работе использованы следующие тексты: 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 'Αθήνα, 1962. Т. 1; Anthologie neugriechischer Erzähler. Berlin, 1961; 'Η νεοελληνική γλῶσσα / ΠΛΕ. 1960; *Kalitsunakis I.E.* Neugriechisches Lesebuch. Berlin; Leipzig, 1914; *Икономов Н.* Балканска народна мъдрост. София, 1968; Κοκκινή κλωστή δεμένη / ΠΛΕ. 1961; Εὔτυμα ελληνικά παραμύθια. Αθήνα. 5.1.; Culegere de texte neogreceşti. Bucureşti, 1963; Χ. Λεβάντα. Πορεῖα κόντρα στὸν τυφῶνα. ΠΛΕ, 1966; 'Ε. Αλεξίου. Σκληρὰ 'αγώνα γιὰ τὴ μικρὴ ζωή. Θεσσαλονίκη, 1963; *Νενεδάκης 'Α.* Οἱ μαργαρίτες τοῦ ἁγιοῦ // ΠΛΕ. 1964; *Ζέη 'Α.* Τὸ καπλάνι τῆς βιτρίνας // ΠΛΕ. 1964; *Βονρνᾶς Τ.* Τὸ ἑλληνικό 1848 // ΠΛΕ. 1956; *'Ελευθεράδη Α.Ε., 'Επαμεινόνδα Ε.* 'Η τεχυικὴ τῶν ἐκθέσεων. Λευκωσία, б.д.; *Ρῶτα Β.* Παιδιατικά τραγούδια // ΠΛΕ. 1965; Βοήθημα συνομιλίας. Berlin—Schöneberg, 1963; *Wh. Fay J.* A practical introduction to spoken modern Greek. New York, 1944; *Papageotes G.* Say it in Greek. New York, 1956; 'Ημερολόγιο. 'Αθήνα, 1967; Probleme der neugriechischen Literatur. Berlin. I. 1950; IV. 1959; *Mirambel A.* Introduction au grec moderne. Paris, 1961; *Wied K.* Praktisches Lehrbuch der Neugriechischen Volkssprache. Wien und Leipzig, 1900; *Seidel A.* Neugriechische Chrestomathie. Wien und Leipzig, 1900, а также ряд газетных и журнальных текстов.

[6] Н. Рейтер (*Reiter N.* Der Artikel in den Balkansprachen // Ztschr. f. Balkanologie. V. 1967. № 1. P. 111—112) предлагает следующую систему соотношения *Art.d.* — *Art.ind.* — *Art.#* *Art. ind.* противопоставляется *Art.#* как *индивидуализирующий/генерализирующий*. Оба они описываются признаком *неидентификации* и противопоставляются *Art.d.* как носителю признака *идентификации*. Эта классификация кажется разумной. К сожалению, свобода употребления нгр. артиклей (в частности, случаи немотивированного чередования *Art.d.* и *Art.#*, см. далее) затрудняют ее универсальное применение.

inslav

[7] Например, ἕνας σύγχρονός [του] 'один его современник', τελείωνε τὴ [φράση της] μὲ ἕνα «ἀλλά» 'она кончила свою фразу одним «но»' и т.д.

[8] Широкие возможности нгр. артикля как субстантиватора, очевидно, вытекают из его препозитивности: при субстантивации не требуется переоформления конца слова, как в других балканских языках, где артикль постпозитивен. С другой стороны, это еще раз свидетельствует о некоторой нечеткости морфологической классификации классов слов в нгр., об ослаблении оппозиции *имя/не-имя* (или, уже, *имя/глагол*), о тенденции к разрешению этой оппозиции не на морфологическом, а на синтаксическом уровне. См., с другой стороны, препозитивное слияние *Art.d.* со словом в формах начинающихся с [*t-*] — τἄλογο, τὄνομα, τὄρφανο, τἄστρο τούρανοῦ, 'небесная звезда' (ср. слияние местоименных проклитик, начинающихся с [*t-*] и омонимичных артиклю, с глаголом — τὄβαλα, τὄβλεπα и т.д.), аналогичное постпозитивному слиянию артикля в других балканских языках.

[9] Подобные разделы, посвященные артиклю как показателю класса слов, см. прежде всего в работах: *Τριανταφυλλίδης Μ.* Νεοελληνικὴ γραμματική (τῆς δημοτικῆς). Ἀθήνα, 1941; *Τζαρτζάνος Ἀ.* Νεοελληνικὴ Σύνταξις, I. Ἀθήνα, 1946, см. также специально: *Mirambel A.* Remarques de syntaxe néogrecque: l'emploi de l'article défini // BSL. 1939. T. 40. N 1—2; *Idem.* Morphologie et rôle fonctionnel de l'article dans les parlers néohelléniques // BSL. 1955. T. 51. N 1; *Idem.* The Expression of the «Determinate» Aspect im Modern Greek // The Link. 1938—1939. N 1, 2. См. у него же перечисление основных сочетаний *Subst.* + *Art.* с попыткой формально семантической классификации; La langue grecque moderne. Description et analyse. Paris, 1959. P. 192—195.

[10] См. преимущественную роль *Art.d.n. Sing.* и реже *n.Pl.* при субстантивации *Adj.* во-первых, и при оформлении заимствований, во-вторых, (τὸ ἀντάντε, τὸ ραντεβοῦ и под.).

[11] Ср. также субстантивацию *Adv.* в сочетании с *Praep.* ὡς: ὡς τὰ χτές 'до вчерашнего', ὡς τὰ τώρα 'до теперешнего' и т.д.

[12] Субститутами *Art.* в субстантивирующей функции могут быть некоторые местоимения, обычно неопределенные, в конструкции с Adj., например, κάποιο κακό 'что-то плохое', 'какое-то зло', κάτι μολυβένιο 'что-то свинцовое' и т.п., ср. κάτι τὸ ἄγριο 'что-то дикое', κάτι τὸ σκληρό 'что-то жесткое' и др.

[13] *Бенвенист Э.* Относительное предложение как проблема общего синтаксиса // Бенвенист Э. Общая лингвистика . М., 1971.

[14] См.: *Τζαρτζάνος Ἀ.* Указ. соч. стр. 136—137. О тенденции к постоянному сопровождению глагола местоименным объектом, т.е. о явлении, сходном с объектным спряжением, см., в частности: *Swanson D.S.* Vocabulary of Modern Spoken Greek. Minneapolis, 1959. P. 49. — Отчасти здесь можно предполагать использование местоименной клитики в качестве формального показателя переходности при глаголе, если считать, что категория *переходности/непереходности* тяготеет к превращению из лексико-синтаксической в чисто грамматическую. Эта точка зрения высказана Г.А. Цыхуном в применении к балкано-славянским языкам: *Цыхун Т.А.* Синтаксис местоименных клитик в южнославянских языках. Минск, 1968. С. 113—120.

inslav

[15] См. об этом специально: *Mihevc-Gabrovec E.* L'emploi pléonastique du pronom possessif en grec // Živa antika. 1964. XIII – XIV. Ср. примеры типа κάνω τὸ σταυρό μου 'крещусь, досл. делаю мой крест', νὰ παραμερίσης λιγάκι ἀπὸ τὸν ἥλιο μου 'посторонись немного от моего солнца' и т.д.

[16] О характеристике речевого ритма балканских языков, в частности, в связи с использованием артикля как Signalmittel, см.: *Reichenkron G.* Die Bedeutung des Griechischen für die Entstehung des balkansprachlichen Typus // Beiträge zur Südosteuropa-Forschung. München, 1966, P. 10 – 11.

[17] В. Дресслер справедливо указывает, что как графическая разница του и τοῦ, τους и τούς и т.д., так и фонетическая (что показано экспериментально), условны, и в этом смысле разные формы местоименных клитик (можно добавить – и артикля) полностью омонимичны; *Dressler W.* Vom altgriechischen zum neugieschischen System der Personalpronomina // IF. 1966. LXXI. № 1/2. P. 43 – см.: λογοπαίγνια 'игру слов', основанную, в частности, на омонимии артикля и местоимения в форме τό: ὁ ἄντρας μου τὸ ζώ...τὸ ζώνει το σπαθί 'мой муж – животное (τὸ ζώ)... мой муж его надевает (опоясывает) меч' (τὸ ζώνει).

[18] Характерно, что все служебные элементы А. Дзардзанос объединяет под названием «Μόρια» – «Частицы», давая подробную классификацию их на более продвинутом уровне.

[19] См. также субституцию артикля местоимением: κάποιο γύρω καράβι 'какой-нибудь (находящийся) около корабль'.

[20] О том, что в нгр. различия классов слов реализуются прежде всего на синтаксическом уровне, неоднократно писали (см. работы А. Мирамбеля, Э. Михевц-Габровец). Об аналогичном подходе к балканским языкам вообще, в аспекте БЯС, см.: *Kurzová H.* Strukturell-typologische Charakteristik der Balkansprachen // БЕ. XVII. 1. 1973. P. 42.

[21] A. Mirambel отводит артиклю основную роль в синтаксическом членении номинальной фразы, считая, что именно возможность смыслоразличительного использования артикля привела к ее широкому развитию в современном языке: *Mirambel A.* Syntaxe néohellénique et structure de la langue // Mélanges Henri Grégoire. Bruxelles, 1955. P. 480.

[22] Функции балканского артикля как показателя граммем рода, числа и падежа были рассмотрены автором в другом месте. Они принадлежат морфологическому, т.е. в данном случае иерархически более низкому уровню, и здесь не анализируются.

[23] Отделение формально-грамматических от прочих употреблений артикля кажется целесообразным среди прочего и для целей обучения системе артикля в широком плане. Сфера фиксированных и формально обусловленных употреблений артикля представляет собой как бы некое ядро, основу,на которой можно надстраивать и укреплять более сложные и неявно мотивированные конструкции с артиклем.

[24] А. Тумб указывает, что с *Art.d.* постоянно употребляются личные имена, топонимы, названия месяцев и дней недели: *Thumb A.* Grammatik der neugriechischen Volkssprache. Berlin; Leipzig, 1915. P. 18; А. Мирамбель называет личные имена, топонимы, названия народов. *Mirambel A.* L'emploi... P. 65.

inslav

[25] См.: например: δὲν εἶχε Γερμάνους στὸ χωριό 'немцев не было в деревне', πρὶν 'απὸ τὴν Πρωτοχρονιά 'до Нового года' и ἐμεῖς ... δὲ γνωρίσαμε Χριστούγεννα καὶ Πρωτοχρονιές 'мы... не знали Рождества и Нового года', ὁ Φλεβάρης ὁ κουτσός 'Февраль хромой' и Μάρτης γδάρτης 'Март живодер', ἤτανε 'Οχτώβρης μήνας 'был октябрь месяц' и т.д.

[26] В ряде нгр. диалектов (М. Азия), напротив, Art.d. не употребляется при Subst. propr., см.: *Mirambel A.* Morphologie et rôle fonctionnel... P. 74.

[27] О сочетании Art.d. с Pron. см., в частности: *Householder F.W., Kazasis K., Koutsoudas A.* Reference Grammar of Literary Dhimotiki // IJAL. 30. 1964. № 2. P. 30—33.

[28] В данном случае целесообразно рассматривать *Art.* # как материальную реальность, поскольку он может быть показателем определенного вида местоимений и находиться в оппозиции с Art.d.

[29] Исключаются из рассмотрения случаи субстантивации местоимения с помощью артикля.

[30] Среди прочего см. по этому поводу специальную работу А. Мирамбеля: *Mirambel A.* Remarques sur l'expression de la «personne» en grec moderne // Journal de psychologie normale et pathologique. IV. 1947. Nr. 1, а также: *Pernot H.* Grec moderne *tou logou sou* // Neophilologus. VIII. 1922.

[31] Поэтому отношение *Art.ind.* → *Art.d.* можно уподобить отношению антецедентный терм → (относительное) местоимение. См. прежде всего: *Падучева Е.В.* О семантике синтаксиса. М., 1974. Гл. XII: «Трансформационный анализ местоимений», откуда здесь заимствованы соответствующие определения. В более широком плане введение объекта с помощью *Art.ind.* и последующие преобразования можно рассматривать в рамках анафорических связей, см.: *Падучева Е.В.* Анафорические связи и глубинная структура текста // Проблемы грамматического моделирования. М., 1973. Сходные проблемы (способы синтагматической субституции) см.: *Harweg R.* Pronomina und Textkonstitution. München, 1968.

[32] *Падучева Е.В.* О структуре абзаца // Труды по знаковым системам. II. Тарту, 1965.

[33] Вместо voc. может использоваться форма nom., или они могут чередоваться: Γειά σας, χαρά σας, μάστοροι (voc.), καὶ σεῖς, οἱ μαθητάδες (nom.) 'Здравствуйте, привет вам, мастера,и вам, подмастерья'. В определенных случаях (см. далее, в связи с Pron. poss.) происходит нейтрализация форм voc. и nom.

[34] Ср. пример художественного текста (*Γιάννης Ψυχάρης*. Τὰ παλικάρια στὸ περιγιάλι), где подчеркнуты грамматические употребления артикля: 'Εμεῖς, **οἱ** Ρωμιοὶ μαλλώνουμε συχν'ὰ μεταξύ μας. Μάλιστα **στὴ** Χιὸ εἶναι πατροπαράδοτο, ἀντὶς νὰ πολεμοῦνε **τὸν** Τοῦρκο, νὰ πιάνονται **οἱ** Ρωμιοί **ὁ** ἕνας μὲ **τὸν** ἄλλονε. Γιὰ τοῦτο – θύμωσα καὶ γώ καὶ τδβαλα στὸ βιβλίο μυ. 'Αγάπη καὶ μίσος ζοῦνε πλάγι πλάγι **στὴ** καρδιά μας. Μὲ **τὴν** ἴδια δυνάμη μισοῦμε καὶ'αγαπού με, καὶ κάποτες ἀπὸ **τὴν** μιὰ ὥρα **στὴν** ἄλλη ἀγαποῦμε ἢ μισοῦμε. 'Εμεῖς, **οἱ** Ρωμιοὶ ἔχουμε καὶ κάτι ἄλλο; ξέρουμε τί μᾶς λείπει καὶ κάνουμε πῶς δὲν τὸ βλέπουμε. **Τά** ψεγαδάκια μας τὰ γνωρίζουμε. Γιὰ τοῦτο καὶ γὼ δὲν εἶπα τδνομα τοῦ 'αφιλόξενου τοῦ χωριοῦ. 'Μы, греки, часто ссоримся между собой. Осо-

inslav

бенно на Хиосе это традиционно, вместо того, чтобы воевать с турками, грекам схватываться друг с другом. Поэтому рассердился и я и поместил это в свою книгу. Любовь и ненависть живут бок о бок в нашем сердце. С одинаковой силой мы любим и ненавидим, и часто от часа к часу мы то любим, то ненавидим. У нас, греков, есть и нечто другое: мы знаем, чего нам не хватает, но делаем вид, что этого не видим. Недостатки свои знаем ... Поэтому я не назвал имени негостеприимной деревни'. — Ср., с другой стороны, стихотворение (Δ. Σολωμός. Γαλήνη.), где нет ни одного грамматического употребления артикля:

Δὲν ἀκούεται οὔτ ἕνα κύμα	'Не слышно ни одной волны
Εἰς τὴν ἔρμι ἀκρογιαλιά	на пустынном берегу
Λές καὶ ἡ θαλασσα κοιμάται	Как будто море спит
Μὲς τῆς γῆς τὴν ἀγκαλιά.	В объятиях земли'.

Поэтические, в частности фольклорные, тексты содержат интересные данные об использовании артикля в качестве стилистического, ритмического и т.д. средства (ср. тексты с плеонастическим употреблением артикля, почти безартиклевые, наконец, с «непоследовательными» разными артиклями в одной позиции и т.п.).

[35] См. также: μιὰ τουφεκιὰ τόπο 'ein Büchsenschuß Land', ἕνα πλῆθος ἀνθρώπους 'eine Anzahl Menschen'; *Schwyzer E.* Neugriechische Syntax und altgriechische // Neue Jahrbüch. f.d. klassische Altertum. XI. 1908. S. 507.

[36] Возможность употребления *Art.d.* при *Subst.* в предикативной функции отмечается в грамматиках специально как особенность нгр. синтаксиса.

[37] О чередовании артиклей при acc. duplex см., в частности: *Soyter G.* Grammatik und Lesebuch der neugriechischen Volks- und Schriftssprache. Wiesbaden, 1958. P. 92.

[38] На это обратил внимание, в частности, Г.Рейхенкрон. Небезынтересна актуальная связь предлогов в балканских языках с местоимениями: возникновение предлогов, из местоименных наречий, см., *Kopečný F.* O homonymii pronominálnich adverbií a předložek// Studia balkanica bohemoslovaca. Brno, 1970.

[39] А. Мирамбель неоднократно писал о тяготении нгр. языка к номинальной фразе, где артикль играет смыслоразличительную роль. Помимо грамматических очерков нгр. языка с многочисленными примерами см. также: *Mirambel A.* Expression littéraire et caractères spécifiques du grec moderne // Revue de l'École nationale des langues orientales. 1969. V. 5. P. 147.

[40] Предполагается, что сюда входят не только «сказовые» зачины — жил-был один царь..., царь был..., но и другие способы введения антецедента: τὸ θέμα μιᾶς παρακμασμένης αὐτοκρατορίας 'тема приходящей в упадок империи', γύρευα νὰ βρῶ ἕναν ἄνθρωπο, νὰ τοῦ ἀνοίξω τὴν καρδιά μου, νὰ τοῦ πῶ τὸν πόνο μόν 'я хотела найти человека, чтобы открыть ему свое сердце, чтобы рассказать ему свое горе', ἡ σιωπή, μιὰ σιωὴ ποὺ σφίγγει τὴν καρδιά 'молчание, молчание, которое сжимает сердце' и др.

[41] Сходная мысль содержится в статье Х. Гальтона: (*Galton H.* On the function of the definite article in some indo-european languages // Folia linguistica. 1969. V. N 1—2. — Разбирая распределение артикля при

inslav

Subst. propr. в частности, в балканских языках, автор приходит к выводу, что грамматическое выражение сферы онтологической определенности может использовать эффект намеренного отклонения от немаркированного правила (см. с. 154).

[42] Ср. редактуру артиклей в тексте. Варианты редакторов (или разных носителей языка), совпадая в основном объеме, тем не менее обнаруживают и различия. Специфика артикля позволяет думать, что таким образом, в частности, выделяется область разрешенной вариативности и проявления индивидуального в построении текста.

1976

inslav

ПЕРФЕКТ I, ПЕРФЕКТ II И КАТЕГОРИЯ ПЕРЕСКАЗЫВАНИЯ В МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКЕ

К постановке проблемы

Анализ *категории пересказывания* (КП)[1] стал в последнее время одной из наиболее актуальных (если не модных) тем лингвистической балканистики, и не только балканистики. Рассматриваемая под самыми разными углами зрения (генезис, типология, семантика, способы выражения, статистика и т.п.)[2] КП на каждом витке исследования ставит новые проблемы. В отношении македонского языка эта тема представляет особый интерес, по крайней мере в двух аспектах[3]. Во-первых, sub specie балканского языкового союза, поскольку КП, объединяющая албанский, болгарский и македонский языки, с достаточным основанием причисляется к балканизмам (или, по крайней мере, к проявлениям действия балканистических процессов); во-вторых, sub specie общей теории языка.

Сейчас, как будто, не возникает сомнения в происхождении или хотя бы связи форм КП с формами аналитического перфекта (глагол-связка — претер. причастие). Этот факт столь явен, что он не может не вызвать размышлений по поводу того, почему же именно перфект? Для грамматической системы БЯС, где перфект проходит по всем языкам, а КП только по трем, названным выше, этот вопрос весьма существен. Итак, что же в семантике перфекта (в данном случае — и.-е. перфекта или по крайней мере его преемников) способствует развитию КП, т.е. актуализации таких речевых ситуаций, в которых автор высказывания не только осознанно, но (как показывает статистика употреблений КП) в общем по своему выбору, по своему произволу определяет свое положение по оппозиции *внутренний/внешний*, т.е. ставит себя *внутрь* или *вне* описываемой им ситуации[4]. Так в самом общем виде может быть сформулирована суть "сообщения о сообщении", лежащая в основе КП (и к которой уже потом присоединяются различные смысловые оттенки, которые условно можно назвать модальными).

inslav

Значения, соотносимые с КП, отмечались для и.-е. перфекта не раз[5]. Уже в сравнительно небольшом списке древнейших форм простого и.-е. перфекта выделяется семантическая группа, связанная со способом получения знания, ср. особенно "очевидное" знание: др.-инд. *vēda*. др.-греч. οἶδα, др.-англ. *wāt*, гот. *wait*, слав, *vědě* и др. "знаю (так как я видел)", в противоположность гот. *lais* "я знаю (так как я узнал)"[6].

Связь с именем, постулируемая для и.-е. простого перфекта, прослеживается и в более позднем, аналитическом перфекте, который в определенном смысле может быть представлен как именная конструкция (т.е. нечто вроде составного именного сказуемого). Сославшись на Бенвениста[7], подчеркнем содержательную, значимость вспомогательных глаголов (*иметь* = обладание[8], *быть* = состояние), уводящее связку от функции простого шифтера. С другой стороны, глагол-связка легко опускается, давая возможность развитию конструкций с причастным абсолютивом.

Если говорить о категориальном значении перфекта, то наложение временны́х параметров на исходно ему присущее "обозначение состояния" вызвало как бы растянутость по временно́й оси: перфект стал обозначать действие, совершенное в прошлом и сохраняющее актуальность (результат) в момент речи, т.е. нейтрализующее оппозицию *прошлое/настоящее*. Неприуроченность к определенной временно́й точке или к ограниченному временно́му отрезку дала основание видеть в перфекте своего рода "*не-опреде́л*-енность" (в этимологическом смысле, т.е. отсутствие предела), sc. *неопределённость*. Действительно, оппозиция *определенность/неопределенность* нашла место в описании глагольной системы болгарского, македонского, в какой-то степени сербско-хорватского языков[9] (как и тюркских, послуживших по меньшей мере актуализатором для проявления КП в балканских). В системе претеритных времен указанных языков *неопределенность* приписывается перфекту и плюсквамперфекту, а *определенность* — аористу и имперфекту. Представляется, что в данном случае эта оппозиция выходит за пределы чисто временно́го значения (*ограниченность/неограниченность*), но распространяется на более широкий круг понятий, сопоставляемых с этой оппозицией уже в рамках и именного дейксиса, и дейксиса вообще, когда *неопределенность* может связываться с чем-то более отдаленным, лежащим в о / в н е, т.е. в конце концов перекликаться с оппозицией *внутренний/внешний*[10].

inslav

Возможно, именно ощущение этой неопределенности, амбивалентности в значении перфекта легло в основу достаточно решительно сформулированной в последнее время мысли о том, что в перфекте изначально заключена гипотетичность, или недостоверность, незасвидетельствованность: "Эта особенность перфектных образований (выражать первоначально состояние как результат прошедшего действия — *Т.Ц.*) объясняет и семантику гипотетичности, имплицитно содержащуюся в глагольных формах перфекта. Поскольку действие произошло в прошлом, а автор коммуникации (1-е лицо) является лишь свидетелем состояния как результата этого действия, это последнее воспринимается им как акт, совершенный вне его присутствия, как некоторое гипотетическое событие, о котором он судит только по результатам этого действия"[11]. Эта "гипотетичность" перфекта и может, как представляется, включаться в понятие неопределенного дейксиса: перфекту потенциально приписывается признак "нечто", семантически тождественный неопределенному артиклю, неопределенному местоимению и под.

Это свойство перфекта, как представляется, и определяет его выбор в качестве наиболее эффективного средства для передачи столь специфической информации, как "сообщение о сообщении", во всяком случае для БЯС, где особенности контактирования языков определили не только чисто лингвистические процессы, но и оказали воздействие на менталитет носителей (что дает возможность говорить о "балканской модели мира"). Здесь, как уже говорилось, оппозиция *внутренний/внешний* маркирована, так сказать, по преимуществу.

В аспекте БЯС македонский язык представляет собой, пожалуй, самый чистый случай "высветления" в перфекте значения КП. В синтетических формах албанского адмиратива (*punuákat, punuakësha*) надо "опознать" инвертированный перфект (*kat punuar*). В болгарском, где в грамматиках постулирована парадигма КП, полностью симметричная всем другим глагольным парадигмам, перфект в чистом виде "пересказывает" настоящее время, аорист и имперфект, но не может "пересказывать сам себя"; прочие формы в парадигме КП образуются за счет усложнения, иногда почти предельного, исходной формы, правда, "в сторону перфекта".

В македонском вся парадигма КП умещается в выражении (*ќе, да*) *сум*(*на*)*прав-ел/ил* (в 3-м лице без глагола-связки; вопрос о противопоставлении форм КП и собственно перфектных форм в связи с видом причастия здесь не рассматривается)[12].

inslav

Обращает на себя внимание экономность на уровне выражения; высокая степень нейтрализации по ряду оппозиций: *временна́я* (настоящее/прошедшее), *определенность/неопределенность* (аорист, имперфект/перфект); отчасти *модальность* (кондиц. реалис/ирреалис). Но основным представляется все-таки то, что македонский перфект "пересказывает сам себя". Эта особенность создает "ощущение присутствия" КП в любом употреблении перфекта, актуализацию в его значении неопределенности (в грамматическом смысле), которая уводит его от сугубо временно́го значения и придает то значение, которое нередко формулируется как неуверенность говорящего в достоверности сообщения, а на глубинном уровне может быть соотнесено с его позицией по отношению к сообщению, т. е., в конце концов, с оппозицией *внутренний/внешний*[13]. Если идти по пути этих рассуждений, то логически должен возникнуть вопрос о соотношении временно́го и вневременно́го аспекта в македонском перфекте[14]. Пока же можно сказать, что в рамках грамматической системы БЯС македонский язык особым образом актуализировал в перфекте значение КП; он оказался как бы более проницаемым по отношению к КП, что, может быть, допустимо связывать с особенностями выражения категории дейксиса в македонском вообще, о чем в другом месте.

Но речь шла пока только о перфекте I: *сум* + *л*-причастие.

Когда мы переходим к перфекту II, *имам* + *н/т*-причастие, то сталкиваемся с совершенно другой картиной: п е р ф е к т II н е с в я з а н с КП. Это выступает особенно очевидно, когда мы обращаемся к диалектам, из которых он иррадиировал в литературный язык: там, где перфект I вытеснен перфектом II[15]; КП может вообще отсутствовать[16]. Что же касается литературного языка, где пересказывательность, по определению, категориальна, то перфект II попадает в список тех глагольных парадигм, которые нуждаются в пересказе, т.е. имеют особые формы на базе перфекта (и, как теперь следует уточнить, на базе перфекта I). В результате контаминирования обоих перфектов получается как бы "перфект в квадрате": (*ќе, да*) *сум имал правено/направено* (в 3-м лице соответственно нагнетание причастий — *имал правено/направено*)[17].

Обычно считается, что перфект I и перфект II практически синонимичны. При этом, очевидно, имеется в виду исключительно временной план. Однако разное отношение, более того, противопоставленность обеих форм по отношению к КП заставляет предполагать в их семантике какое-то основоположное различие. Только что убедившись в том, что перфект исходно

inslav

является несвидетельской формой по преимуществу, мы сталкиваемся с перфектом, в котором значение КП по меньшей мере не присутствует. Если идти дальше по пути формальной логики, то придется предположить, что этот перфект должен быть свидетельским[18] и следовательно пересмотреть его место в оппозиции *определенность/неопределенность*.

Если вернуться к семантике и.-е. перфекта, то ключ к контрасту можно видеть в ее изначальной амбивалентности: "свидетельское" значение может быть выведено из нее с неменьшим основанием, — как это и делает Бенвенист, анализируя соотношение прошедших времен во французском глаголе. Значение аориста (passé simple) и перфекта (passé composé) интерпретируется им "с точностью до наоборот"[19]: перфект, который является "временем и вместе с тем чем-то иным, чем время"[20] и обладает значением результативности, устанавливает тем самым непосредственную связь между событием в прошлом и настоящим моментом: "пользующийся перфектом тем самым передает факты как свидетель, как участник"[21]. В своем "хронотопическом" развитии перфект, следовательно, приобрел по меньшей мере два противопоставленных смысла в соответствии с оппозицией *внутренний/внешний*, в его семантике оказавшейся непривативной (но не нейтрализованной)[22].

Тогда можно предположить существование языковых семей, сообществ, ареалов, в которых оппозиция аорист/перфект трактуется по отношению к КП, *определенности/неопределенности* и т.п. противоположным образом[23]. Возможно, выведенное Бенвенистом соотношение действительно не только для французского, но и шире, например для ряда языков в кругу БЯС, в частности для румынского и арумынского и новогреческого (предполагаемых источников-катализаторов македонского перфекта II), где КП как таковой нет[24]. Тогда противопоставление перфекта I и перфекта II в македонском по наличию /отсутствию семантики КП допустимо трактовать как результат разного развития и.-е. перфекта.

Сочетание двух этих противопоставленных форм в одном языке, на столь ограниченном лингвистическом пространстве — явление само по себе чрезвычайно интересное, в том числе в аспекте философии языка и его эстетики. Нельзя не видеть в этом и отражения балканистических процессов в современном понимании термина: легкая проницаемость грамматической системы языка в ситуации контактов; динамичная фиксация соответствующих результатов в литературном языке;

inslav

изобретательная компенсация семантической лакуны (отсутствие значения КП в перфекте II — его "подтягивание" под КП с помощью перфекта I). Главный же вывод из сосуществования этих двух форм, одновременно и синонимичных и противопоставленных, — подтверждение той амбивалентности, стремления уйти от однозначного решения, которые в системе БЯС проявляются с твердой последовательностью и отнюдь не амбивалентно.

[1] КП понимается здесь в рамках предложенной Якобсоном категории evidential, содержащей указание на источник сведений о сообщаемом факте (в оппозиции *я/не я*), см.: *Jakobson R.* Shifters, verbal categories and the Russian verb. Harvard University Press, 1957.

[2] Весьма ограниченный в начале, сейчас список языков с грамматическим выражением КП значительно возрос, от индейских до палеоазиатских, см.: *Куцаров Н.* Преизказването в българския език. София, 1984. С. 75—79.

[3] Анализ КП в македонском см. прежде всего в работах Р.П. Усиковой, В. Фридмана, З.К. Шановой и др.

[4] См.: *Цивьян Т.В.* О некоторых способах отражения в языке оппозиции внутренний/внешний. Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.

[5] См. уже: *Lohmann J.* Ist das idg. Perfektum Nominalen Ursprung? I. Zur Semasiologie des Perfekt-Ausdrucks // KZ 64. 1937. Hf. 1—2.

[6] См.: *Бенвенист Э.* О некоторых формах развития индоевропейского перфекта // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 145.

[7] *Benveniste E.* Les transformations des catégories linguistiques // Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. P., 1974. V. 2.

[8] Конструкции с *има* весьма актуальны для македонского, см. их трактовку в специальном разделе. II научна дискусија (Охрид 19—21 август 1975). Скопје, 1983.

[9] *Simić R.* Das Serbokroatische zwischen den balkanslavischen Sprachen und den übrigen Slavinen // Ztschr. f. Balkan., XVIII/1. 1982. S. 77.

[10] В. Фридман связывает *определенность/неопределенность* с КП, см.: *Фридман В.* Адмиративност во балканските јазици: категорија против употреба // Мак. јазик. 1980. С. 22 сл. *Он же.* Admirativity in Bulgarian compared with Albanian and Turkish // Bulgaria. Past & Present. Sofia, 1982. С. 66.

[11] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I. Тбилиси, 1984. С. 338.

[12] *Усикова Р.П.* Македонский язык. Скопје, 1985. С. 106.

[13] Это значение отмечает и Н. Рейтер в говоре Титова Велеса: *Reiter N.* Der Dialekt von Titov-Veles. Berlin, 1964. P. 136.

[14] Подробно об этом см.: *Конески Б.* Граматика на македонскиот литературен јазик II. Скопје, 1967. §§ 393—418, особенно 403.

[15] *Конески Б.* Историја на македонскиот јазик. Скопје, 1986. § 212 — конструкции, свойственные западным и юго-западным говорам (леринский, костурский, корчанский; говоры Сухо и Высока).

inslav

[16] Там же, § 187: некоторые костурские говоры, говор Бобоштицы.

[17] Формы, засвидетельствованные уже у Шапкарева (*на чешмата имало йишано* (Кукушко); *на едно место имале посадено сол* (Дебарско), см.: *Паноска Р.* Глаголските конструкции со "има", "нема" во македонската уметничка литература // II научна дискусија... С. 80.

[18] См. об этом в частности: *Илиевски П.* Појава на описен перфект со "имам" во грчкиот и во латинскиот јазик // II научна дискусија...". С. 22. — Эту же разницу в употреблении перфекта I и II отмечает Рейтер для говора Титова Велеса (Указ. соч., 137), ср. еще: *Foulon J.* L'évolution des modes en macédonien // Cahiers balkaniques. 1985. N 7. P. 162; *Паноска Р.* Граматичка синонимија во македонскиот јазик // Предавања на XVIII семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1986. С. 51—52.

[19] *Бенвенист Э.* Отношения времени во французском глаголе // Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 279, 280. — Ср. в последнее время для балканских языков: *Savić D.* Moyens d'exprimer le temps passé dans le style scientifique des langues des peuples balkaniques // Zbornik u čast Petru Skoku, Zagreb, 1985. С. 449—460.

[20] Ср.: ,"Мојата основна теза е дека резултативност + посесивност = перфект" — *Голомб З.* Конструкциите со "има" и глаголска јридавка во македонскиот и во влашкиот јазик // II научна дискусија... С. 9.

[21] К перфекту типа *habeo* + Part, ср.: "...les verbes "comprendre, découvrir, remarquer, voir" ... sont les premiers où la périphrase *habere* + participe se réalise" — *Benveniste E.* Op. cit. P. 129.

[22] Можно думать, что речь идет вообще об особом классе явлений, являющихся амбивалентными принципиально. Так, понятие *предела* уже содержит в себе возможность выхода за предел, а *неопределенность* означает не вне-предельность, а за-предельность, т.е. снова напоминает о *пределе* (ср.: *а-орист* 'неопределенный' означает *определенное* время; к этому, кстати, сочетание полярных значений в рус. *определенный*, фр. *certain* и под.).

[23] Ср. об употреблении простого и сложного перфекта в румынском: "in literatură, perfectul simplu se întrebuinţează numai în naraţiuni; în dialog, pentru a evoca conversaţia, se foloseşte perfectul compus" (Gramatica limbii române, I. Bucureşti, 1966. P. 239). С другой стороны, Т. Папахаджи противопоставляет простой и сложный перфект в арумынском по оппозиции *определенность/неопределенность* (*avúti/am avútă*): *Papahagi T.* Dicţionarul dialectului aromîn. Bucureşti, 1963. P. 22. — А. Черняк предполагает, что КП в албанском и болгарском первоначально "по-видимому, наслоилась на эмфазовую инверсию романского происхождения" (имеется в виду инверсия связки и причастия в формах аналитического перфекта. — *Т.Ц.*), см.: *Черняк А.Б.* Аналитическое прошедшее в балканороманском // Językowe studia bałkanistyczne, I, Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1986. P. 66. Вообще взаимное соотношение и конкуренция простых и сложных прошедших времен в современных балканских языках и диалектах — особый вопрос, который в последнее время предлагается анализировать в аспекте БЯС, см.: *Asenova P.* Sur le statut des balkanismes syntactiques // Linguistique balkanique, XXIII. 1980. 1. P. 15—16; *Она же.* За мястото на българския език между балканските езици // Сопоставително езикознание. VI. 1981. № 3—5. P. 48.

inslav

Соотношению употреблений (sc. значений) аориста и перфекта в балканских языках посвящен специальный выпуск "Cahiers balkaniques" (1982. N 3). Предположение о мене ролей в оппозиции аорист/перфект эксплицитно не подтверждено (при том, что авторы, как правило, учитывают упомянутую работу Бенвениста), но, как представляется, в его пользу могут быть приведены следующие замечания об оттенках значений этих времен: 1) для румынского — "Il faut toutefois remarquer, avec Alexandru Georgescu, que l'on rencontre peu de verbes au passé simple dans les dialogues des textes dialectaux... En revanche, le passé simple est fréquemment employé dans la poésie populaire" (*Mathieu J.-D.* L'Opposition. Passé simple/Passé composé en Roumain, 214); 2) для новогреческого — "...nous avons découvert dans la presse quotidienne que les politiciens, surtout quand il s'agit d'une campagne électorale ou des déclarations du gouvernement, apprécient énormement le parfait qui rend la stabilité et la crédibilité souhaitées à leurs discours" (*Simonidou-Christidou A.-N.* Oppositions temporelles entre Aoriste et Parfait en grec moderne (démotique). P, 135.

[24] Ср.: «Во битолскиот градски говор, повлијан од говорот на влашкото население, се "греши" во тоа што се употребува аористот и имперфектот во контексти што изискуваат перфект за прекажани дејства» (*Конески Б.* Историја на македонскиот јазик. Р. 174—175).

1986

inslav

КАТЕГОРИЯ ДИМИНУТИВНОСТИ В СТРУКТУРЕ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЭТНОЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА

Здесь предполагается рассмотреть категорию диминутивности в проекции на грамматическую систему языка — прежде всего. Диминутивность анализируется обычно на уровне речи, связывается с экспрессивностью, приписывается специфическим типам дискурса и в этом своем качестве достаточно легко и естественно транспонируется на этноязыковой и этнокультурный уровень. Далее она связывается с коммуникативными процессами, с поведенческими стратегиями и, в конце концов, устремляется за пределы языка — к модели мира, более конкретно, — к поведенческому сценарию с закрепленными ролями. Наша цель: вернуть категорию диминутивности языку как таковому; ввести ее в грамматику в несколько ином плане, не только в связи со словообразованием и семантикой; расстаться с дискурсом, мощной подпоркой для определения ролей, — чтобы потом вернуться к нему и к тому же самому сценарию, но уже на другом уровне и с другой степенью абстрактности.

Зазор между универсальной competence и индивидуальной performance определяет своеобразие каждого конкретного языка — это общее место. Нередко появляется соблазн рассматривать performance, минуя формально-грамматические структуры, с преждевременным креном в сторону социо-, психо-, этно- и т.п. лингвистики (вплоть до страноведения или риторики — анализа тропов). Никак не опровергая продуктивность привлечения этих лингвистических дисциплин и этих аспектов, мы предостерегаем лишь от недостаточного внимания к анализу на уровне языка.

Язык, эта сложнейшая, самонастраивающаяся знаковая система, является единственным кодом ММ, способным описать (перекодировать) любую ситуацию: и внеположную языку, и внутриязыковую (автометаописание). Строго в рамках системы языка = языкового кода ММ мы намерены анализировать

inslav

и категорию диминутивности. В основу анализа положены основные семиотические оппозиции, описывающие архетипическую ММ. Точкой отсчета выбраны пространственные (в меньшей степени — временны́е) критерии. Выбор объясняется той особой ролью пространства/места и времени, которая отпечаталась в языке, уникальном и наиболее надежном хранилище информации о мире и о человеке.

Категория *пространства* рассматривается здесь в концептуальном, семиотическом (в частности, метафорическом) и, the last not the least, во вполне реальном смысле. Пространство начинается с определения позиции наблюдателя: для автора это взгляд со стороны, *извне*. При всей опасности *внешней* трактовки явлений вообще и не родного языка особенно, она заключает в себе и преимущества — *чужое зеркало* выхватывает те черты, которые *свой* глаз привычно не замечает. В этом случае столкновение разных взглядов, несогласие или даже конфликт могут оказаться перспективными и привести к плодотворному компромиссу.

В *семиотическом пространстве* явления и свойства языка классифицируются по признакам *центр/периферия, вертикаль/горизонталь, близкий/далекий, внутренний/внешний, открытый/закрытый* и т.д., иными словами, по универсальным пространственным оппозициям (естественно, с выходом за пределы бинаризма); снабженные весами (= экстенсионалами), они формируют своего рода карту или матрицу языка.

Реальное пространство актуализируется тогда, когда возникает необходимость определить *место* в буквальном смысле слова, будь то место действия, место(нахождение) субъекта, место(нахождение) объекта (о связи-тождестве *человек-место* написано достаточно). Только самый верхний и тонкий слой описания реального пространства обеспечивается лексическим уровнем, даже когда соответствующие лексемы организованы в классы (своего рода figura etymologica: обозначение *места* (в)*место*имениями): оно отдано наиболее сложным и абстрактным грамматическим категориям.

Андре Мирамбель, для которого были важны не только описание и анализ новогреческого языка но и создание его *образа*, писал:

> Что особенно поражает в [новогреческом] языке, так это богатство суффиксации. Суффиксы не только обильны и разнообразны по значению, но они еще и с большой легкостью приклеиваются к словам [Mirambel 1959, 356].

inslav

Добавим, что суффиксы приклеиваются не только "к словам" (*aux mots*), но и друг к другу, в том числе и дублируя друг друга. Так, во всяком случае, ведут себя диминутивные суффиксы, набор которых весьма обширен и разнообразен[1], и сочетаются они практически с любыми разрядами слов — имена, местоимения, глаголы, наречия, см. примеры в [Τριανταφυλλίδης 1963].

Для существительных М. Триандафиллидис называет следующие ("наиболее распространенные"): *-άκι, -άκης, άκος-, -ίτσα, -ούδα/-ούδι, -ούλα, -ούλης, -ούλι.* К более редким он относит -αράκι,-αράκος,-έλι,-ίκα, -άκας, -όκας, -τζίκος, -άριο, -ίδιο, -ίσκος [Τριανταφυλλίδης 1941, 123—124]. Г. Коринтиос включает еще суф. *-ι, -ίδα* [Korintthios 1991, 200][2]. Особняком стоит суф. *-όπουλο, -οπούλα*, в котором первое значение — патронимическое; о связи его с диминутивностью см. ниже. Кумуляция суффиксов — средство для повышения степени диминутивности, когда к одной лексеме "приклеиваются" одновременно два или три диминутивных суффикса: *-ουδ-άκι, -ουδ-ίτσα, -ουδ-έλι, -ακούλα* и т.д. (*άγγελος — αγγελούδι — αγγελουδάκι; μαμά — μαμάκα — μαμακούλα — μαμακουκίτσα* и др.)[3]. Одна и та же лексема может употребляться с разными диминутивными суффиксами (γάτα 'кошка': *γατάκι, γατίτσα, γατούλα, γατούλι, γατουλάκι, γατουλίτσα* и т.п.), а один и тот же суффикс — обслуживать разные классы слов.

"Пронизанность суффиксами" во многом определяет матрицу новогреческого языка. Можно себе представить a) насколько это расширяет лексико-семантические возможности языка, b) насколько усложняет синонимический слой. Но (для диминутивности, хотя и не только для нее) можно представить ту же картину с обратным знаком: c — d) все (едва ли не) два десятка диминутивных суффиксов "сливаются" в один, синонимия практически сводится к нулю, и за многими вариантами стоит всего лишь с одна-единственная **лексема* с одним-единственным **шифтером*.

Эти свойства новогреческой суффиксации соответствуют основному принципу структуры балканского языкового союза принципу языков синтетически простых и аналитически сложных[4]. Насколько легко "приклеивается" суффикс к слову, настолько же трудным оказывается во многих случаях определение значения, которое он слову сообщает. Анализ может привести к результатам, на первый взгляд, взаимоисключающим: суффикс придает слову a) целый спектр новых значений (или оттенков); b) одно новое значение; c) нулевое новое значение.

inslav

И это, в свою очередь, вписывается в "балканский принцип" отказа от однозначности. Однозначность, определенность, выбор единственного варианта не отвечает требованиям балканской лингвистической модели, основанной на амбивалентности, когда одна и та же оппозиция в один и тот же момент может означать *или/или, и/и, ни/ни,* и все это под знаком модальности — *может быть.*

Грамматисты дают следующие основные значения новогреческих диминутивных суффиксов[5]: собственно уменьшительное, ласкательное, пренебрежительное, партитивное, неопределенное, этикетное, патронимическое [Τριανταφυλλίδη 1941, 123[6]; Mirambel 1949, 213; Καρατζά 1954, 31—32; Sotiropoulos 1972, 66; Mackridge 1985, 158, Korinthios 1991, 199—200 и др.]. То есть: *σπιτάκι* 'маленький дом, домик', *γατάκι* 'кошечка, киска', *δώσε μου ένα καφεδάκι* 'дай мне [пожалуйста кофе] кофейку', *νεράκι* '[дай воды] водички', *το βραδάκι* 'к вечеру/вечерком' *ένα βραδάκι* 'однажды вечером/вечерком'[7] и т.п. (приводим однотипные формы, поскольку у наиболее частотного суф. *-άκι* и наибольший разброс значений). Эти, намеренно внеконтекстные, взятые из нормативных грамматик примеры "парадигматичны" в том смысле, что они иллюстрируют только одно значение диминутивного суффикса, в то время как синтагматический уровень дает иную картину.

Новогреческая ситуация в принципе соответствует общей типологии диминутивности, общим значениям диминутивных суффиксов, что может, в определенном смысле, считаться языковой универсалией: 1. собственно диминутивность — буквальное значение, указывающее на малость (величину, размер) определяемого объекта, абсолютно или относительно "уменьшаемого" образца: (большой) *дом* — (маленький) *домик*; 2. ласкательное (но и пренебрежительное) — метафорическое (экспрессивное) значение "1-й степени": *домик=крошечка*; 3. "этикетное" (условно, *пожалуйста*-диминутив) — метафорическое (экспрессивное) значение "2-й степени": *запишите телефончик.* Порядок перечисления соответствует эволюции значений (от 1 → 2 → 3), так, во всяком случае, диктует логика здравого смысла. Неопределенность, партитивность, "патронимичность" и др. являются производными от основных значений. *Маленькое* (уменьшенное) вызывает — на уровне инстинкта или на уровне ММ — желание *защитить/приласкать,* отнестись с особой бережностью (но и презрительно отбросить как quantité négligeable). В рамках отношения *родители/дети* диминутивность переходит из пространственного во временной план:

inslav

ребенок для родителей всегда *маленький*. Более широко это отношение *старший/младший*. Отсюда идет и употребление диминутивов в патронимической функции, что особенно наглядно проявляется в связи с суф. *-πούλο*. Какой бы вариант этимологии ни принимать (< др.-гр. *πῶλος* 'жеребенок' или < лат. *pullus* 'молодой, ребенок'), семантический путь от *αρχοντόπουλο, ορνιθόπουλο* и под. к собственно патронимам (*Εγγονόπουλος, Στασινόπουλος*) представляется естественным[8]. Следующий переход — к значению *смелый, отважный, красивый*, т.е. *герой* (примеры и историю вопроса см. в [Елоева 1998, 216—217]), очевидно, отражает "требования к молодости" (ср. рус. *добрый молодец*).

Ласковость = (приветливость) — условие этикетного (в широком смысле) общения. Диминутивный суффикс экономит время и усилия, давая возможность избежать длинных и сложных оборотов (**не дадите ли Вы / разрешите, пожалуйста / могу ли я попросить* и т.д. *номер Вашего телефона* vs. сжатое до суффикса *телефон-чик*); на уровне мимики ту же функцию выполняет улыбка[9]. Вполне естественно, более того, обязательно одновременное присутствие всех трех значений в любом (хронологическом, ареальном, функциональном и т.п.) срезе любого языка, практически в любом конкретном употреблении диминутива. Различие между языковыми матрицами проявляется преимущественно на уровне экстенсионалов (и это также общетипологическое правило). Экстенсионалы формируют переход от универсального к индивидуальному и создают неповторимое лицо каждого языка; в других терминах — это монтаж уникального из неуникальных элементов, что снова возвращает к БЯС.

В новогреческом резкое повышение экстенсионала диминутивов, датируемое I в. н.э. и продолжающееся по сей день, было метко названо "диминутивным бумом" [Елоева 1998, 201][10]. Он особенно заметен еще и благодаря активному распространению этикетных, *пожалуйста*-диминутивов, которые не стоит сводить только к "народной речи" или специфическим видам дискурса (обращение просителя, обращение к клиенту, вроде *το ταξάκι σας περιμένει* 'автомобильчик [такси] вас ждет' и под.)[11]. Было бы неверно видеть в этом плеоназме диминутивов исключительно их семантическую девальвацию — так же как неверно было бы и обратное: приписывать им слишком конкретную семантическую мотивацию, особенно вводя значение экспрессивности, когда диминутив "покидает" грамматическую структуру, непосредственно связываясь с открытым выражением чувств, демократичностью и под. Если считать диминутив своего рода коммуникативным паролем к более довери-

inslav

тельной атмосфере, то, наверное, стоит ввести это определение в более общий контекст.

В *семиотическом пространстве* диминутивы попадают под эгиду пространственной оппозиции *близкий/далекий*. На уровне языка это означает разделение (= классификацию) пространства с точки зрения *говорящего* (имеется в виду прежде всего — но не только — уровень речи). Именно он (= субъект "в роли говорящего") дихотомически делит пространство (реальное и метафорическое) на *близкое* (к самому себе как точке отсчета) и *далекое*; в другой кодовой системе и в определенных ситуациях/контекстах это деление на *свое* и *чужое*. Специфика деления состоит в его динамичности, почти произвольности, своего рода оптических фокусах, когда объекты, по воле *говорящего*, то приближаются к нему вплотную, то предельно отдаляются, оставаясь (объективно) на одном и том же месте.

В применении к конкретному человеку (в онтогенезе) этот выбор соотносится с его индивидуальным *я-пространством*, с его самоопределением в пространстве, установлением границ *близкого* и *далекого* (что особенно четко проявляется при клаустро- и агорафобии)[12]. Онтогенез ориентирован на филогенез, а *индивидуальное* нередко оказывается проявлением *общего*, значит, возможно выводить универсальные закономерности членения пространства. Эксплицитное и при этом четко структурированное (соответственно и наиболее надежное) их выражение правомерно искать в универсальном знаковом коде ММ, т.е. в системе языка. При (теоретически, исходно) р а в н ы х возможностях (но, напомним, корректируемых разными экстенсионалами) каждый язык выражает отношение к пространству п о - р а з н о м у.

На грамматическом уровне язык обладает большими ресурсами для выражения этой, обращенной на субъекта/*говорящего* специальной классификации: местоимения — личные (оппозиция *я/ты*), указательные, притяжательные, неопределенные; артикли; пересказывательное наклонение; dativus ethicus и т.п., в конечном итоге — разные виды дейксиса, в который необходимым образом включаются и словообразовательные ресурсы языка.

В балканских языках, отражающих и формирующих балканскую модель мира (БММ), как в самой БММ, категория пространства, движения в пространстве, ориентации в пространстве, членения пространства, т.е. определение м е с т а, *своего* и *чужого*, играет главенствующую роль, и это связано с структурой самого балканского пространства, реального и метафо-

inslav

рического [Цивьян 1999, passim]. В каждом балканском языке можно, наряду с обычными, найти нетривиальные способы специальной классификации. Утесненность и усложненность балканского пространства приводит к выражению оппозиции *близкий/далекий* с помощью постоянного подтверждения оппозиции *свой/чужой*.

Представляется, что в новогреческом эту функцию деления пространства выполняют и диминутивы: они "собирают" пространство вокруг человека, способствуют созданию *близкого*[13], *своего*, защищающего локуса, в который вовлекается не только собственно пространство, но и его обитатели, объекты и атрибуты. Буквальное значение диминутивов (к тому же, *маленькое, уменьшенное* воспринимается только на близком расстоянии) порождает метафорическое (*близость* в значении родства, дружбы, симпатии и т.п.) и движется в сторону экспрессивности. Подчеркнутое приближение может приводить к интимизации пространства — и реального, и метафорического.

Вход в одну из известных афинских таверн оформлен с двух сторон вывесками, размещенными по обе стороны дверей. Слева — перечисление в "исходной" форме: *οχταπόδι* 'осьминог', *ψάρι* 'рыба' и т.п. Справа повторяется то же самое, но уже в форме диминутивов: *οχταποδάκι* 'осьминожик', *ψαράκι* 'рыбка' и т.п. Можно видеть в этом оформлении не два информативных списка (меню), а единый, структурированный семиотически и риторически текст. Его pointe — создание особого локуса, который "метится" диминутивами. Локус — ограниченное (в буквальном смысле) пространство таверны — "вбирает" в себя человека (= посетителя), делая его *пространственно своим*[14]. Пространственная функция, наиболее абстрактная, выступает скрыто, но она "первая", и на ее фоне начинают играть другие значения категории диминутивности: здесь и собственно уменьшительность, и этикетная приветливость, и даже, в каком-то смысле, противопоставление competence/performance: перечисление ассортимента (специализация таверны) и актуализация списка. В этом случае *рыба* и *рыбка* выступают не как (все-таки) синонимы, а приближаются к антонимам. *Рыба* существует вообще, а рыбка — *только hic et только nunc* (и значение "закуска" дополнительно подтверждает уменьшительность). Прочтение фланкирующего вход текста слева направо (естественно) реализует и временно́е вживание в пространство. Пока посетитель читает левую часть, он еще *чужой*, у него есть выбор, *входить* или *не входить* в реальное и метафорическое пространство таверны (пока он лишь получает информацию). Если/когда после этого он переходит к правой части, то тем самым подтверждает свое решение *войти* в оба указанные пространства. Содержательное и формальное противопоставление *левого* и *правого* (как *далекого* и *близкого*, ср. также универсальную отрицательность *левого* и положительность *правого*) структурирует текст, который из меню превращается едва ли не в художественное произведение (к тому же иллюстрированное в духе наивной живописи).

inslav

Итак, этикетные употребления диминутивов (*пожалуйста*-диминутивы) связаны с организацией *своего* пространства. Чтобы обнаружить ее, надо уйти от привычной эмоциональной и/или стилистической оценки, положительной ("особая приветливость") или отрицательной ("дурной тон"). Когда вместо *принесите, пожалуйста, воды, вина, хлеба* говорится просто *νεράκι, κρασάκι, ψωμάκι* 'водички, винца, хлебца', то *пожалуйста* (как и партитивность) не является первой или даже основной семантической компонентой *водички.* Как и в предыдущем примере, прежде всего происходит формирование локуса, определение его границ. Любая граница "уменьшает" пространство, и этому *меньше* в буквальном и знаковом смысле соответствует диминутивность, выражаемая прежде всего на грамматическом уровне. Диминутивные суффиксы, выполняя эту функцию, сохраняют свой семантический ореол, усиливают ли они или ослабляют при этом канонические значения. Этот семантический ореол доступен непосредственному восприятию в большей степени, поскольку он затрагивает область экспрессивного (восприятие переносится как бы на уровень чувств, эстетических установок и под.). Что бы ни говорилось о потере диминутивными суффиксами значения уменьшительности (а далее и иных, "производных" от нее значений), их присутствие придает тексту совершенно особый колорит, ключ к пониманию которого не так легко подобрать. Нередко диминутивы притягивают к себе полнозначные лексемы со значением *малости.* Примечательно, что интенсификация диминутивности, скорее уводит от буквализма к метафорике, *маленький кусочек* не меньше просто *кусочка,* и значение *малости* ослабляется, если не исчезает вообще[15]. В новогреческом это проявляется, в частности, в поэтических фольклорных клише: (представление героя)

Ο Χαρζανάκης ο μικρός,
ο Μικροχαρζανάκης,

Η Ευγενούλα η μικρή,
η μικροπαντρεμένη и под.[16]

В хрестоматийном стихотворении Соломоса "Ξανθούλα" Ксантула, белокурая девушка уплывает в море — навсегда, "на чужбину" (*στα ξενιτειά*) друзья, прощаясь с ней, плачут, видя, как исчезает на горизонте и платок, которым она машет, и белые паруса ее "кораблика" (*βαρκούλα*). Прозрачность, наивную трогательность стихотворения поддерживают диминутивы, определяя его тональность и общий смысловой фон. Диминутив-

inslav

ность разлита в пространстве текста, хотя, на самом деле, диминутивов на 8 строф не так и много: *Ξανθούλα, βαρκούλα* (каждое по одному разу в трех, по сути дела повторяющих друг друга с небольшими вариациями строфах, 1-й и двух заключительных, 7-й и 8-й, т.е. три раза каждое; форма (*βαρκ-ούλα* притянута рифмой с именем героини), и еще одна рифмующаяся пара: количественное наречие *ολιγάκι* 'немножко', усиливающее предыдущее *ολίγο* 'немного', и *πανάκι* 'парусок' (в четырех других случаях — *парус, паруса*, без диминутивного суффикса), каждое по одному разу в 5-й строфе. Но именно эта строфа является ключевой в развитии сюжета, когда становится ясной необратимость отъезда (после нее и начинают плакать друзья Ксантулы и автор-наблюдатель):

Σ'ολίγο, σ'ολιγάκι	[через] Немного-немножко
Δεν ήξερα να πω	Я не мог бы сказать,
Αν έβλεπα *πανάκι*	Видел ли я *парусок*
Η του πελάγου αφρό.	Или морскую пену.

Происходит пересечение границ *своего, близкого, закрытого, защищающего* пространства, и Ксантула исчезает в *чужом далеком, опасном* пространстве *открытого* моря. Указателем *своего* (= ограниченного, т.е. *малого* пространства) служат диминутивы, подкрепленные удвоенным количественным наречием 'немного', как бы эксплицирующим диминутивность на лексическом уровне. В следующей строфе *парусок* снова становится *парусом*, но принадлежит он уже *иному* пространству. Диминутивы на *-ούλα*, ж.р., маркируют начало и конец (границы) текста, а диминутивы на *-άκι*, ср. род, маркируют сюжетный центр этого *пространственного* стихотворения, построенного на центробежном движении от безопасного *дома*, к неизвестности *ξενιτειά*[17].

Пример использования диминутивов в поэтическом тексте обращает не только к теме различных языковых стилей, но и вообще к теме различных дискурсов, одним из различительных признаков которых может быть диминутивность. Как представляется, здесь нужно особое внимание, чтобы не попасться в ловушку частотности. Безусловно, повышенная диминутивность принадлежит прежде всего уровню речи, где она, среди прочего, имеет специально коммуникативную функцию, в частности, распределяя роли коммуникантов по разным признакам (*высокий/низкий, старший/младший* — по возрасту и по общественному положению, *мужской/женский, свой/чужой, персонал/клиент* и т.п.). Столь же очевидно, что в определен-

inslav

ных типах дискурса (прежде всего в официальных в широком смысле слова) диминутивы могут появиться лишь в случае, когда (цитируя Триандафиллидиса) речь идет *действительно о чем-то маленьком*, экспрессивность сводится к минимуму, если не к нулю, а этикетные правила не допускают "диминутивных формул". Что касается художественных текстов, то диминутивы будут обильно, почти плеонастически представлены в фольклоре, а также в литературе, построенной на разговорной, "народной" речи, — но трудно ожидать диминутивов в "высоком стиле"[18]. С другой стороны, нельзя недооценивать и семантическую энергетику диминутивов вообще, когда даже единичный диминутив придает тексту совершенно особую ауру; иными словами, говоря об экстенсионалах, нельзя упускать из виду "интенсионал".

Так, редкая, едва ли не единственная лексема на *-άκι* у Кавафиса появляется в очень необычном для него стихотворении 1917 г. "Дом с садом". Это описание воображаемого бестиария: поэт мечтает о саде, который он населяет животными по своему вкусу. Игра идет на оппозиции *большой/маленький*. Сад — очень большой, а обитатели его не так уж велики (кошки, попугай, собаки). Но когда дело доходит до лошадей (больших животных), появляется диминутив (*καλά είναι τ'αλογάκια*). Диминутив вводит последних в списке, "уменьшенных лошадей" — осликов (*γαιδούρια*), но в их описании тут же появляется аугментатив (*κεφάλες* 'головищи'), заключающий стихотворение и как бы уравновешивающий предшествующие диминутивы. Так словообразование работает на *поэзию грамматики*. — Об игре диминутивных/аугментативных значений в словообразовательных процессах, когда, например, "...partial loss of the hypocoristic meaning of the suffix *-ι(ον)* neutralized the grammatical difference between certain original diminutives and their respective augmentatives" см. [Moutsos 1985, 65 сл., с отсылкой к Хадзидакису; ср. Moutsos 1976, 47].

Однако в целом, и на парадигматическом, и на синтагматическом уровне, "диминутивная, насыщенность" новогреческого остается настолько заметной, что наблюдателю (особенно *внешнему*) несложно поддаться миражу однозначности грамматических структур (тот же оптический фокус), забыть что перед ним аналитически сложный язык (см. выше), в который по определению заложена семантическая многовариантность (то же распространяется и на этнокультурный уровень, т.е. на БММ). Желание найти простое объяснение, иллюзия, что оно лежит на поверхности, невольно уводит от языка как такового (от грамматики) и заставляет искать решения в смежных обла-

inslav

стях — в социальных, поведенческих структурах, в истории, в культуре и т. п. Отсюда — впечатление "социального братства", особой демократичности, открытости, характерных для средиземноморской традиции. Этот образ *homo balcanicus'a* (и шире — *homo mediterraneus'a*) имеет безусловное право на существование, более того, он осознается, а, следовательно, и формируется самими носителями. В этом ракурсе нельзя не учитывать свидетельства языка, и опора на диминутивы оказывается достаточно прочной (но тогда надо говорить и о *homo balticus'e* — ср. роль диминутивов в литовском и латышском). Однако еще раз повторим, что непосредственное восприятие может быть основано и на гиперсемантизации диминутивов, на убеждении, что каждому употреблению можно найти объяснение, в том числе и в "национальном характере".

Следует учитывать, что в системе языка диминутивная избыточность может трактоваться и как грамматическая регулярность, которая ослабляет или даже нейтрализует семантическую отмеченность, противопоставляя ей формальные правила. Тогда представляется допустимым несколько иной взгляд на "диминутивный бум": это подступы к освоению новой морфосинтаксической (пожалуй, преимущественно синтаксической) функции, связанной с категорией дейксиса. Четко и ярко оформленные ("узнаваемые"), унифицирующие лексему формально и тем самым ограничивающие ее грамматические возможности, диминутивные суффиксы ощутимо приближаются к дейктическим шифтерам. Действительно, до/вне экспрессивных, стилистических и под. "речевых" значений диминутив функционирует как у к а з а т е л ь: на адресанта, на адресата, на тип коммуникации (в других терминах — на тип дискурса). Дейктические свойства предоставлены диминутиву/диминутивному форманту прежде всего системой я з ы к а и только потом ситуацией. Из системы языка при/по необходимости извлекаются элементы, обслуживающие разные типы ситуаций; для определенных ситуаций структурообразующим элементом является диминутив (диминутивный формант).

Это можно наиболее наглядно показать на примере чрезвычайно продуктивного и самого частотного диминутивного суффикса: *-άκι*[19], в определенном смысле ставшего визитной карточкой новогреческого языка и "греческости"[20]. Очень заметный по звуковому оформлению, перетягивающий на себя словесное ударение, этот суффикс имеет широкие унификационные полномочия: он присоединяется к любому классу слов; "помеченная" им лексема автоматически переводится в сред-

inslav

ний род. Это сразу уменьшает словоизменительные возможности (нейтрализация оппозиции мужской/женский и оппозиции nom./acc.). Суф. *-άκι* делает следующий шаг, теряя gen. sing. Парадигма склонения лексем на *-άκι* сводится в sing, к общему падежу (и к общему роду), или к потере граммемы падежа и нейтрализации граммемы рода. Учитывая частотность *-άκι*, можно говорить о формировании класса лексем, потерявших склонение: *-άκι* выступает весьма сильным инструментом, способствующим развитию новогреческого аналитизма[21]. Регулярность употребления *-άκι*, его морфо-синтаксические свойства и уход от конкретной семантики в сторону общего побуждают видеть в нем некий аналог грамматического форманта/шифтера.

Позиция *-άκι* в качестве финали, его практически универсальная сочетаемость с любым именем (и не только с именем), выраженные дейктические функции (хотя бы указание на "/ново/греческость"), — все это приближает к тому, чтобы видеть в *-άκι* отсвет постпозитивного артикля, одного из главных по рангу балканизмов, объединяющего языки БЯС, с одной стороны, и выделяющего из БЯС новогреческий с его препозитивным артиклем, с другой[22]. Перед нами готовый "ресурс" постпозитивности[23]. Поддержкой дейктической артиклеобразности в каком-то смысле могут быть значения неопределенности и партитивности, отмечаемые для новогреческих диминутивных суффиксов и прежде всего для *-άκι*; да и патронимическая функция, по сути дела, входит в круг "указаний на...", т.е. в область дейксиса (хотя она больше связана с другим диминутивным суффиксом *-πούλο*).

Естественно, речь ни в коем случае не идет о том, чтобы толковать *-άκι* как постпозитивный артикль со всеми вытекающими отсюда семантико-грамматическими последствиями. Однако — повторим — он явно выделяется из общего набора новогреческих диминутивных суффиксов и по формальным признакам, и по объему функций, и по разнообразию употреблений, и по частотности. Примечательно, что в грамматиках и учебниках примеры вариативных значений диминутивных суффиксов строятся прежде всего на *-άκι*: и здесь он выступает в роли визитной карточки своей словообразовательной группы.

Свидетельства греческого языка позволяют дать полную хронологическую картину категории диминутивности in statu, для разных временны́х срезов, и in motu, в процессе ее реализации на временно́й оси. В данном случае мы сознательно не употребляем термин "эволюция", предполагающий поступательное движение, а предпочитаем панхронное представление

inslav

системы языка. Это означает, что в каждый момент оказывается востребованным нечто для этого момента нужное (*suum cuique*), и запасы языка не иссякают — еще и потому, что взятое возвращается в общий фонд, обогащенным или обедненным, но в любом случае претерпевшим изменения, которые и обеспечивают жизнь языка, его непрерывность и долговечность[24].

Н. Бахтин, чей вклад в неоэллинистику и в балканистику остается недооцененным, остро чувствовал эту непрерывность греческого языка:

> But there is one domain in which continuity has been really uninterrupted throughout the three millenia of Greek history — the Greek Language. Here, and here only, no connections between details can be established and tested except in their relation to the hole. For it is precisely the whole that has persisted through all changes of detail: a living unity permanently in the making, ceaselessly shaped and informed by the same particular complex of tendencies which once determined the differentiation of Greek from the parent Indo-European and are still at work to-day [Bachtin 1935, 9][25].

В кругу актуальных для балканистики споров о первенстве, исконности и т.п. документально засвидетельствованный стаж греческой "диминутивности" дает основания к тому, чтобы считать греческий ядром "балканской диминутивности". Однако мы не хотели бы углубляться в эту тему, раз и навсегда отказавшись от балканского regretuum mobile — поисков первоисточников балканизмов[26]. В аспекте БЯС, типологического по определению, более интересными и значимыми представляются взаимная поддержка и та динамичность, с которой балканские языки извлекают из собственных запасов и/или подхватывают друг от друга некое явление, а затем передают его дальше, работая и на себя, и на систему БЯС.

Эта проницаемость и отзывчивость балканских языков, их чуткость к *другому*, находящая сугубо индивидуальное выражение, может быть интерпретирована и как отпечаток в языке ментальных процессов и тем самым отсылает к БММ. Возвратимся к "балканской диминутивности" и к диминутивности вообще. Мы представили ее максимально дистанцированной от экспрессивности — с тем, чтобы подчеркнуть ее принадлежность грамматической системе языка прежде всего и по преимуществу. Однако исключить ту чрезвычайно важную роль, которую играет в языке категория экспрессивности, конечно, нельзя. В большой степени именно она поддерживает образ языка и образ его носителей, т.е. этнокультурную и этноязыковую матрицу. В свое время Н. Трубецкой говорил об индивиду-

inslav

ации, в которой проявляется личность и (как в случае БЯС/БММ) многонародная личность [Трубецкой 1927]. Экспрессивность, несомненно, особо значима в индивидуации.

Новогреческая диминутивность не является исключительной: примеры других языков с весьма разветвленной системой и высоким экстенсионалом диминутивных суффиксов многочисленны. О балтийских языках уже говорилось. Не менее впечатляющую картину представляет русский язык: более 20 диминутивных суффиксов [Русская грамматика 1980, 208—216], среди них и патронимические[27], и кумулятивные суффиксы (*окошко — окошечко, Мария — Маша — Машуня — Машунечка*); на синтагматическом уровне отмечена возрастающая роль, более того, тяготение к регулярности *пожалуйста*-диминутивов типа "*Мужчиночка*, возьмите *рекламочку* нашего *магазинчика*" и т.п.[28] Естественно, что круг языков может быть легко расширен, и на этом фоне особенно выделяются "недиминутивные" по своей матрице языки, ср., например, трудность перевода на французский новогреческих диминутивов: *μανούλα* 'la petite maman', *νεράκι* 'bonne eau fraîche' и др. [Triandaphyllidis 1966, 74].

Здесь нас в большей степени интересуют ближайшие соседи новогреческого, его собратья по БЯС, непосредственно с ним соприкасающиеся языки и диалекты. Они образуют плотный "диминутивный слой", питая и поддерживая друг друга. Тема диминутивов, насколько нам известно, не рассматривалась sub specie балканских схождений (балканистических процессов), т.е. sub specie БЯС, сколько-нибудь подробно[29]. Между тем, она этого заслуживает — прежде всего в аспекте грамматической структуры БЯС и далее структуры БММ. Слишком важную роль играют в балканском этнокультурном и этноязыковом пространстве диминутивы. Поэтому шаги в этом направлении представляются особенно значимыми.

В статье, посвященной сопоставительному анализу диминутивных суффиксов в греческом, болгарском и македонском языках, Н. Борецкий подводит следующие итоги развитию греческих диминутивов на *-ιον* (*-ι*): 1) выбор диминутивами исключительно среднего рода; 2) значительное увеличение числа таких диминутивов; 3) постепенная утрата ими диминутивной функции; 4) употребление суф. *-ι* для обозначения существ мужского и женского пола. Аналогии, но и отличия наблюдаются в болгарском и македонском [Boretzky 1975]. Это — важная констатация состояния балканской диминутивности на грамматическом уровне. На "Балканских чтениях 5" (Москва, 1999)

inslav

О. Младенова предложила интерпретацию экспансии "диминутивного среднего рода", связав ее с типологией личности и нормами общения на Балканах[30]. Обозначение живых существ, независимо от пола, именами среднего рода задает трехчленную классификацию людей[31]. Диминутивный суффикс является основным инструментом перехода к трехчленности. Автор приходит к следующему выводу: "Балканская специфика проявляется в том, что дети (маленькие существа) выделены в особую категорию людей и что эта категория привязана к одному из грамматических родов, а именно — среднему". Оказывается, что в балканской этнокультурной и этноязыковой ситуации пол имеет меньшую значимость, чем возраст, во всяком случае "дети выделены в особую категорию лиц, для которых относительный вес признака возраста больше, чем относительный вес признака пола". Постепенно этот процесс захватывает и другие возрастные группы. Возникает обобщающий (диминутивный по оформлению) средний род, который используется преимущественно в устной речи (обращение), сокращая дистанцию между коммуникантами и "создавая на уровне общения ту атмосферу эгалитарности, которую антропологи давно подметили в традиционных обществах средиземноморского региона" [Младенова 1999, passim].

В своей работе О. Младенова дает грамматический анализ и другой экспрессивной сферы балканской коммуникации — междометий-обращений. Призыв к возвращению в лоно грамматических структур — как раз в связи с балканскими междометиями-обращениями, этой экспрессивной по преимуществу областью — принадлежит известному балканисту, и этот призыв как нельзя более своевремен:

> Linguists tend to treat affective and expressive language as somehow being beside the point of linguistic analysis, yet it can be safely asserted that there exist no languages without elements in this lexical domain. Thus it is a fruitful area for study in any language, and when taken seriously in the Balkans, can lead to results that are in accordance with results, obtained from the examination of nonaffective linguistic domains [Joseph 1994, 516–517].

Призыв не остался неуслышанным. В диссертации Ю.С. Карпенчук "Слова типа more в функции обращения как проблема балканского языкознания (на материале албанского и новогреческого языков)" предлагается системное описание междометий-обращений. Формулировка "слова типа more", указывающая на затруднительность или невозможность — и потому в данном контексте несущественность — определения их частеречной принадлежности, легализует новый и особый

inslav

класс слов-шифтеров, до этого времени в грамматических описаниях расплывавшийся между морфологией и синтаксисом, или, скорее, синтаксической стилистикой. Этот класс слов является важным элементом структуры БЯС на уровне языка, а не только речи. Существенно, что имеется в виду нормированный язык, и автор приводит интересные данные об иррадиации слов типа more из литературного языка в диалекты и разговорную речь — а не наоборот — в албанском. Основной вывод представляется весьма важным в балканистическом аспекте:

...слова типа more нашли свое отражение в балканских языках не в виде единичных форм, а в качестве системы ⟨...⟩ тождественность систем слов типа more во всех балканских языках представляет собой результат действия интерференционных процессов ⟨...⟩ данный феномен может служить иллюстрацией не только к общей картине образования балканизмов, но и показывать пути обогащения общеупотребительного языка за счет народного.

Автор построил работу по индуктивному принципу, выводя закономерности на основе анализа конкретных (речевых) употреблений соответствующих слов. По своей функции слова типа more направлены прежде всего на коммуникацию. Учтена синтаксическая дистрибуция, правила сочетания с другими лексемами и классами слов (например, именами собственными и под.). Учтены основные коммуникативные составляющие, этикетные параметры, отраженные в универсальных семиотических оппозициях *свой/чужой, старший/младший, высший/низший, мужской/женский,* ситуативные характеристики, в том числе количество коммуникантов (не только участники коммуникации, но и свидетели) и т.д. [Карпенчук 2001, passim]. Этнокультурному уровню отдана главенствующая роль, но это не уводит от главного: анализа слов типа more в контексте языка.

"[Язык] разрезает мир на куски и, значит, подчиняет его", — писал в своем трактате "Теория слов" (1935) философ из круга обэриутов Леонид Липавский. Его собрат по философским ("чинарским") беседам Я.С. Друскин раскрывал эту мысль следующим образом (записи 1950—1970):

...я вижу мир не таким, как он есть, и не таким, каким вижу, а каким хочу, а иногда не хочу видеть. ⟨...⟩ Язык делит мир на части, чтобы понять его. И понимает части разделенного языком мира. Язык и соединяет разделенные части. Это деление мира на части предполагает и одновременно создает определенный взгляд на мир. При этом возникают два отношения: 1. Отношение разделяющего языка к разделенному — семантическое отношение. 2. Отношение разделенных языком частей — ситуационное отношение [Цивьян 2000].

inslav

Дейктическая система — один из наиболее действенных инструментов "деления мира на части". Сложная или простая по своим ресурсам и правилам, именно она в первую очередь помогает человеку ориентироваться в пространстве и времени и — по своей воле — проводить над ними действия: расширять и ограничивать, осваивать и присваивать или отторгать, двигаться в любых направлениях и в разных измерениях. Будучи включенными в дейксис (это, разумеется, не элиминирует других их свойств и функций), диминутивы делят мир и *соединяют* разделенное, "создают определенный взгляд на мир" и при этом взгляд двоякий: взгляд на *свой* мир, *изнутри*, и взгляд на *чужой* мир, *извне*.

[1] Следует отметить, что набор аугментативных суффиксов несравненно меньше.

[2] Диалекты разнообразят этот набор, см. хотя бы яркие диминутивные суф. *-άγι, -ίγι, -ούγι* с разветвленным набором значений в диалекте *Кύμης* [Καρατζά 1954, 31 — 33]. — С. Карадзас подчеркивает, что суф. *άγι* не является фонетическим вариантом *-άκι*, а имеет другое происхождение и другие употребления.

[3] Ср. еще: *Βγαίνει ένα μικράκι σκυλάκι* 'Выходит маленькая собачка' — интересный случай кумуляции диминутивных суффиксов в виде редупликации: суффикс повторяется, но присоединяясь к другой лексеме (пример М. Триандафиллидиса приводится по работе [Елоева 1998, 202]). Б. Джозеф приводит другой интересный пример кумулятивного суффикса в мегарском диалекте: в *λιγάτσιζα* 'немножко' соединились новогреческий диминутивный суф. *-άκι* и албанский диминутивный суф. *-z* [Joseph 1994, 510].

[4] Балканские языки тяготеют к модели синтетически простого языка, причем таким образом, что в них одновременно происходит удаление от модели аналитически простого языка: специфические условия коммуникации требуют, чтобы формальные грамматические средства были возможно более простыми и экономными, облегчая кодирование. Но эта простота, имплицирующая многозначность, затрудняет декодирование [Цивьян 1965, 191].

[5] Происхождение суффиксов и соответственно диахронический аспект в данном случае не рассматриваются.

[6] Формулировка Триандафиллидиса предельно проста: либо это действительно что-то маленькое, либо мы говорим о нем ласкательно.

[7] Давая перевод с уменьшительным суффиксом, мы хотим подчеркнуть, что диминутивность как таковая все-таки присутствует. К неопределенности ср. у Пушкина: *Три девицы под окном/Пряли поздно вечерком* (= однажды вечером).

[8] С. Карадзас приводит весьма интересные и тонкие употребления суф. *-άγι "ως γονεωνυμική"* (в широком смысле — отношение род — вид — индивид): от "детеныша, птенца" *κουκουφάγι* и патронима *Αλεξαντράγι* до

inslav

более сложного *τσιχλάγι* "вид птицы, похожей на дрозда (*κίχλα*), но меньшего размера [Καρατζά 1954, 34].

[9] В уже давние времена советская пропаганда упрекала запад в лицемерии, поскольку улыбка западной продавщицы не обязательно означала ее действительные симпатии к покупателю. — Очевидно, исходили из положения, что отечественное хамство всегда искренне.

[10] Мы широко используем здесь диссертацию Ф.А. Елоевой, значительный фрагмент которой посвящен анализу греческой диминутивности в историческом, синхронном и типологическом плане (там же обширная библиография вопроса). Это послужило дополнительным стимулом нового обращения к структуре БЯС.

[11] Ср. аналогии у ближайших соседей — итальянцев, где аура диминутивности явно выходит за пределы отдельных типов дискурса.

[12] *Я-пространство* (то, насколько человек "подпускает" к себе) актуализируется, например, в выборе места в транспорте, ресторанах, очередях: "подсесть" или отъединиться. В рамках ММ это связывается с оппозицией *индивид* (*privacy*)*/коллектив*.

[13] Д. Сотиропулос в числе расширительных функций новогреческих диминутивов называет *approximation* ('приближение'?, 'приблизительность'?) [Sotiropoulos 1972, 76].

[14] В немецкой традиции этому могут соответствовать вывески маленьких кафе: "Семья Шульц (имя владельцев) рада видеть вас". Тем самым посетитель включается в пространство семьи, по определению, небольшое, где все близки друг другу.

[15] В этот круг входят и слова с начальными компонентами *κουτσο-, χαμο-* и нек. др., теряющими собственное значение и переходящими, по сути дела, в диминутивные форманты, ср. [Ανδριώτη 1951, s.v., Καρατζά 1954, 38] и др.

[16] *Маленькие* герои греческих народных песен (особенно баллад) — тема, заслуживающая специального анализа: *ένα μικρό ναυτόπουλο, το μικρό Βλαχόπουλο,* в этих и подобных случаях *μικρό* не является характеристикой ни роста, ни возраста героя, а играет какую-то иную, более общую функцию, связанную с "грамматикой диминутивности".

[17] Эта трогательность, почти инфантильность вызывает в памяти русскую аналогию: на слуху романс Чайковского на стихи Аксакова "Мой Лизочек так уж мал...", где эффект "разлитой диминутивности" обеспечивается на формальном уровне повторением зачина, т.е. по сути дела, одним (но двойным) диминутивным суффиксом, уменьшительность (а не только ласкательность) которого разъяснена последующим *мал*. Содержание стихотворения — описание миниатюрного пространства, наполненного миниатюрными предметами, размеры которых и "верифицируют" миниатюрность *Лизочка,* существа неизвестного пола: имя, как будто, женское (*мужской* диминутивный суффикс усиливает экспрессивность), а костюм — *Он из крыльев комаришки / Сделал две себе манишки / И в крахмал* — мужской; еще одно свидетельство абстрактно-знаковой роли диминутивного суффикса.

[18] В словаре поэтического языка Сефериса отмечено чуть более десятка лексем на *-άκι* с крайне низкой частотностью: только две лексемы (*κοράκι, σπιτάκι*) употреблены трижды [Κοκόλης 1970].

inslav

[19] Впрочем, в ряде диалектов совершенно иные приоритеты для диминутивных суффиксов, см., например, говор Аретусы (окрестности Салоник), где наиболее частотным диминутивным суффиксом является *-ούδι* [Λιάλιας 1977, 253], ср. [Nicas 1997, 539], *-άκι* практически не засвидетельствован в понтийском [Елоева 1998, 218] и др.

[20] Им "определены" греки, отважные моряки-контрабандисты в романтической балладе Э. Багрицкого:

По рыбам, по звездам проносит шаланду,
Три грека в Одессу везут контрабанду.
На правом борту, что над пропастью вырос,
Янаки, Ставраки, Папасатырос.

С патронимическим *-аки* в обозначении греков может соперничать *-пуло*, ср. квазигреческую фамилию *Иванопуло* у Ильфа и Петрова.

[21] Не случайно формальная выделенность *-άκι* привлекла внимание такого тонкого языкового аналитика, как Кавафис: он заметил, что лексемы на *-άκι* теряют и gen. sing., и gen. pl. — но только в том случае, когда они сохраняют диминутивное значение (ср. *μουστακιού, μουστακιών*). Это не распространяется на другие диминутивные суффиксы (как и на *-άκι* на в ряде диалектов). Явление это не нашло объяснения, и остается проблемой [Μηνάς 1996, 135—136], но, конечно, говорит об особом статусе *-άκι*. О тенденции новогреческого gen. к исчезновению см. [Καβουκόπουλος 1990, 274—275].

[22] Отсутствие постпозитивного артикля — одно из возражений против вхождения новогреческого в БЯС. Аналоги постпозитивности усматриваются на синтаксическом уровне в конструкциях типа *ο άνθρωπος ο αγαθός*.

[23] Гипертрофированная суффиксация (при выраженных аналитических процессах) в свою очередь может свидетельствовать о стремлении к выработке унифицированных финалей.

[24] Об универсальности/панхронности языка как такового, которая лежит в основе языковых реконструкций, компаративистики, в последнее время ностратики, говорил Вяч.Вс. Иванов на лекции "Реконструкция прошлого в гуманитарных науках" 27.07.01 (Семинар "Текст времени — время в тексте").

[25] Николай Бахтин пишет о непрерывности греческого языка во времени. Более, чем через сорок лет Иосиф Бродский увидел его непрерывность в пространстве — в связи с поэзией Кавафиса: говоря о фрагментарности эллинистического мира, который "начал крошиться после Александра Великого", Бродский подчеркивает: "Единственной силой, скреплявшей эти космополитические лоскутья, была magna lingua Graeciae; то же мог сказать Кавафис и о собственной жизни. Наверное, самый раскрепощенный голос, который слышится в поэзии Кавафиса, — это та глубокая увлеченность, с которой он перечисляет прелести эллинистического образа жизни ⟨...⟩ и "особенно наш великий греческий язык" (эссе опубликовано впервые в 1977 г.; здесь цит: по [Бродский 2000, 488]).

[26] Ср. хотя бы "греко-славянские" споры о происхождении диминутивного суф. *-itsa*.

[27] Они выделяют "существительные со значением невзрослости" (детеныши животных и птиц, дети — представители национальности, соци-

inslav

альной прослойки или профессии, названной мотивирующим словом) [Русская грамматика 1980, 204 – 205].

[28] Весьма интересную картину "диминутивных меток" разных типов дискурса открывает речь москвичей, рассмотренная в коммуникативно-культурологическом аспекте. С первого взгляда выделяются два локуса: воспоминания о детстве и застольный этикет (угощение). В обоих случаях имеется в виду особое (суженное, тесное) пространство [Китайгородская, Розанова 1999].

[29] В книге П. Асеновой в разделе "Словообразование" упоминается – со ссылкой на Сандфельда – заимствование в румынский греческого диминутивного суф. *-ахъс, -ахи* [Асенова 1989, 47].

[30] Предложения по анализу и классификации коммуникативных конструкций в балканских языках см. [Hinrichs 1985; 1986].

[31] О. Младенова предлагает считать эту трехчленную классификацию балканизмом ограниченного распространения, из-за отсутствия соответствующей модели в албанском и румынском.

Ανδριώτη Ν. Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Αθήνα. 1951.

Καβουκόπουλος Φ. Η δυναμική της γενικής στη νεοελληνική // Studies in Greek Linguistics. Proceedings of the 10th Annual Meeting of the Department of Linguistics, Faculty of Philosophy, Aristotelian University of Thessaloniki. Thessaloniki, 1990.

Καρατζά Σ.Κ. Υποκοριστικά του ιδιώματος Κύμης και περιχωρών. Αθήναι, 1954.

Κοκόλης Ξ.Α. Πίνακας λέξεων των ποιήματων του Γιώργου Σεφέρη. Θεσσαλονίκη, 1970.

Λιάλιας Ν.Χ. Το γλωσσικό ιδίωμα της Αρεθούσας Θεσσαλονίκης // Α' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου. Πρακτικά. Θεσσαλονίκη, 1977.

Μηνάς Κ. Τα γλωσσολογικά του Καβάφη // Δωδώνη. Φιλολογία. Τ. 25, Ιωάννινα. 1996.

Τριανταφυλλίδη Μ. Νεοελληνική γραμματική (της δημοτικής). Αθήνα, 1941.

Τριανταφυλλίδης Μ. Η γενική των υποκοριστικών σε άκι και το νεοελληνικό κλιτικό σύστημα / Τριανταφυλλίδης Μ. Άπαντα. 2. Αθήναι, 1963.

Асенова П. Балканско езикознание. Основни проблеми на балканския езиков съюз. София, 1989.

Бродский И. На стороне Кавафиса // Русская Кавафиана. М., 2000.

Елоева Ф.А. Понтийский диалект (на материале бесписьменных греческих говоров Грузии и Краснодарского края). Дис. ... докт. филол. наук. СПб., 1998.

Карпенчук Ю.С. Слова типа more в функции обращения как проблема балканского языкознания (на материале албанского и новогреческого языков). Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2001.

Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Речь москвичей. Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.

Младенова О.М. Слово о гражданятках: типология личности и нормы общения на Балканах // Доклад на симпозиуме "Балканские чтения 5". Институт славяноведения РАН, 1999 (рукопись).

inslav

Русская грамматика. М., 1980. Т. I.

Трубецкой Н.С. К проблеме русского самопознания. Париж, 1927.

Цивьян Т.В. Имя существительное в балканских языках. М., 1965.

Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира. М., 1999

Цивьян Т.В. Теория слов Леонида Липавского: философия и/или лингвистика? // Studia Slavica Helsingensia et Tartuensia VII. Переломные периоды в русской литературе и культуре. Helsinki, 2000.

Bachtin N. Introduction to the Study of Modern Greek. Cambridge, 1935.

Boretzky N. Bildung und Bedeutung der Deminutiva im Griechischen und Makedonischen // Zeitschrift für Balkanologie, 1975. Jg. XI. H. 1.

Hinrichs U. Der Koinzidenzfall in den Balkansprachen I // Zeitschrift für Balkanologie. 1985. Jg. XXI. H. 2.

Hinrichs U. Der Koinzidenzfall in den Balkansprachen II // Zeitschrift für Balkanologie. 1986. Jg. XXII. H. 2.

Joseph B.D. Borrowing at the Popular Level: Balkan Interjectional Particles of Turkish and Greek Origin // Septième Congrès International d'Etudes du Sud-Est Européen. Rapports. Athènes, 1994.

Korinthios G. Sintassi del neogreco. Cosenza, 1991.

Mackridge P. The Modern Greek Language. A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek. Oxford, 1985.

Mirambel A. Grammaire du grec moderne. Paris, 1949.

Mirambel A. La langue grecque moderne. Description et analyse. Paris, 1959.

Moutsos D. Modern Greek λουμάκι and Albanian *lumak* // Zeitschrift für Balkanologie. 1976. Jg. XII. H. 1.

Moutsos D. Middle Greek πατερίτζα and Slavic *paterica* // Zeitschrift für Balkanologie. 1985. Jg. XXI, H. 1.

Nicas C. Origine ed evoluzione dei dialetti greci dell'Italia meridionale // Atti del Secondo Incontro internazionale di Linguistica greca / Labirinti 27. Trento, 1997.

Sotiropoulos D. Noun Morphology of Modern Demotic Greek. A Descriptive Analysis. The Hague; Paris, 1972.

Triandaphyllidis M. Petite grammaire du grec moderne. Aix-en-Provence, 1966.

2003

inslav

Язык:
тема и вариации

Балканская модель мира



inslav

inslav

БАЛКАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА: ПОПЫТКА ВЗГЛЯДА *ИЗВНЕ* И *ИЗНУТРИ*

Понятие *балканская модель мира*[1] — одна из локальных версий модели мира, получило права гражданства, строго говоря, до того, как было терминологически определено (ситуация, которая, отчасти, сохраняется, см. далее). Оно стало употребляться достаточно широко, причем его экспансию нельзя назвать искусственной, введенной исключительно по воле «кабинетных ученых». Пожалуй, верно следующее: если балканская модель мира в качестве термина, в качестве «названия» еще требует уточнений, то *концепт* балканской модели мира уже настолько признан, что без его учета (по меньшей мере) описание отдельных балканских традиций или их сопоставление может оказаться неудовлетворительным, ограниченным не более чем фиксацией материала, пусть интересного и ценного.

Литература, посвященная схождениям в балканской духовной культуре, огромна, однако свой Сандфельд (Линней, Ламарк...) здесь пока не появился, — может быть, неслучайно. Сандфельд в своей знаменитой книге, по сути, явившейся началом лингвистической балканистики, описывал схождения в балканских языках на уровне грамматической системы, во-первых, и учитывал общий «балканистический» фонд, проходящий через все балканские языки, во-вторых. В случае БММ этот метод может оказаться недостаточным, в каком-то отношении даже механистичным.

Представляется, что для описания/постулирования балканской модели мира нужны принципиально иные критерии. Слишком *разные*, многочисленные и многообразные компоненты образуют балканскую модель мира, в слишком необычных сочетаниях они выступают. Чтобы учесть эти и другие нетривиальные условия возникновения и функционирования БММ, в ее алгоритм должна быть заложена гораздо большая свобода, и, главное, обеспечен *механизм переходов* от одной традиции к другой, от одного фрагмента, кода и т.п. к другому.

inslav

Эти переходы по характеру должны быть разного рода, как плавные (скольжение, перетекание = постепенность), так и резкие, неожиданные (рывок). Такая асимметричная, подвижная конструкция («мобиль») сможет, как кажется, наиболее адекватно отразить специфику БММ в синхронном и в диахроническом аспекте, в статике и в динамике. Пока же мы находимся в стадии поиска, приближения к тому почти неуловимому *нечто*, которое ощущается как объединяющее, но в то же время в полной мере сохраняет своеобразие элементов, составляющих это *нечто*. Так происходит транспозиция балканской картины мира в балканскую модель мира.

Хронологически обращение к проблеме балканской модели мира, к постулированию ее концепта шло как бы после появления и разработки идеи балканского языкового союза, т.е. выросло из лингвистической балканистики, дисциплины, оформившейся лишь в 1930-е годы, и в своем роде особой. Обобщая, можно сказать, что в теоретическом плане балканистика стала своего рода полигоном для испытания методов типологического анализа. При выработке понятия языкового союза балканская ситуация была использована как modèle exemplaire. Это впоследствии создало определенный перекос в восприятии и концепта языкового союза, и статуса балканских языков и породило сомнения в целесообразности существования балканистики как самостоятельной теоретической дисциплины. Периодически возникает вопрос, сто́ит ли расширять парадигму лингвистических понятий, вводя термин *языковой союз*, если он, как будто, может быть приложен к одному-единственному примеру.

В свое время мы уже говорили о том, что такой «приговор» теории языковых союзов (и соответственно концепту балканского языкового союза) заставляет с большим сожалением признать, что идеи Н.С. Трубецкого об ограниченном ареально языковом сообществе — *Sprachbund*, в противопоставлении *Sprachfamilie*, развитые Р. Якобсоном и другими членами Пражского лингвистического кружка, оказались воспринятыми лишь поверхностно. В частности, не было в достаточной степени обращено внимание на принцип сугубой к о н в е н ц и о н а л ь н о с т и концепта языкового союза, открывающего новые измерения и новые интерпретации языкового пространства, включая выход за его собственные пределы, но не претендуя при этом на нахождение истины в последней инстанции: что и как происходит *на самом деле*.

inslav

Строго типологическое изучение балканских языков в аспекте балканского языкового союза уже на раннем этапе начинает притягивать, помимо лингвистики в строгом смысле (компаративистика, лингвистическая география, ареальная лингвистика, диалектология и т.п.), смежные дисциплины, такие как этнолингвистика, лингвистика текста, культурная антропология, семиотика и др. На уровне словесного текста это означает вовлечение в «балканистическую орбиту» фольклора, а за ним и художественной литературы. Это подводит к понятию балканского культурного пространства, *Kulturraum Balkan*[2]. В *Kulturraum Balkan* входят не только словесные, но и несловесные тексты (изобразительные и прикладные искусства, архитектура, музыка, танец). По аналогии с балканским языковым союзом, на уровне парадигматики можно говорить о языке с несколькими терминами, грамматика и лексика которого формируют балканскую модель мира, а на уровне синтагматики — о некоем «комплексном тексте», построенном на *этой* лексике по правилам *этой* грамматики.

Понимаемый таким образом *комплексный текст* вызывает ассоциации с понятием *Gesamtkunstwerk* — особенно, когда он приобретает акциональный аспект и становится действием/действом (*Oper* < *opus*). Наиболее яркой манифестацией *комплексного текста* = *действия/действа* является ритуал. Если учесть взаимную переплетенность мифа и ритуала в архетипе, где отпечаталось творение мира, то окажется, что области, осваиваемые новой филиацией балканистики, — семиотической (культурно-антропологической), в чью компетенцию входит БММ, — восходят к архетипической модели мира и верифицируются именно архетипом: *in my beginning is my end*, по слову поэта. Иными словами, синхронный уровень БММ, как и вообще принцип ее структуры, не можт быть описан и понят без обращения к архетипу.

Специфика балканских традиций, их типологическая и отчасти генетическая близость позволяет постулировать *балканский текст* — самостоятельную знаковую систему, образованную на основе корпуса мифологических, фольклорных и литературных, словесных и несловесных текстов, принадлежащих всем членам балканского культурно-языкового пространства, *Kulturraum Balkan*. *Балканский текст* понимается как теоретико-множественное произведение текстов разных балканских традиций. Его *балканская* специфика состоит в том, что, будучи теоретико-множественным произведением, он не ограничен только общим, но указывает пути и способы перехода к раз-

inslav

н о м у — без этого само понятие балканской модели мира было бы бессмысленным.

Вернемся к архетипической модели мира. В самом общем виде она определяется как сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о *макрокосмосе*-вселенной и *микрокосмосе*-человеке и его мире в данной традиции, взятых в их системном и операционном аспекте. Понятие «мир» означает человека и среду во взаимодействии — или результат обработки информации о среде и о человеке. Модель мира реализуется как сочетание разных семиотических воплощений (кодов), скоординированных между собой и образующих единую универсальную систему[3]. Человек является и носителем, и создателем модели мира, играя роль и *agens*'а, и *patiens*'а.

В связи с БММ концепт *человека* приобретает совершенно особую окраску и особый вес. Именно здесь мы обращаемся к Трубецкому, во взгляде которого на человека/личность видится то главное, что и закладывает основы концепта балканской модели мира. Идеи Трубецкого связаны и с понятиями *Sprachfamilie* и *Sprachbund*; примечательно, что сами эти термины своей внутренней языковой формой отсылают (или, по крайней мере, ближе всего стоят) к человеку, к «человеческим объединениям»: по крови (семья) или по свойству́ (союз).

Общие идеи Трубецкого, о которых пойдет речь далее, были высказаны им в связи с евразийской, а не балканской ситуацией. Речь идет о понятии л и ч н о с т и, которое Трубецкой считал одним из самых важных в евразийской теории:

> Одним из самых важных понятий евразийского учения ⟨...⟩ является понятие *личности* ⟨...⟩ *личностью* ⟨...⟩ является не только отдельный человек, но и народ. Мало того, даже целая группа народов, создавших, создающих или могущих создать особую культуру, рассматривается как особая *личность* ⟨...⟩ Т.о., наряду с *частночеловеческими* личностями существуют личности *многочеловеческие*, как *частнонародные*, так и *многонародные*. Всякая личность конкретно проявляется в каком-нибудь определенном своем состоянии или *индивидуации*. Но личность не совпадает ⟨...⟩ ни с одной из этих индивидуаций: личность есть *связь* и *совокупность* всех их ⟨...⟩ у личности многочеловеческой наряду с разновременными имеются и *одновременные* (т.е. сосуществующие друг с другом в одно и то же время) индивидуации; такими одновременными индивидуациями многонародной личности являются отдельные входящие в нее народы ⟨...⟩ Для личностей многочеловеческих (народных и многонародных) ⟨...⟩ связь с физическим окружением (с природой территории) настолько сильна, что приходится ⟨...⟩ рассматривать это физическое окружение как продолжение данной многочеловеческой личности ⟨...⟩ несмотря на то, что личность как таковая неповторима и неразложима, между отдельными личностями су-

inslav

ществуют общие отдельные черты ⟨...⟩ [на их основании можно говорить] о природных или вызванных сожительством сходствах и отличиях между этими личностями. Так, сравнительное изучение внешнего проявления нескольких соседних друг с другом этнологических личностей позволяет делать заключения о характере духовного родства между этими личностями ⟨...⟩ исследование [этого духовного родства] ведется сразу несколькими науками — географией, антропологией, археологией, этнографией, статистикой, историей, историей искусства и т.д. ⟨...⟩ общим предметом этого исследования является именно данная конкретная многочеловеческая личность в ее физическом окружении[4].

В связи с нашей темой особенно важно в этих мыслях Трубецкого то, что, хотя *личность* неповторима и неразложима, между отдельными личностями существуют общие черты, природные или вызванные сожительством; поэтому можно говорить об их духовном родстве, исследование которого ведется комплексом наук. — Это положение, как представляется, можно экстраполировать и на уровень языка и говорить о языковой близости, будь то генетическая («природная») или типологическая («вызванная сожительством»)[5].

Конечно, «евразийские» мысли Трубецкого были ориентированы прежде всего на Россию. При этом в русской ипостаси многонародной личности для Трубецкого был важен прежде всего *анализ*, выделение составляющих (в самом общем плане — выделение «востока» и «запада», иранского, туранского, финноугорского элемента и т.д.). Балканское же воплощение многонародной личности (с которым Трубецкому пришлось соприкоснуться биографически) поставило перед ним иную проблему: проблему *синтеза*. Здесь, в балканском культурном пространстве ситуация оказалась иной: неповторимые и неразложимые личности как бы сливали свои индивидуации в особого рода единство. И, вполне органично, изучение этого единства было начато с уровня языка — строительного элемента личности, инструмента особого рода, являющегося одновременно и субъектом, и объектом творчества (*agens* и *patiens*); ср. человек как *agens* и *patiens* собственной модели мира.

Язык формирует картину мира, менталитет, культуру, и язык одновременно формируется всеми, языковыми и внеязыковыми, сферами существования и деятельности человека. Основа такого взгляда на язык заложена Гумбольдтом, продолжена Сэпиром (и в определенном отношении — Уорфом), а в русской традиции — Потебней[6]. Изучение балканской языковой общности должно было, или даже не могло не привести к изучению балканской картины мира, грамматика и словарь которой представлены балканской моделью мира.

inslav

И мы возвращаемся к поставленной проблеме: как описать БММ, репрезентирующую «балканскую общность» (балканскую многонародную личность, понятие, которое само по себе требует целого ряда уточнений). Ответ вводит *in medias res*, и, как ни смело это звучит, выбирается путь, который не имеет в виду предварительную выработку детализированного и логически безупречного аппарата. Классификационная сеть, «набрасываемая» на исследуемое пространство и время (*балканский хронотоп*), имеет крупные ячейки, так что в них задерживается лишь нечто *большое*, крупномасштабное, т.е. *существенное* (*distinctive feature*). Если учесть заведомую разнородность, мозаичность составляемого изображения, то можно сказать, что мы пытаемся создать картину, которую надо смотреть с определенной дистанции, чтобы составляющие ее мазки и линии слились в цельное изображение. И лишь потом следует обращение к деталям. Иными словами (возвращаясь к терминологии Трубецкого), имеется в виду *многонародная личность*[7], а *singularis* в данном случае обозначает, что она представляет собой единство. Подчеркнем (и повторим это еще не раз), что имеется в виду единство особого рода, сохраняющее индивидуальность каждого, входящего в него члена.

Здесь излагается самый первый эскиз балканской модели мира, предпринимается попытка обнаружить ее нерв, подчеркнуть те фрагменты, семантемы, оппозиции, которые представляются формообразующими. Наша конечная цель, относящаяся к перспективе, — представить БММ в многообразии ее единства и одновременно показать единство ее многообразия.

Характеристику балканской модели мира следует начать с понятия-термина *балканский* и *балканцы*. В них вкладывается не просто нечто большее, но и нечто *иное*, чем географическое указание на занимаемую территорию. Следует напомнить, что и в термине *балканский языковой союз* определение *балканский* достаточно условно. В контексте языкового союза *балканский*, хотя и привязанный определенному ареалу, имеет прежде всего типологический смысл. *Балканскими* оказываются не все языки, расположенные на Балканах. И, напротив, в балканский языковой союз включены языки, строго говоря, выходящие географически за пределы Балканского п-ова, ср. хотя бы местоположение Румынии, «выплески» балканского языкового союза в карпатскую зону, амбивалентное положение тюркских языков и, наконец, постулирование балканистических схождений, охватывающих более широкий ареал.

inslav

Излишне напоминать, что балканская модель мира и балканский языковой союз не совпадают ни по набору входящих в них членов, ни по территории: и то и другое в балканской модели мира гораздо шире, ее границы гораздо более размыты и, захватывая, действительно, весь Балканский полуостров, она иррадиирует на территорию, отчасти совпадающую с Великой Грецией (ср. Малую Азию, Александрию, вообще *балканские* черты в культуре Средиземноморья), и на север, за Дунай (балто-балканский ареал).

Но как бы то ни было, при всей условности, в лексеме *балканский* ощущается некая качественная характеристика, нечто *особое* и *особенное* — в разных смыслах слова. С одной стороны, *балканский* — маркер некоего объединения (ареального, языкового, генетического, типологического, культурного и т.п.). С другой стороны, *балканский* — маркер сложного, многосоставного локуса, отмеченного индивидуальностью, непохожестью своих компонентов.

Постулируя концепт *балканского* и *балканскости*, мы подчеркиваем его основную особенность: явления, признаки и т.п., принципиально не уникальные, складываются в уникальную картину. Это свойство было замечено уже при анализе языков, входящих в балканский языковой союз: едва ли не каждый из грамматических балканизмов можно найти в языках за пределами балканского языкового союза, но *вне его* нет языка, обладающего необходимым минимумом балканизмов и, соответственно, имеющего особый *балканский* облик. Балканистические процессы (являющиеся одновременно и результатом и механизмом, заложенным в языковые контакты) вырабатывают особый энергетический заряд. Языки, остающиеся равными самим себе (нет речи о том, что они сольются в единый «общебалканский язык»), собранные вместе, создают нечто общее, которое является и бóльшим, и новым. Это *новое общее* оказывает обратное влияние на них же самих, парадоксальным образом усиливая индивидуальность. Тождество и различие, оставаясь противопоставленными, переходят друг в друга, поддерживают и питают друг друга. Это положение верно и для балканской модели мира, с той разницей, что *балканскость* может здесь проявляться более наглядно, «художественно».

По аналогии с лингвистическими балканизмами, в БММ свойство *балканскости* может приписываться и единственному в своем роде факту — сюжету, мотиву, образу; тексту, ритуалу, артефакту и т.п. Ярким примером является пастушеская

inslav

баллада «Миорица», засвидетельствованная только в восточно-романской традиции, но при этом выступающая как образец балканского космогонического текста (предложенный Элиаде термин *noces mioritiques*, безусловно, описывает не только *миоритическое*, но и общебалканское пространство и время — *балканский космос*). Выделение таких «балканизмов = *нарах*'ов» возможно на дедуктивной основе, исходя из грамматики и лексики балканской модели мира. Сама же БММ формируется на индуктивной основе, исходя из общего в балканских традициях. Так в сочетании *competence* и *performance* реализуется и оппозиция *похожесть/непохожесть*, и заложенная в балканскую модель мира амбивалентность.

Амбивалентность отражена и в том факте, что *общность* как свойство балканской модели мира существует только на основе *разного* и поддерживается индивидуальностью балканских языков и традиций (известное еще со времен Платона положение о том, что единство проявляется в различиях и поддерживается ими). И одновременно: балканская модель мира, описывая комплекс *разных* традиций и подчеркивая различия, представляет их как нечто *целостное*. Вопрос в том, какой путь избрать для адекватного описания этой особого рода общности. Разумным, во всяком случае с прагматической точки зрения, представляется взять за точку отсчета универсальный набор семиотических оппозиций, предложенный для архетипической модели мира.

Опыт показывает, что, во всяком случае на первом этапе, не удается обнаружить среди семиотических оппозиций балканской модели мира уникальные, нигде за пределами Балкан не встреченные. Однако, вряд ли встретится именно такой набор с именно таким экстенсионалом. Особенно важен и монтаж оппозиций (уникальное из неуникального), понимаемый в двух смыслах. Первое — «внешний монтаж», т.е. общий набор оппозиций. Второе — «внутренний монтаж», сочетание оппозиций друг с другом, например, взаимодействие пространственно-временных оппозиций с оппозицией *свой/чужой*, перекодировка оппозиций, когда оппозиция *внутренний/внешний* оказывается эквивалентной оппозиции *свой/чужой*, и т.д.

Уникальность, возникающая из неуникального, в определенном смысле более ценна, поскольку она основана на порождении *иного*, на своего рода преображении исходного материала, остающегося *равным самому себе*. Пример, эксплицирующий структуру балканского космоса (болгарские и восточнороманские легенды, восходящие к богомильской традиции)[8], воплощает этот парадокс:

inslav

Господь создает отдельно небо, отдельно землю. Когда он начинает «монтировать мир», оказывается, что обе части не соответствуют друг другу по размерам: земля больше, и неба не хватает, чтобы ее накрыть. Господь в затруднении, на помощь приходит дьявол или другой персонаж (в румынских версиях это еж) и предлагает очень простой выход — сжать землю до размеров неба. Так на земле, до этого ровной и плоской, появляются горы, долины, наполненные водой впадины: земля приобретает рельеф. Особенность метаморфозы заключается в том, что структурно измененная земля остается равной самой себе и в то же время иной. Будучи сжатой, она становится не только разнообразнее, но и «больше». Контрасты рельефа обеспечивают усложнение передвижений — так же как лабиринт превращает краткий путь между двумя точками в бесконечность.

Первое же соприкосновение с каждым членом балканской этнокультурной и этноязыковой общности, с индивидуацией каждого элемента балканской многонародной личности, т.е. с каждым балканским народом и его традицией, раскрывает их глубокую индивидуальность, неповторимость, непохожесть. Более того, речь идет не только о различиях, но о *противопоставленности* по целому спектру критериев — языковых[9], этнических (этнокультурных, этносоциальных и т.п.), конфессиональных, профессиональных, ареальных и т.д. Критерии эти входят друг с другом в достаточно нетривиальные сочетания (ср., хотя бы, *муслимане* — определение национальности по конфессиональному признаку; *саракачаны, куцовлахи* — как и вообще *влахи* — здесь национальная принадлежность определяется по профессиональному признаку — пастушество)[10].

Утверждение различности, непохожести не только фиксируется *извне* (в частности, исследователями *балканского культурного пространства*), но становится самоутверждением: оно поддерживается и решительно отстаивается *изнутри* носителями традиции, вплоть до того, что само определение *балканский* может восприниматься как одиозное, как бесцеремонная попытка навязать некий понижающий (и унижающий) стандарт «балканского базара». С этим нельзя не считаться, как нельзя не учитывать и того, что отстаивание своей индивидуальности, борьба за *свое* не мешает носителям балканской модели мира чувствовать свою принадлежность к некоему единству, отделяющему их от остального, *небалканского* (не столько в географическом, сколько в типологическом смысле) мира, и гордиться этим. Нельзя забывать и о лексическом значении Балкан — это *горы*, ороним и/или апеллятив, а *гора* в мифологическом словаре является одним из наиболее отмеченных по-

inslav

нятий: в ней видят трансформацию мирового древа и модель вселенной, символ объединения *верхнего* и *нижнего* мира и возможность медиации; причастность человека к горе (*балканец*) указывает на его близость к миру богов, путь вверх или вниз означает переход в *иной* мир. *Там, на балкана*, на *медном* или *мраморном* («минералогическом») *гумне* или на горном пастбище, т.е. на вознесенной ввысь площадке, происходят основные события местной мифологии и истории.

Ситуация мены оценок не уникальна и характеризует модель мира любой традиции, в соответствии с основоположной семиотической оппозицией *свой/чужой*. Сохраняя абсолютное значение, эта оппозиция не может, по условиям жизни человека, не менять значение относительное: ситуация брака — включение в семью новых членов; освоение новых пространств или перераспределение пространства; вообще освоение мира в широком смысле предполагает мену знаков — *чужое* становится *своим* и наоборот. Здесь, в *балканском пространстве*, эта оппозиция приобретает особую напряженность и особо высокий экстенсионал. Четкость и разработанность балканского этноязыкового и этнокультурного самосознания позволяет динамично, иногда почти моментально переходить ступень от *балканца* (максимально обобщенного, обозначающего принадлежность к *балканскому космосу* понятия) до *себя самого* и только *себя*, до *своего дома*, т.е. до некоей *единственной* точки микрокосмоса. При этом особо примечательно чувство преемственности, непрерывности, опирающееся на историческую память. Выяснение (почти «соперничество») того, кто является первым, древнейшим, исконным насельником Балкан (конечно, когда оно не используется в политических, идеологических и т.п. «секуляризованных» целях) манифестирует не только внимание к собственной истории: оно представляет прежде всего осознание своего *Я* в рамках балканского хронотопа. Это чувство *своего времени и своего пространства* является самодовлеющей ценностью и реализуется в ярком, особом «балканском образе», обусловленном исторической спецификой «жизни» Балкан (продолжительные и продолжающиеся межэтнические контакты, охватывающие все «жанры общения», от мира до войны).

Возникает сложное динамическое переплетение оппозиций *свой/чужой* и *похожий/непохожий* (*тот же самый/иной*). Динамичность (подвижность) его состоит в том, что объемы соответствующих понятий имеют статус «готовности к изменениям». Очевидно, что *свой* должен быть *похож* на *своего* и *непохож* на *чужого*: но кто этот *чужой* и по каким критериям опреде-

inslav

ляется его *непохожесть*? Представляется, что в балканской ситуации это в особой степени определяется временем и пространством (*hic et nunc* и/или *eo loco, eo tempore*). Оппозиции *свой/чужой, похожий/непохожий*, которые par excellence определяют индивидуацию личности, как единственной, так и многонародной[11], сразу оказываются включенными в круг пространственно-временны́х оппозиций.

Итак, иерархически первыми (наиболее значимыми) семиотическими оппозициями БММ можно счесть оппозиции *свой/чужой, похожий/непохожий*[12], действующие в поле пространственно-временны́х оппозиций (на них мы остановимся далее). Именно эти оппозиции вносят основной вклад в концепт *балканскости*. Существующее в пространственно-временно́й тесноте и не всегда добровольное объединение *разного* и разъединение *одинакового* стимулирует к особого рода отождествлению своего *Я*. Балканское *Я* стремится утвердить свою исконность и непрерывность по вертикальной, диахронической оси своего существования, оси, прикрепленной к некоей точке (*omphalos*, единственный для каждого и одновременно общий для всех); при этом горизонтальное, синхронное положение *Я* остается подвижным, колеблющимся, сохраняющим возможность выбора.

Поскольку все до сих пор приведенные характеристики балканской модели мира так или иначе оказывались связанными с балканским хронотопом, сто́ит более подробно остановиться на характеристике *балканского пространства* в реально географическом и в семиотическом аспекте, связывая его с той категорией, которая в нашем сознании является смежной — с категорией *балканского времени*.

Балканское пространство может быть описано системой «нестабильных» противопоставлений, варьирующих valeurs, от жесткого бинаризма до его категоричного отрицания. Балканы — полуостров, но, строго говоря, полуостровом является лишь их южная часть; северная же может восприниматься как материк. Балканы омываются семью морями и почти перерезаются (что вносит идею острова) «фундаментальной» (мифологической — в системе БММ) рекой — Дунаем. При этом изрезанность береговой линии и обилие островов (зеркально отражающих эту изрезанность) делает околобалканское морское пространство как бы продолжением материка, а цепь островов — мостом = дорогой от Балкан к другим землям-берегам. И одновременно: окружающие Балканы водные пространства

inslav

воспринимаются как мировой океан, как *eaux primordiales*, ведущие в *иной* мир. Отсюда путешествия, ощущаемые как насущно необходимые. Отсюда — стремление к постоянному **движению**.

История Балкан — их освоение, переселение народов, появление одних и уход/исчезновение других, бурные исторические перипетии, в ходе которых оказывались перетасованными племена, этносы, языки, диалекты, религии, традиции, культуры и т.д., делает неизбежным вариативное членение *балканского пространства*: оно мобильно, оно особенно чувствительно к переменам. В семиотическом плане, на уровне БММ, это свойство может быть описано как особого рода «синдром движения» (имеется в виду диахронический аспект, и синхронный срез, движение по горизонтали, и по вертикали). Если допустима метафора, то можно сказать, что «Балканы находятся в постоянном движении».

Концепт *движения* представляет собой универсалию, отраженную в любой модели мира[13]. Действительно, ничто не знакомо и не присуще нам в такой степени как *движение*. Оно является основным свойством, основным признаком жизни — и в философском, семиотическом, историческом и т.п., и во вполне обыденном, «переживаемом» человеком смысле. *Moveo ergo sum* — перефразировка известной максимы кажется тем более оправданной, что и мышление мы представляем как д в и ж е н и е м ы с л и.

В балканском хронотопе *движение* имеет особо высокую степень интенсивности. *Движение* может быть определено не просто как основоположная семантическая категория балканской модели мира: постоянное *движение/передвижение* есть, по сути дела, условие функционирования балканской общности как уникального культурно-исторического феномена, *spiritus movens* балканской модели мира. Движение актуализирует БММ во времени и пространстве. Система путей, водных и сухопутных (ср. цитату из «Кануна Леки Дукадьини», памятника албанского обычного права, примечательно вводящую тему пастушества: «Дороги — это жилы/кровеносные сосуды/земли», т.е. то, что обеспечивает *движение = жизнь*), система персонажей = путешественников (два образца-символа: по земле — *пастухи-кочевники*, по воде — *моряки*) представляет парадигматический уровень *балканского движения*, его грамматику. Реализация этой грамматики на уровне *балканского текста* (синтагматический уровень) разворачивает многообразие видов *движения*, буквального и метафорического.

inslav

Путь в *балканском пространстве* реализует одновременно и идею *балканского времени* (время движения = время в пути отражает сложность структуры пространства). *Путь* связывает, объединяет, *путь* обеспечивает контакты; реальный географический путь становится путем типологических схождений и ключом к раскрытию механизма балканистических процессов. *Путь* — средство выражения бесконечности балканского пространства, объединяющее *верх* и *низ* (горы и долины), море и сушу, *этот* и *иной* мир, и, в конце концов, необъятный космос.

Балканское пространство и *балканский путь* не могут не привести к концепту *границы*. В рамках балканской модели мира этот концепт находит свое, особое выражение, поскольку граница, предел содержит в себе возможность, точнее, стимул собственного преодоления, *выхода за...*; *перехода через...* Энантиосемия, заключенная в лексеме *граница*, на семантическом уровне реализуется в амбивалентности этого понятия. Амбивалентность границы играет существенную роль при переходе от парадигматического уровня (БММ) к синтагматическому (*балканский текст*), т.е. от *competence* к *performance*. Здесь приходится балансировать еще и между *сходным* и *разным*, то резко переходящим, то незаметно перетекающим друг в друга. Местные различия в классических общебалканских сюжетах и мотивах и т.п. обнаруживаются на достаточно продвинутом уровне, но этим никак нельзя пренебрегать, поскольку нередко оказывается, что как раз детали вносят важный вклад в структуру балканской модели мира. Особую роль здесь играет имя (*nomen-omen*): оно содержит хронотопические, этнокультурные и этноязыковые, конфессиональные и др. шифтеры и тем самым становится сигнатурой, которая может быть развернута в сюжет, репрезентирующий одновременно и балканскую модель мира, и отдельную балканскую традицию.

Структура *балканского пространства*, сжатого и одновременно открытого, имплицирует особый *путь*, не прямой, а обходной, усложненный. Отсюда — возникновение идеи *лабиринта*, своего рода теоретико-множественной суммы разных *путей*. Лабиринтообразная структура *балканского пути*, уход от простоты и краткости (спуск или подъем по горам — серпантин; путешествие по морю — лавирование между островами) объединяет воду и сушу, горы и долины, острова и материк[14]. Мифология *лабиринта*, концепт *лабиринта* (в прямом и переносном смысле) связан, конечно, не только с Балканами. Однако точкой отсчета остается произведение Дедала[15]. Тем самым

inslav

как бы признается особая роль *балканского лабиринта*, что подтверждается неоспоримыми свидетельствами, от древности до наших дней.

В недавнем «руководстве по лабиринтам», богато документированной «Книге лабиринтов» П. Сантарканджели[16] содержится почти исчерпывающая классификация различных типов и видов лабиринтов, как реальных, так и метафорических. Свою классификацию автор резюмирует следующим образом [157]:

> ...в протоклассических представлениях лабиринт понимался главным образом как план некоего строения, позднее стало превалировать его изображение в виде пещеры, при том что его маршрут мог и 'протанцовываться', тем более что Дедал считался изобретателем танца и построил на Крите круглую площадку, предназначенную для ритуальных танцев ⟨...⟩ Ко всему этому очень быстро присоединилось понятие лабиринта, призванное обозначать какое-либо усложнение интеллектуального плана; ⟨...⟩ это началось с Платона и так навсегда и осталось[17].

В 'лабиринтной сфере' сохранились следующие четыре взаимосвязанных элемента: a) здание, из которого нельзя выйти без поводыря; b) пещера с непересекающимися меандрами; c) замысловатый маршрут, путь, изобилующий ловушками или, по меньшей мере, чрезвычайно усложненный; d) переносное значение.

Из сказанного следует, что под лабиринтом, в прямом или в метафорическом смысле, понимается не только нечто *статическое*, выстроенное (критский лабиринт, соединяющий признаки и строения, и пещеры), но и *динамическое*, то, что можно назвать *лабиринтным движением*[18]. Последнее может иметь два значения. Первое — движение по лабиринту. Если продолжить критский пример, это путь Тезея к Минотавру и обратно. Второе — «лабиринтообразное движение», самым наглядным примером которого является танец (древние «хороводы», не только сохранившиеся, но приобретшие чрезвычайно разнообразные и усложненные формы в балканских традициях). Так или иначе, представленный в визуальном (орнамент), хореографическом (*коло, оро, horă* и т.п.), персонажном (*Змей/змея*) или ином коде, лабиринт предполагает прежде всего движение как таковое и, далее, движение в предельно усложненном варианте. В той же степени можно говорить, что концепт *лабиринта* соотносится с неподвижностью, причем аккумулирует значение обоих членов оппозиции *движение/неподвижность*. Первое реализуется в бесконечном повторении и наращивании элементов, предполагающем перемещение в пространстве (или

inslav

занятие максимального пространства). Второй реализуется в повторении одного и того же элемента (или одной и той же комбинации элементов — раппорт в орнаменте), т.е. в возвращении к одному и тому же, к стоянию/топтанию на месте, к невозможности найти выход[19].

Классическим образцом (для БММ, пожалуй, первообразцом) *пути-лабиринта* является путешествие Одиссея. Оно примечательно еще и тем, что усложнение и замедление его возвращения на родную Итаку происходит с явным намерением, которое при этом не исчерпывается ни реальными, ни мифологическими причинами, ни, наконец, законами жанра. Тиресий предсказывает/предписывает Одиссею новое путешествие после возвращения на Итаку и новое (и только на этот раз окончательное) возвращение домой. Почему? Прорицатель ничего не объясняет, говорит лишь, что таково условие для спокойной и счастливой старости[20]. — В этом видится утверждение абсолютности идеи путешествия как образа жизни, более того, как условия существования, причем *conditio sine qua non*. В этом будущем путешествии вновь просматривается лабиринтообразный маршрут: Одиссей должен странствовать до тех пор, пока не найдет людей, не знающих моря и принимающих весло за лопату. Тем самым, кроме морского (с острова) предполагается еще и сухопутное путешествие, поскольку очевидно, что таких людей можно найти только в глубине материка. Морской лабиринт дополняется сухопутным и приобретает концептуальную законченность. Предопределением (если не долгом) Одиссея становится путешествие как таковое и при этом путешествие особого рода. Это не «шествие по пути», предполагающее точно проложенный и наиболее рациональный («прямой») маршрут, а *странствие*, построенное по другим законам — законам *извилистого пути*. «Одиссея» становится образцом транспозиции пути в буквальном смысле в *идею пути=движения* как семантему балканской модели мира, а Одиссей может быть назван *человеком-лабиринтом* (его эпитет *polytropos* «многоповоротный» имеет в виду и метафорический лабиринт, хитроумное движение его мысли).

Движение как основная составляющая балканской модели мира захватывает не только буквальное, но и метафорическое, смысловое пространство. Это непрерывное лабиринтообразное движение в усложненном, тесном пространстве, требующем обходных, и соответственно не простых, спрямляющих, а сложных, «удлинняющих расстояние» путей, это, в терминах Леви-Стросса, бриколаж. Метафорическое движение, т.е. дви-

inslav

жение мысли, опирается на традицию, на известный принцип «так делали наши предки», и его вариативность, постулируемая поворотами и многократными возвращениями в одну и ту же точку, имеет в основе некую постоянную (*éternel retour*). На этой технике основана принципиальная неоднозначность балканской модели мира как на семантическом, так и на формальном уровне, нашедшая выражение в системе балканского языкового союза[21].

Характерное для балканской модели мира сочетание бинаризма и ухода от бинаризма, колебание между выбором *ни то, ни другое* и *и то, и другое* (и, конечно, *или то или другое*) выражает ту же идею движения, о чем свидетельствует уже само определение соответствующих процессов как «переходы». *Расчленение-разъединение* и *связь-соединение, раз-бросанность, рас-сеянность* на море (ср. *Спорады*) и компактность-собранность на материке, горизонталь и вертикаль, центр и периферия, открытость и закрытость (замкнутость и незамкнутость), четкое различение *внешнего* и *внутреннего* пространства, эти характеристики *балканского пространства* (пространственные оппозиции БММ)[22], к которым присоединяются характеристики *балканского времени* (временны̀е оппозиции БММ)[23] делают его своего рода матрицей, с которой штампуется человеческая жизнь. Балканский *modus vivendi* в течение тысячелетий находился под влиянием этой матрицы и во многом определялся ее структурой.

Замечание к связи и взаимной перекодировке *балканского пространства* и *балканского времени*: и время «идет», и время имеет свой путь; путь, который связывает, соединяет, обеспечивает преемственность, создает ощущение исторической тождественности человека самому себе. Время вводит категорию памяти, как мифологической, так и исторической. В бурной балканской истории «связь времен», понимаемая как непрерывность существования данного исторического общества, прерывалась неоднократно, но балканская *force vitale* преодолевала эти разрыв, постулируя единство «осевого времени»[24].

Непрерывность балканского времени означает не только и не просто цикличность (которая также находит в балканской модели мира яркое выражение, — не случайно идея *le mythe de l'éternel retour* была предложена М. Элиаде, которого в определенном смысле можно назвать образцом *homo balcanicus*), но и своего рода отказ от дискретного времени, переход во «вневременно́е» существование. Линейная последовательность событий оказывается несущественной и заменяется блужданием в

inslav

«пространстве времени» (ср. эксперименты со временем в художественной прозе Элиаде; визионерские путешествия во времени у Кавафиса, опровержение «места, времени и действительного, раз навсегда установленного течения событий» у героев Андрича и т.д.). Если бы можно было «вычертить» эти блуждания, то мы бы вернулись к идее *лабиринта*, т.е. непрямого, «бриколажного» пути, предполагающего повторения и отсутствие начала и конца.

Цикличность на пространственном уровне манифестируется *кругом*. Семантема круга находит в БММ особое воплощение. *Балканский круг* отличается от обычного своей незамкнутостью в прямом (ср. балканские круговые пляски) и переносном смысле. В обычном круге отсутствие начала и конца символизируется замкнутостью. *Балканский круг* выражает ту же идею как раз своей разомкнутостью: он начинается нигде, уходит в никуда и движется не только вокруг своей оси, но и поступательно. Эта разомкнутость оборачивается амбивалентностью, отсутствием однозначного решения, сохранением выбора на разных уровнях балканской модели мира[25]. Почему отказывается от спасения пастух в «Миорице»? Почему не пытаются избежать приговора судьбы герои «Строительной жертвы» («Замурованная жена»)? Почему в «Приходе мертвого брата» мать и сестра при встрече умирают? — Подобно тому, как в известном балканском сюжете сестра не может найти обратную дорогу к раненому брату и принести ему воды, подобно этому мы бродим в усложненном, лабиринтообразном пространстве БММ в поисках выхода = объяснения.

Вернемся к взаимосвязи и взаимозаменяемости оппозиций в структуре балканской модели мира. Пространственные и временные категории в структуре балканской модели мира естественным образом вписываются в антропоцентричную классификацию. При этом за точку отсчета принимается не имманентное пространство и время, а положение человека в пространстве и времени. Человек перемещается в пространстве, время течет. Человек ориентируется в пространстве, опираясь на оппозицию *свой/чужой*, в пространственных терминах передаваемую как *внутренний/внешний*.

Сказанное выше о движении, вариативности, амбивалентности подводит к тому, чтобы видеть суть оппозиции *внутренний /внешний* в принципиальной субъективности/«подвижности». Как меняются по воле человека, в связи с человеком, границы пространства, так меняется и его членение: то, что принадле-

inslav

жит микрокосмосу-человеку, т.е. *внутреннее, свое, защищающее*, может менять знак, отходя в область макрокосмоса, а при определенных обстоятельствах становиться *внешним, чужим, враждебным*. В условиях Балкан постоянное чередование *своего* и *чужого* и пульсирующая г о т о в н о с т ь к изменениям становится жизнестроительным принципом. Перекраивание границ в буквальном и переносном смысле, постоянная мена ролей победителя и побежденного (переход от одного к другому), миграционные волны, смены и сосуществование, исчезновение и появление племен, этносов, конфессиональных объединений, совпадения и отталкивания традиций и т.д., все, на чем основано и прошлое, и настоящее, и (с определенной достоверностью) будущее Балкан, оставляет глубокий след в балканской модели мира, программирует ее, чтобы носители БММ затем действовали/жили по этой же самой программе. Примечательна необычайная динамичность в переоценке *чужого*, в признании его *своим* и едва ли не одновременном отталкивании. Оппозиция *свой/чужой* (в ее антропоцентричном выражении) и она же *внутренний/внешний* (в пространственном выражении) не только и не просто устанавливает границу, но, едва ли не в большей степени, указывает на возможность п е р е х о д а через границу, на колебание значений *свой* и *чужой*, вплоть до их слияния = нейтрализации («несть еллин и иудей») и/или мены значений (*свой* становится *чужим, чужой* оказывается *своим*; в балканской фольклорной традиции типичная иллюстрация этого — сюжет узнавания: сестры и брата, мужа и жены, родителей и детей)[26].

Эта пульсация, борьба, кипение пронизывает едва ли не весь набор основных оппозиций балканской модели мира. Борьба с детерминированностью, контрасты и конфликты и неожиданно мирные их разрешения — все это формально может совпадать с универсальными образцами, но в многонародной личности Балкан приобретает особый, *балканский* образ.

Сплетение пространственно-временны̀х оппозиций (ѝ шире — пространственно-временны̀х показателей-шифтеров) в их транспозиции на другие уровни и другие коды подчинено строгим правилам и достаточно жестко формирует семантическую структуру БММ. Пространственно-временной каркас БММ превращается в своего рода предикат, т.е. реализуется как самодостаточная система. Иными словами, для того, чтобы актуализировать некую мифологему на уровне сюжета или мотива, надо ввести фактор *движения*[27]. Это представлено прежде всего «текстами движения», что более или менее очевидно, ср.

inslav

столь распространенный в балканских традициях жанр путешествий, берущий начало в античной традиции. Более интересно, что через движение может быть, например, описан так называемый *пастушеский текст*, достаточно четко выделяющийся в корпусе текстов БММ.

Термин *пастушеский текст* может иметь несколько значений; соответственно и указанная тема может пойти в разных направлениях. Остановимся на прямом значении — словесный текст, т.е. произведения, в которых в качестве главного или второстепенного персонажа выступает *пастух*. Этот поворот уводит от узко этнокультурного аспекта, но учитывает «реальное» пастушество как «классическое» занятие балканских народов с древнейших времен и до наших дней. *Балканский пастух* проник практически во все области, жанры и виды фольклорно-мифологических текстов, от самых кратких (паремиология, ср. прежде всего отмеченную роль пастуха в загадках), через ритуальные (особенно календарные), заговорные и заклинательные тексты, сказки, былички и т.п., вплоть до эпоса, восстанавливающего мифологическое и/или историческое прошлое. В подавляющем большинстве сюжетов роль пастуха связана с движением и/или с удаленным пространственным положением (ср. клише «Миорицы» *iată vin în cale*...). Пастьба скота; похищение скота; воспитание «особых» (проклятых, заклятых) детей (Эдип); информация от пастуха, встреченного на дороге; пастух, приходящий с вестью издалека, — эти и другие мотивы неразрывно связаны с *путем*, т.е. с *движением*, и не могут быть реализованы в статике, без указания на то, что пастух *идет, гонит стадо*, уходит *далеко*, в *иной* мир.

До сих пор эскизное представление балканской модели мира шло по принципу выделения универсальных оппозиций, получающих своеобразное преломление в балканском семиотическом локусе. Это было как бы вневременно́е описание. Теперь мы обращаемся к истокам балканской модели мира, не столько в плане исторического времени (хотя вопрос о временных границах балканской общности, о ее началах, особенно о датировке возникновения БЯС не может не вставать), сколько в плане времени мифологического.

Корни балканского менталитета, или балканской модели мира, могли зародиться в глубокой древности, т.е. у иных народов и на иных языковых кодах. Общий взгляд на *древнебалканскую неоэнеолитическую цивилизацию* (ДБН)[28] и сопоставление ее с настоящим состоянием балканской модели мира дает

inslav

основание видеть в концептах ДБН начала, формирующие балканскую модель мира, ее структуру, ее семантическое ядро и, едва ли не главное, ее почти уникальную энергетику. Для ДБН был характерен необыкновенно высокий уровень знаковости как таковой, исключительная роль знаков типа «символ».

С открытием знаков как особой сферы бытия связана исключительная для своего времени глубина религиозных идей ДБН. Она выражалась прежде всего в новом решении проблемы жизни и смерти. Жизнь была основана на смерти, точнее, смерть рассматривалась не как окончание жизни (или вообще конец), но включалась в цепь *жизнь через возрождение/воскрешение*, т.е. новая, усиленная жизнь, обретаемая только через смерть. Эти высшие религиозные ценности ДБН нашли выражение в образах двух богинь, соответствующих жизни и смерти[29] и в образе мужского божества годового цикла («пред-Дионис»)[30], совмещающего оба смысла оппозиции *жизнь/смерть*. Преодоление антитезы *жизнь/смерть* означало также преодоление границ между человеческим и божественным, медиацию, трансценденцию в иные миры, в сферу, принадлежащую богам. Преодоление этой антитезы (где особую роль играл ритуал, приобретающий мистериальный характер) открывало еще одну важнейшую сторону того, что было заложено в балканский менталитет и выкристаллизовалось в БММ: глубинный изоморфизм жреца и жертвы.

Ориентируя на ДБН набор установленных для БММ и перечисленных выше семиотических оппозиций, выделим две последние: *жизнь/смерть* и *жрец/жертва*. Основная интенция, заложенная в них, — обмен оппозитов местами в смысловом и ценностном поле. Эта вариативность демонстрирует не возможности комбинаторного мышления[31], но нечто иное. В ее основе лежит такой «несемиотический» принцип, как добровольность, которая выражается в отказе от благополучного варианта и выборе худшего (для себя): смерти, причем смерти жертвенной. Следовательно, уже на первых подступах к описанию структуры БММ вводится критерий нравственного выбора: личное отношение к жизни и смерти подчинено не фатализму, а высоким целям сохранения Жизни вообще, т.е. сохранению космического порядка перед угрозой возвращения к хаосу.

Оппозиции *жизнь/смерть* и *жрец/жертва* объединяются в широко известных и отмеченных с древнейших времен балканских сюжетах, связанных с идеей жертвоприношения. Первое жертвоприношение в балканском воплощении «семейного фрагмента» так называемого основного мифа (Громовержец

inslav

подвергает наказанию/испытанию смертью своих детей) вскрывает механизм обновления жизни через смерть. Принесение в жертву самого себя самому себе (ср. эддического Одина) получает усиление тем, что в жертву приносится собственное дитя. Ветхо- и новозаветная литература эксплицирует эту схему, заложенную в архетипическую модель мира едва ли не как генетическое свойство человеческого рода. В кругу балканской модели мира схему жертвоприношения можно видеть прежде всего в сюжете, связанном с орфическим Дионисом (Загреем). Дитя, растерзанное и поглощенное титанами, получает двойное воскрешение: в своем собственном облике (из сердца, оставленного титанами) и как элемент божественного в человеческом роде, созданном из пепла поглотивших Диониса титанов. Акцент делается на отсутствии на ребенке вины — комплекс, который подводит к добровольному жертвоприношению как к искуплению.

Тема добровольного жертвоприношения — классический сюжет мировой духовной культуры, отраженный в текстах и в ритуале. Балканская традиция сохранила соответствующий пласт в архаическом состоянии и придала ему свой, индивидуальный облик, выраженный в подчеркнутой эмоциональной напряженности, в трагизме ситуации, нередко с подчеркнутой мистериальной тональностью. Особо значимы мотивы и сюжеты либо специфически балканские, либо «балканизированные» и объединенные темой *amor fati*, на первый взгляд, рационально никак не мотивированной.

Речь идет прежде всего о балладных сюжетах, таких как «Строительная жертва», «Проклятие матери», нередко связанное с младшим (маленьким) сыном, которого она почему-то не любит (мотив невинной жертвы), «Приход мертвого брата» и др. Особое место занимает «Миорица», где юноша-пастух, узнав, что его собираются убить, выбирает не спасение-бегство, а смерть как мистериальное сочетание с матерью-землей (ср. выше о богинях жизни и смерти в контексте ДБН). Кажущаяся немотивированность этого решения получает истолкование в архаическом клише добровольного жертвоприношения, предполагающего высокую нравственную основу.

Та же схема заложена в сюжете «Строительная жертва». В сакрально отмеченную постройку (монастырь, мост) должна быть замурована жена одного из трех братьев-мастеров, та которая принесет им обед. Двое предупреждают жен, третий (младший) остается, верен слову и обрекает жену на гибель, которую она добровольно принимает. Мотив верности клятве

inslav

лежит в основе баллады о мертвом брате (балканский вариант Леноры, где брат замещает жениха)[32]: верность слову поднимает сына (младшего) из могилы для того, чтобы привести сестру на свидание с матерью. Однако притяжение *нижнего* мира = смерти оказывается слишком сильным и губит живых — мать и сестру[33].

Во многие балканские сюжеты заложен принципиальный отказ от однозначности. Недосказанность, уход от ответа *да/нет*, открытость-«незаконченность» текста создают ощущение некоей тревоги, почти мистического страха. В этом можно видеть глубинную связь с мифологическим прошлым Балкан, в частности — с их мистериальным прошлым. Восточное, прежде всего фракийское наследие Балкан оставило отпечаток в мистериях, в культах и ритуалах, связанных с таинственными божествами. Религиозно-эзотерические идеи отсылали к особой связи с нижним миром (ср. Залмоксиса) и тем самым вводили понятие двуприродности, промежуточного положения. Оно проявлялось в аккумуляции признаков, принадлежащих, казалось бы, несовместимым областям[34]. Принципиальная вариативность решения, *выбор* характеризует БММ на всех уровнях, от формального до семантического.

Если приведенный выше, во многом универсальный, но в то же время «балканизированный» набор семиотических оппозиций, проецировать на архаическое прошлое Балкан, представленное здесь ДБН, то определяющим для балканской модели мира признаком будет именно отношение к жизни и смерти. Под этим подразумевается парадоксальное достижение *непрерывности* жизни через насильственно *прерывающую* ее, но при этом *добровольную* смерть. Выбор совершается по нравственным основаниям, а не под давлением обстоятельств: это жертвоприношение, в котором объединены *жрец* и *жертва*. Такова, как представляется, семантическая доминанта БММ.

Все сказанное выше не претендует на описание балканской модели мира в полном объеме, но это и не входило в нашу задачу. Выделяя отдельные ее стороны, которые казались нам существенными, более того, определяющими саму ее суть, мы стремились проникнуть в заложенный в балканской модели мира м е х а н и з м, который определяет и ее прочность (существование в *балканском хронотопе*), и актуальность («жизнь»): это механизм «перевертывания» (метаморфоз), основанный на *движении*, выступающем в контрастных образах: *движение*, имеющее целью установление *стабильности*, и *стабильность*,

inslav

стремящаяся к *движению*. Анализ *балканского текста* (синтагматического воплощения БММ) sub specie *движения* и *пути* раскрывает уникальность балканских традиций, парадоксально объединенных поразительным сходством и столь же поразительной непохожестью.

[1] См.: *Цивьян Т.В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990; *Она же*: О концепте языкового союза и современной балканистике // Славистические исследования. Доклады к XI Международному съезду славистов. М., 1992; *Она же*: *Движение* и *путь* в балканской модели мира. М., 1999.

[2] Термин Д. Буркхарт, которой принадлежит первая монография, посвященная «общебалканской культурной модели» (*Burkhart D.* Kulturraum Balkan. Berlin; Hamburg, 1989).

[3] О понятии архетипической модели мира см. статью «Модель мира» в: Мифы народов мира. М., 1982. Т. 2. С. 161 – 164.

[4] *Трубецкой Н.С.* К проблеме русского самопознания. Париж, 1927. С. 3 – 7.

[5] Это среди прочего служит дополнительным основанием в пользу того, что теория языковых союзов базируется не на частном случае (Балканы, хотя именно Балканы предоставляют необыкновенно эффектный материал, в частности, сложнейшую игру типологических сближений между близкородственными языками, или унификацию по внеположной модели и т.п.) и выходит за пределы собственно лингвистики.

[6] Здесь следует учитывать, что в проекции на модель мира язык выступает в двойном аспекте: 1) как метакод, lingua franca для всех прочих кодов ММ; 2) как самостоятельный код, символический по преимуществу. Языковой код – единственный из кодов ММ, который адекватно записывает и собственную модель мира в полном объеме, и другую, т.е. чужую модель мира.

[7] В евразийской терминологии называемую еще *симфонической личностью*.

[8] *Иванов Й.* Богомилски книги и легенди. София, 1970. С. 333. № 2; С. 336. № 4; *Pamfile T.* Povestea lumii de demult. Bucureşti, 1913. Passim; *Istrătescu A.* Texte populare din judeţul Prahova / Grai şi suflet. 1928. Vol. III. Fasc. 2. P. 345 и др.

[9] Излишне напоминать, что на Балканах «не работает» формула *eine Sprache – ein Volk*.

[10] Ср. еще характерный *балканский* контраст-объединение: *гайдуки* – мирные пастухи и свирепые разбойники; *клефты* – воры и борцы за свободу, и т.п.

[11] Индивидуация здесь понимается в двух смыслах: «классический» (по Юнгу) и «евразийский» (по Трубецкому, см. выше).

[12] Оппозиция *похожий/непохожий* и в определенном смысле *свой/чужой* не может не включать в рассмотрение проблему *зеркала*. *Себя* человек может увидеть только в *зеркале* – и здесь прежде всего встает проблема самоотождествления (ср. роль зеркала в мифе о Дионисе-Загрее). Зеркалом могут быть и окружающие, *свои* и *чужие*. Так создается отра-

inslav

женный образ *своего*, верифицируемого *чужим*. — Этой проблеме была в частности посвящена прошедшая в 1996 г. в Москве, в Институте славяноведения и балканистики РАН конференция «Славяне в зеркале неславянского окружения».

[13] Этому посвящен сборник: Концепт движения. Словесные и несловесные тексты славянской и балканской традиции. М., 1997.

[14] Весьма показательна тема прошедшей в 1996 г. в Софии конференции «Река Дунай — мост культурных взаимодействий». Оксюморон *река-мост* как нельзя лучше отражает парадоксальность семантической структуры БММ, амальгамирующей не просто разные, но п р о т и в о п о с т а в л е н н ы е понятия. Дунай в определенном смысле оказался одним из локусов балканистических процессов, понимаемых как особым образом направленные и особым образом реализуемые контакты (здесь имеются в виду прежде всего этнокультурные и этноязыковые контакты), давшие основание постулировать БММ.

[15] Лабиринт Дедала был выстроен на Крите, т.е. на острове, и при этом под землей, т.е. в *нижнем* (*ином*) *мире*, мифологический путь к которому идет по воде. Критский лабиринт указывал среди прочего и на противопоставление *горизонталь/вертикаль*.

[16] *Santarcangeli P.* Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo. Ed. Frassinelli, s.l. 1984; см. там же библиографию.

[17] Ср. хотя бы характерное, почти клишированное название книги «В лабиринте знания», разбирающей роман Музиля «Человек без свойств» (*Völse H.-J.* Im Labyrinth des Wissens. Wiesbaden, 1990); книге предпослан примечательный эпиграф, расширяющий идею лабиринта: «...obgleich öffentlich alles schon unerzählisch geworden ist und nicht einem "Faden" mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Flache ausbreitet» (Robert Musil).

[18] На персонажном уровне *лабиринтное движение* как признак БММ может быть представлено *Змеем* во всех его ипостасях, от отрицательной, злокозненной, принадлежащей хаосу, до положительной, принадлежащей микрокосмосу (охранитель дома). Промежуточное положение *Змея* между космосом и хаосом, между макро- и микрокосмосом выявляет его медиационную роль и подчеркивает амбивалентность. В определенном отношении «идея змея» выражает некие глубинные смыслы балканской модели мира.

[19] Ср. отражение этого в танце: движение хоровода, сочетающееся с танцем на месте, при котором движения ног имитируют меандр.

[20] ...покинув

Царский свой дом и весло корабельное взявши, отправься
Странствовать снова и странствуй, покуда людей не увидишь,
Моря не знающих, пищи своей никогда не солящих,
Также не зревших еще ни в волнах кораблей быстроходных,
Пурпурногрудых, ни весел, носящих, как мощные крылья,
Их по морям, — от меня же узнай несомнительный признак:
Если дорогой ты путника встретишь и путник тот спросит:
«Что за лопату несешь на блестящем плече, иноземец?» —
В землю весло водрузи — ты окончил свое роковое,
Долгое странствие...

(Одиссея, XI, 120 — 130)

inslav

[21] Имеется в виду хорошо известная тенденция к аграмматизму. Речь идет не только об утрате ряда грамматических категорий, но и о выборе тех формальных средств, которые уводят от однозначного решения: аппозиция и соположение в синтаксисе; категория пересказывания, вводящая признак недостоверности, обилие клитик, смягчающих или усиливающих сообщение, т.е. тем или иным способом уводящих от объективности; контраст скудости грамматического инвентаря с многообразием его функций и т.п. Этот языковой образ БММ, как будто, вышел из механизма греческих предсказаний, основанных на «загадочном слове», которое функционирует как знак, но как знак темный, указывающий на амбивалентность предсказаний.

[22] Ср. еще: *верх/низ* (*небо/земля*), *правый/левый, спереди/сзади, суша/вода*, оппозиции, соответствующие странам света и сторонам горизонта, *длинный/короткий, широкий/узкий, близкий/далекий, здесь/там, этот мир/иной мир* и нек. др. Примечательно, что своего рода вспомогательным средством различения пространственных оппозиций в антропоцентрической проекции (*этот=свой, верхний мир/иной=чужой, нижний мир*) является в БММ оппозиция *видимый/невидимый*. *Невидимый* соответствует *нижнему* миру и связанным с ним опасностям, в проекции на временные оппозиции — тьме, ночи; *видимый* — верхнему миру и соответственно дню, свету. *Видеть и быть видимым/не видеть и быть невидимым* — различные комбинации категории *зрения/видения* находят в БММ весьма нетривиальные воплощения.

[23] *День/ночь* (alias *свет/тьма*; оппозиция, которая с легкостью транспонируется в пространственную, т.к. *свет* ассоциируется с *верхним* миром, а *тьма* — с *нижним* миром); членение «антропоцентричного времени», от года до суток.

[24] Особую, орудийную функцию времени можно видеть в так называемом спрессованном фольклорном времени: время, за которое произносится некий сакральный текст (например, «пассии» растения — конопля, лен, — глиняной посуды, хлеба и т.п.), соответствует времени описываемых в нем событий. Пространство текста становится мерой времени.

[25] Круг, который надо замкнуть (если это удастся), ср. в сюжетах о занятии максимального пространства с помощью его опоясывания или объезда на коне; ср. также многочисленные ритуалы, связанные с опоясыванием, обвязыванием, замыканием (и симметричные им ритуалы развязывания, размыкания).

[26] Показательны причины разлучения близких, которые и приводят к недоразумению: долгое путешествие (о пути/движении в БММ см. далее), похищение *чужими*, при этом особенно — учитывая историю Балкан — *конфессионально чужими*. Насильственная перемена веры (потуречивание) является наиболее сильным способом перевода *своего* в *чужое*. Формула «лучше умереть, чем переменить веру (достаться турку)» в мифологической интерпретации означает отказ от перехода в *чужой* мир, что представляется более страшным, чем переход в *иной* мир, *иной*, но остающийся в пределах *своего*.

[27] Факт, отмеченный Проппом в применении к волшебной сказке: для того, чтобы что-то начало происходить, герой должен выйти из дома и отправиться в путь.

inslav

[28] Мы опираемся на работу В.Н.Топорова и приводим далее основные ее положения, см.: *Топоров В.Н.* Балканский макроконтекст и древнебалканская нео-энеолитическая цивилизация (общий взгляд) // Материалы к VIII Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. София, 30.08.89—06.09.89. Лингвистика. Проблемы культуры. М., 1989.

[29] Этим определяется мультипликация женских мифологических персонажей в балканском пантеоне, а также особые функции женщины — хранительницы домашнего очага, хранительницы родного языка, хранительницы сакральной информации. Роль женщины определяет своеобразие оппозиции *мужской/женский* в контексте БММ.

[30] Следы его сохранились в таких балканских персонажах как Герман, Калоян и др.

[31] Хотя и такой аспект заслуживает быть отмеченным, ср. лингвистический уровень, где система БЯС демонстрирует весьма нетривиальные решения коммуникативных задач в усложненных условиях многоязычия.

[32] Примечательна эта замена, смысл которой — в исключении эротического мотива. Ср. то же в албанской балладе «Песня пастушки» («Kajka e çobaneshës»): разбойники, похитив девушку, спорят, кому она достанется. Главарь объявляет, что девушка нужна не для женитьбы: *S'jena ardhë-për çobaneshën, / s'jena ardhë na me u martue...*

[33] Вообще клятва и ее нарушение (в частности, перемена веры, см. выше) — яркая *балканская* тема, которая должна быть внесена в реестр БММ (ср. хотя бы *besa*, основоположная нравственная и этносоциальная категория албанской модели мира).

[34] Так маркированы пастушеские божества и «обычные» пастухи, чье мифологическое прошлое замаскировано бытовыми и даже комическими деталями (ср. смех богов над козлоногим Паном).

1999

inslav

БАЛКАНСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ПОСЛЕДНИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО МИФА О ГРОМОВЕРЖЦЕ

Современные исследования в области реконструкции мифологических архетипов позволили установить схему универсального космогонического мифа, в частности, в форме, соответствующей общему наследию древних индоевропейских традиций. Существенный фрагмент мифа (реконструированный и в языковой форме) относится к Громовержцу[1]. Было отмечено, что Балканский полуостров является одним из локусов, где сконцентрированы многочисленные данные, непосредственно связанные с мифом о поединке Громовержца, в частности, с тем его вариантом, в котором противником и соперником Громовержца является Змей или существо змеиной породы (дракон, ламия, хала, кульчедра и т.д.). Если в применении, например, к литовско-белорусской традиции допустимо говорить о сохранении исходного текста мифа (хотя бы в некоторых фрагментах), то на Балканах свидетельствуется иное положение. Можно предположить, что пестрота этнического состава, наличие локусов со смешанным населением, многочисленные миграции (в том числе и регулярные — сезонные), ситуации полилингвизма и т.д. обеспечивают не только сосуществование различных культурных традиций, но и их взаимопроникновение и смешение, легкость заимствований и транспозиций. В результате создается особенно высокий уровень помех, вызывающий распыление исходного текста по дискретным трансформам. Поэтому в применении к балканскому варианту основного мифа следует говорить лишь о возможности реконструировать исходный текст на основании многочисленных трансформов, зафиксированных в разных жанрах разных фольклорно-мифологических традиций, представленных на Балканах (ритуалы и ритуальные тексты, мифологические и сказочные сюжеты, тексты, традиционно относимые к бытовым, загадки и речения, детские игры и т.п.).

Применительно к балканской традиции достаточно подробно рассмотрен мотив поединка Громовержца (см. также Херос,

inslav

фракийский всадник и др.) с его противником и мотив воды (отпирание и запирание неба, дожди, появление земных вод, см. обряды Пеперуды, Додолы, Германа, Калояна и нек. др.). Что же касается мотива огня в разных функциональных и семиотических аспектах, то здесь, как представляется, может быть сделан ряд дополнений. Учитывая универсальность культа огня-солнца и многообразие соответствующих мотивов, текстов, ритуалов и т.п., анализируется только одна функция огня, наиболее непосредственно связанная с основным мифом: огонь как оружие Громовержца, используемое им для наказания или для испытания. В первом случае речь идет об уничтожении, во втором — о чудесном избавлении и метаморфозе (мотив Феникса), т.е. об очищении огнем.

Громовержец ударяет Змея молнией-космическим огнем; Змей сгорает и превращается в пепел. Существо не-змеиной породы при определенных условиях безопасно проходит через огонь и приобретает новые чудесные свойства. Примечательно, что на Балканах этот мотив можно реконструировать в живом обряде — *нестинарстве*, огненных игрищах, первоначально распространенных в части Восточной Фракии, прилегающей к Черному морю (большая часть сел в Странджe, район Созополя, т.е. именно там, где находят многочисленные изображения фракийского всадника; нестинарство распространено в некоторых селах греческой Македонии; на территории Болгарии также произошли изменения в связи с переселением). Сейчас возникает особый интерес к нестинарству: переиздаются работы М. Арнаудова[2], суммирующие практически всю литературу о нестинарстве (как непосредственные наблюдения, так и исследования); выходит монография Р. Ангеловой[3], с публикацией полевых материалов, собранных в 1946 г. и 1955 г. и т.д. Нестинарство достаточно полно описано с фактической стороны и в сопоставлении с родственными обрядами других традиций, в синхронном и диахроническом плане; оно рассмотрено в свете мистических переживаний и техники экстаза. Нестинарство является достаточно замкнутым и самодостаточным явлением с легко обнаружимыми историческими и генетическими связями и в этом смысле может быть исчерпывающе описано в своих собственных пределах. Однако при этом ускользает «мифологическая основа» нестинарства, которая, действительно, не может быть восстановлена при рассмотрении обряда внутри себя. Недостаточны и обращения только к аналогичным обрядам, зафиксированным в иных традициях (пляски в огне, ритуальные огни и т.п.). Параллели такого рода

inslav

бесспорны, особенно при признании универсальности культа огня, но учитывая это последнее, по необходимости более или менее тривиальны. Мифологический смысл нестинарства остается недостаточно раскрытым. Представляется, что привлечение внутренних ресурсов болгарской и — шире — балканской традиции в рамках как общих, так и специальных семиотических представлений, будет способствовать включению нестинарства в соответствующий мифологический контекст.

Нестинарство распространено в болгарских и греческих селах на указанных территориях. Основной праздник нестинаров — день св. Константина и Елены (21 — 22 мая ст.ст., 3 — 4 июня н.ст.). Праздник включает в себя сложный ритуал. Процессия с особым образом украшенными иконами Константина и Елены направляется к посвященным им источникам (*аязмо*); там происходит торжественное открытие и освящение источников, из которых в течение года запрещено брать воду, а также освящение ритуальных хлебов. Затем процессия под звук ритуальных барабанов (*тъпан*) обходит ближайшие церкви и монастыри (обычно посвященные св. Константину, Елене, Илье), а по возвращении — все дома в деревне, за исключением тех, где в последний год умерли дети. Иконы несут подростки или юноши. В праздник входит ритуальное заклание жертвенного животного (быка или барана), трапеза, хоро.

Центральным моментом являются огненные игрища, происходящие вечером, в темноте, на мегдане (площади села). Специальный костер разжигают днем, чтобы к вечеру образовался круг с ровным слоем тлеющих углей (нестинары не чувствуют жара, но чувствуют неровности углей, как будто «ходят по камням»). Все село собирается на мегдан, звучит особенно возбуждающее «нестинарское» хоро, и в определенный момент, когда нестинары чувствуют себя пришедшими в экстатическое состояние, они с особыми выкриками (*вахкане*) вбегают на кострище, несколько раз пересекая его, или продолжительное время пляшут на нем, держа в руках иконы св. Константина и Елены. В этом состоянии они получают дар пророчества. Цель обряда — обеспечение урожая, благополучия (*берекет*), здоровья (*за здраве и за берекет е огино*) [Ангелова, с. 55]: чем больше народа пляшет в огне, тем больший *берекет* даст св. Константин. Праздник сопровождается особыми «константиновскими» песнями.

Анализ нестинарства sub specie основного мифа позволяет выделить некоторые мотивы, связывающие Константина и Елену с Громовержцем. Помимо мотива о г н я (с ж и г а -

inslav

н и я), о чем будет говориться специально, см. также мотив в о д ы: св. Константину принадлежат источники, без его разрешения нельзя брать воду, источники, посвященные св. Константину, весь год з а к р ы т ы («запечатаны») специальными плитами или крышками[4]. Мотив д у б а / б у к а: священные источники находятся под старыми дубами (в частности, *церове*) или в буковом лесу; во время освящения их чистят дубовыми или буковыми ветвями, сорванными с этих деревьев. Мотив г р о м а: необходимым атрибутом нестинарской процессии является священный барабан *тъпан*, который в течение года хранится в нестинарском конаке (часовне) или в церкви; нестинарские иконы св. Константина и Елены украшены низками монет, звенящими при движении; (см. к этому же особенно громкие звуки «нестинарской гайды», ритуальные выкрики пляшущих на костре). Мотив с т р е л: того, кто прогневит св. Константина, преследуют *устрели*[5] (род вампиров, собств. 'стрелы', 'прострелы', ср. прострел как наказание, посылаемое Громовержцем[6]). Мотив о г н я - с о л н ц а: нестинарские иконы украшают красной материей, нередко с изображением солнца; ее торжественно меняют каждый год в день св. Константина и Елены[7]. Стены в конаке св. Константина расписаны цветами, змеями и птицами; на матице укреплены голуби, вырезанные из дерева и выкрашенные в красный и синий цвет [Арнаудов 1969, 456].

Самостоятельным персонажем в нестинарской традиции является св. Илья: он сопутствует св. Константину и замещает его[8]: *фати гу свети Илия, че стана нистинар* [Ангелова, 147]; нестинары не обжигаются потому, что перед ними идут св. Константин или св. Илия и гасят огонь; нестинары посвящают конаки не только св. Константину, но и св. Илье; человек, отказавшийся в Константинов день вынести икону из монастыря св. Ильи, поплатился ногой: на нее упал бук, который он рубил, и ногу пришлось отрезать [Ангелова, 78—79], ср. мотивы хромоты и одноногости св. Ильи, как признаков, змея см. [Арнаудов, 1971, 45]: нестинар из с. Пешка ловил ящерицу (*гущерче*), клал ее за пазуху и говорил: *Ей това е св. Илия*. К соответствию Константин/Илия см. еще: парные праздники Малого и Большого Ильи и различение Малого Константина и Дядо Константина[9]. Список персонажей, относящихся к нестинарской традиции, расширяется благодаря включению и иных святых, в которых так или иначе отражены атрибуты Громовержца и его жены. Кроме дня св. Константина и Елены как главного праздника, нестинары отмечают день Ильи Пророка (Илинден), Ивана

inslav

Купала (Еньовден), св. Георгия, св. Пантелея, св. Богородицы, св. Петки-Пятницы, св. Марины и нек. др. (см. в связи с этим набор икон в одном из нестинарских конаков: Спаситель, св. Николай, св. Модест, св. Георгий на коне, св. Пантелеймон на коне[10], в середине — большая икона св. Константина и Елены [Арнаудов 1971, 22])[11]. К паре Громовержец — его жена см. смежность дней св. Константина и св. Елены (21 — 22 мая) и близость дней св. Марины[12] (17 июля) и св. Ильи (19 — 20 июля).

Константин и Елена воспринимаются как отмеченные Господом (св. Ильей, Богородицей), приобщенные к божественному. Господь, св. Илья, Богородица как высшие существа могут замещать Константина и Елену, но не наоборот. Избранность путем испытания сохраняется и в соответствующих этиологических легендах, существующих в двух основных вариантах: 1) Господь испытывает юношей, предлагая им пройти через огонь; испытание выдерживает только св. Константин; затем происходит испытание девушек (иногда потому, что Константин просит не оставлять его в одиночестве); испытание выдерживает только св. Елена; 2) язычники окружают огненным кольцом город, в котором находятся св. Константин и Елена, но с помощью Господа они невредимыми выходят из огня. В развитие этих мотивов, Константину и Елене поручено заставить грешников проходить через огонь для искупления грехов. Нестинары, испытывающие крайние душевные мучения перед тем, как войти в огонь, после игрищ ощущают необыкновенное облегчение и покой. Прохождение через огонь воспринимается ими как обновление и достижение более высокого духовного статуса (см. возникающий в эти моменты пророческий дар; ср. также русских старообрядцев-самосожженцев, которые воспринимают самосожжение не как коллективное самоубийство, а как очищение и достижение безгреховного состояния). «Нестинарский» св. Константин может быть описан признаками молодой герой, *юнак*, подвергающийся испытанию (испытатель — верховное божество), побеждающий огненную смерть. «Нестинарская» св. Елена полностью симметрична св. Константину и не обладает самостоятельными признаками.

Связь с огнем[13], а также выраженная богомильская[14] редакция легенд дают возможность сопоставлять константиновские обряды с митраическим культом, что было подробно освещено и аргументировано М. Арнаудовым[15]. Вместе с тем М. Арнаудов не согласился принять точку зрения И. Смирнова о связи Константина с культом Гелиоса и фракийского солнечного божества Сабазия[16], очевидно, полагая, что это противоречит бесспор-

inslav

ным митраическим следам в нестинарстве. Предположив, однако, более глубинные связи нестинарства с основным мифом, нет основания отвергать любые свитедельства, если только они не принадлежат чистой типологии. Основной миф может включать в себя большое число наслоений и вариантов — временны́х, пространственных и т.п.; часто именно их совокупность дает возможность проникнуть в его скрытые начала.

Истоки названия *нестинарство* давно привлекали внимание исследователей. При отсутствии окончательной этимологии достоверным признается греческое происхождение: нестинарство связывается с нгр. диал. νηστιά 'огонь, очаг' или νηστεία 'пост'; греческая форма ἀναστενάρης возводится к глаголу ἀναστενάζω 'вздыхать'. В византийских источниках XIII в. описывается экстатическая секта ἀσθενάρια: об огненных игрищах в связи с ними не говорится, тем не менее признаются некоторые основания связывать их с современными нестинарами. Наконец, явная связь нестинарства с дионисийским культом (Дионис, спасенный Зевсом из пламени, происходящий от земли — Σεμέλη, выношенный Зевсом в бедре) вводит в круг рассмотрения дионисийские игры ἀνθεστήρια (по времени, правда, точно совпадающие с кукерскими обрядами). Не касаясь собственно этимологии, можно предположить, что связь с Дионисом, вышедшим из огня, с циклом весеннего возрождения (Деметра, Персефона, см. Элевсинские мистерии в месяц ἀνθεστήριον) делают правдоподобным выделение комплекса *-n-s-t-n-*, который в кодировании основного мифа соответствует семантеме, восставание, воскрешение (ἀνάστασις). Идя дальше, можно предположить следы этого же комплекса в имени Константин, что имеет и дополнительные содержательные основания: *Константин* < лат. *constans* 'постоянный', 'стойкий' и, по нестинарским легендам, 'прошедший испытание'. Хотя это значение в узусе вряд ли ощущается, тем не менее оно может служить еще одним аргументом в пользу вычленения комплекса *-n-s-t-n-*. Это, в свою очередь, позволяет актуализировать отношение *нестинар — Константин* не только по звуковому подобию, но и по соответствию семантеме *воскрешение* (в данном случае — прохождение через огонь, обновление). Если принять связь Константин (нестинар) с семантемой воскрешение, то пара К о н с т а н т и н — Е л е н а типологически может соответствовать паре А н а с т а с и я — П а р а с к е в а: В обоих случаях корень, представляющий женский вариант имени Громовержца **Pers-*, **Ilj̃-*, проясняется комплексом *-n-s-t-n-* 'воскрешение'.

inslav

Достаточно показателен нестинарский словарь, приведенный Р. Ангеловой, и его отражение в текстах, описывающих состояние и действия нестинаров. Прежде всего выделяется комплекс *-p-r-(k)-*: *пере* 'бить, ударять': *Га запере тъпанъ, ни мож я зъпря; перкам съ* 'ударяться, биться', *перкане* 'хлопанье в ладоши' *(за)праскам се* 'глагол означает удары по телу руками как выражение большой муки и тревоги'; *пираксам* 'действовать как «прифанат», т.е. как охваченный духом св. Константина[17] и др. См. распределение соответствующих звуковых комплексов в текстах:

тъпана *пере* — *перета* се не трае; ...стана болна, та *переше, переше* мястото вътре; ...чи съ *перкъши* и *переши*; Моя баба Добра в огъня *бъркаше*; с боси ноги в жив онън *бъркъ*; Сто Кустадин я *пиракса* — *прифати* я; Колкото й черна по-черна стане, зацирика, земе да *се перка*, да вафка; ...пред Костадиновден като завиках, като *запрасках*... като удари тъпанът ... ти току *пръхнеш*, та се загубиш; *затрепериш* и та накара, та са бухнеш в огино; нестинарка почва да *потреперва*...; прихванати... *се разтреперват*, стават като лед студени, *бъркат* в огъня, тъпкат — и ги не гори; ...*разтреперам се* и ме кара да влизам в огъня и т.д.

Частое повторение комплекса *трепер-*вызывает ассоциации с *пеперудой*, см. в связи с этим песню, которую поют в Константинов день: *летай, переруго от гора на гора, от поле на поле* [Веркович, 124][18]. Тот же звуковой комплекс прослеживается в названии села *Припор*, по преданию «матери нестинарства», откуда произошли нестинарские обряды. Это название народная этимология связывает с греческим *Трипори* 'Три перехода' [Арнаудов 1969, 471—472]; протекающую недалеко реку Велека называют еще Трипорската река; в окрестности села много старых захоронений, предположительно фракийских[19].

Другой звуковой комплекс **Ilji-* связанный с солнцем «῞Ηλιος и с корнем **Vel-* представлен, главным образом, в именах и в их производных: Илия, Илинден, Елинден, Елински месец — *нъ свити Илия нъ имиту й Елинския месиц*, Елена и под. Возможно, сюда относится и *елен* 'олень', см. связанные с ним нестинарские предания: олень приходил каждый год к источнику св. Константина и чистил рогами листву и ветви; однажды охотники, пришедшие «издалека, его убили, и с тех пор олень не появлялся; другой вариант — олень приходил, чтобы быть принесенным в жертву; однажды ритуал был нарушен, и с тех пор олень не приходит. С оленем народная этимология связывает название села Влахово (от гр. ἔλαφος > ἐλάφι > λάφι 'олень'), около которого и находился «олений» источник. Впрочем, может быть, здесь присутствуют следы корня **Vel-*[20].

inslav

Словарь такого рода может быть пополнен и именами, появляющимися в соответствующих сюжетах (о них см. ниже) и содержащими звуковые комплексы, кодирующие основной миф. Кроме классического сочетания *Константин и Елена* (Аленка, Јелица, Лена, Ленуца, Илинкуца, Иляна и т.д., м.б., Ангелина) или одного из этих имен, нередко встречается сочетание *Илья — Елена*, где комплекс **Ilji-* дублирован.

Весьма значимо сочетание болгарских имен *Стоян — Петкана/Стояна*, тем более, что оно нередко встречается в сюжетах, связанных со змеями (например, «Женитьба змея»), с испытанием верности жены, с кознями матери или свекрови и т.д.[21] Имя Стоян, встречающееся в болгарском фольклоре во многих вариантах[22], связано с корнем *sta-* 'стоять', что, несомненно, живо ощущается; в определенном смысле, можно говорить о соответствии имен *Константин/Стоян*, где Стоян, воспринимается как своего рода упрощение, прояснение и «перевод», Константина. Имя Петкана, которое сочетается среди других и с именем Стоян (а в сюжете «Приход мертвого брата» с именем Лазар, связанным с воскрешением), происходящее от Петка-Пятница, связывается через это со звуковым комплексом, соответствующим имени Громовержца (небезынтересно, что в болгарском отмечено мужское имя Парашкева́, с уменьшительным Пракя)[23]. Сочетание *Стоян — Петкана* может быть сопоставлено с сочетанием *Константин — Елена*. Существенны и более далекие связи имени Петкана с звуковыми комплексами, оформляющими семантемы основного мифа. Народная этимология связывает уменьшительные Петко, Петканчо и т.д. не только с Петка/Пятница (Параскева), но и с *Петьр*, именем с особыми мифологическими связями.

Для установления мифологических оснований сочетания этих комплексов друг с другом, следует более подробно рассмотреть сюжеты, связанные с носителями соответствующих имен.

К о н с т а н т и н — особое имя в балканской модели мира: с ним связывается большое число персонажей, прежде всего исторических. Периодическое использование имени Константин как династического у византийских императоров создает на уровне фольклора, во-первых, «спрессовывание» образа (разные носители одного имени отражаются друг в друге и объединяются) и, во-вторых, ощущение постоянного повторения, своего рода обновления Константина. Исторические Константины, в конце концов, группируются вокруг двух основных образов: св. Константин, император IV в., давший христианству

inslav

равные с язычеством права и вместе с Еленой нашедший истинный крест (в одной из версий прохождение через огонь помогает Константину и Елене найти крест); Константин Палéолог (царь Костадин), с которым связано падение Константинополя, когда погиб и он сам. *Константин* воспринимается как начало и завершение традиции. В большом числе случаев и св. Константин и царь Константин выступают не столько в исторической, сколько в фольклорно-мифологической ипостаси, поэтому есть смысл говорить вообще о К о н с т а н т и н е как об особой единице в списке персонажей балканской традиции, выясняя его атрибуты и предикаты на основании анализа соответствующих сюжетов[24].

В связи с К о н с т а н т и н о м прежде всего выделяется группа сюжетов, объединенных мотивом смерть-воскрешение (или временная смерть/временное воскрещение). К ним относится известный сюжет «Приход мертвого брата»:

Младший из умерших братьев (чаще всего их 9) Константин[25] встает из могилы[26], чтобы привести выданную замуж в далекие края сестру на свидание с матерью. Выполнив обещание, он возвращается в могилу. Мать и сестра обычно умирают или превращаются в птиц.

Для сюжета характерно противопоставление Константина, младшего, остальным братьям: он единственный настаивает на удалении сестры против воли матери (ср. инвертированный сюжет: отец просит сыновей отдать дочерей первому встречному: старшие отказываются, младший выполняет волю отца [Dawkins, № 12]); его единственного проклинает мать (обычное содержание проклятия «чтоб тебя не приняла земля», см. однако болгарский вариант «Чтоб тебе опуститься в землю в 9 раз глубже»)[27]. В вариантах, где нет проклятия матери, противопоставление Константина братьям тем не менее сохраняется:

Братьев хоронят в доме в н у т р и, Константина на кладбище, т.е. с н а р у ж и, братьям, мать ставит по одной свече, Константину — две или, напротив, Константину ни одной (ср. вообще мотив разного оплакивания Константина и братьев или: у могил братьев мать плачет у могилы Константина рвет на себе волосы; у могил братьев посажены цветы, у могилы Константина протоптаны дороги), братья умирают, а Константина убивают, Константин умирает спустя некоторое время после смерти братьев и т.д., см., наконец, «нулевое» противопоставление: κλαίει ἡ μάννα τούς ἑφτά, κλαίει καί τόν Κωστατῖνον 'оплакивает мать семерых, оплакивает и Костантина; (ΕΔΤ, 317).

В определенном смысле Константин — чужой в семье и враждебен ей: он является причиной смерти матери и сестры. В свою, очередь, мать враждебна по отношению к Константину. Воск-

inslav

решение (в большинстве вариантов Константина воскрешает верховное божество — Господь) и возвращение Константина в землю неоднократно сопоставлялось с мифами о весеннем цикле (в частности, с мифом об Адонисе и под.), т.е. о «вечном возвращении». В сюжете «Приход мертвого брата» Константин описывается признаками:

Младший, противопоставленный семье (мать — сестра — братья; об отце упоминаний нет), по высшей воле умирающий и воскресающий; самостоятельно Константин действует только тогда, когда немотивированно настаивает на удалении сестры; остальные его действия подчинены чужой воле.

Другая группа сюжетов с участием Константина (или царя Константина, см. [СбНУ XIII, 223]) — женитьба на покойнике, который затем оживает. Девушка, обычно по предсказанию птиц, опускается в могилу к покойнику, проводит там несколько лет и затем вместе с ожившим мужем и ребенком выходит наружу. Сюжет распространен на Балканах особенно в албанской традиции, где герой, как правило, выступает безымянным. Примечателен вариант о временном воскрешении [Mbledhës № 223]:

Девушка выходит замуж за покойника и спускается к нему в могилу; затем они выходят из могилы, но муж может приходить к жене только по ночам; его выслеживает мать жены; увидев ее, он умирает; способы оживления указывает солнце (*Djeili* > **Illji*-).

Существенно отметить выход героя (Константина) из-под земли, его воскрешение, в том числе временное, нарушение правил оживления. В связи с дальнейшим см. появление в сюжете змей:

Девушку кладут в гроб к царскому сыну; туда приходит змея со змеенышами; девушка убивает змеенышей, но змея оживляет их особой травой: той же травой девушка оживляет царского сына.

Константин, обычно выступающий с эпитетом *маленький*, *ὁ Κωσταντῖνος ὁ μικρός*, *ὁ Μικροκωσταντῖνος*, *Kostantini i vogëlith*, возвращаясь издалека-«воскресая», неожиданно появляется на свадьбе у своей жены, считавшей его погибшим[28]; см. здесь мотив с м е р т и (жены, соперника и даже обоих героев, ср. [СбНУ, XIII, 34—35], где названо имя жены Анастасица, ср. выше о соответствии Анастасия — Константин). С этим сюжетом отчасти сопоставляется сюжет «Брат убивает сестру»: брат, часто Константин, возвращаясь издалека, убивает сестру и/или ее возлюбленного (мотивы: возвращение и смерть).

В этой группе сюжетов Константин убивает (причиняет смерть) или появляется мертвым. В другой группе Константин

inslav

погибает. См. (особенно в греческой традиции) маленький Константин в сюжете «Переход через море»: чтобы добиться руки царской дочери или чтобы его перестали считать маленьким, Константин вызывается перейти через море (*'Εσεῖς μικρόν μέ βλέπετε, μικρόν καί μέ θαρρεῖτε, | κι ἐγώ τή μαύρη θάλασσα νά πλέξω νά περάσω* 'я вам кажусь маленьким, вы меня считаете маленьким, а я пройду и перейду через черное море' [ЕП, 264]), доходит до середины и тонет, упрекая море в том, что много раз оно давало ему пройти, а теперь утопило его (Н. Политис сближает этот сюжет с мифом о Тезее и Амфитрите: Зевс поражает Тезея молнией, он тонет в море, его спасает Амфитрита и помогает ему через 3 года подняться наверх, см. [Πολίτης, 134]). Ср. болгарский вариант с показательной меной имен:

Единственный сын у матери И л и я, переплывает Дунай, чтобы добиться невесты; в середине реки он тонет, но когда сваты с невестой приходят в его дом, их встречает мать Ильи, говоря: *...Илия сега довтаса, та си крилете сушеше* [Бълг. нар. тв. 195].

С сюжетом Константин — жертва, в определенном смысле сопоставляется греческая песня «Константин и царь» [ЕП, 252—253]: Константина обманом заточают в железную башню. Примечателен известный сюжет «Мать — убийца»:

Константин, мальчик, грозит матери разоблачить ее перед отцом за измену, свидетелем которой он был; мать убивает сына, варит его печень и подает отцу; печень открывает отцу преступление матери, отец убивает мать. (См. еще: *в нова къща едно братче на девет сестри пекли на ръжен; баща му донесъл ръжен от гората, а майка му дърва* [Бълг. фолк., 117].)

Кроме этого варианта, совпадающего с античными прототипами, существуют и другие, в которых акцент делается не на преступлении матери, а на ее нелюбви к младшему сыну, или вообще на особом отношении к нему, по сравнению с другими детьми и родственниками. См. (с другими именами, тем не менее, значимыми в контексте основного мифа):

«Георги Грозникът» — у матери 9 сыновей и десятый, самый младший, Георги; мать изгоняет Георги, предпочитая ему 9 братьев; через 9 лет он возвращается, узнает, что все 9 братьев умерли, напоминает матери о ее вине: в раскаянии мать умирает. В варианте Райчев № 88 Георги проклинает мать за изгнание и насылает чуму на 9 своих братьев (здесь как бы инвертируется ситуация «Прихода мертвого брата»).

Крайне существен вариант «Мать предпочитает брата сыну»:

У Е л е н ы 9 сыновей и десятый Илия; чтобы спасти брата от врагов, она жертвует сыном, отдавая его на сожжение. *Среди дворье ясен огин, окол огин клети турци. Ка са видели Илиа, у раце го дофанали, отсекоа ру-*

inslav

са глава, па го у огин фърлиа [Шапкарев 2, 391 — 394]; см. также [Шапкарев 3, 194 — 197] с рефреном *...Илиdо, Илиdо! Дали кеш в огин горети,* | *или кеш в кърви тъхнати*?! и с концовкой [Ангелы] *согледаа силен огин;* | *у огино, млад Илиа* | *гореше и си плачеше...* | — *Силен си огин гореше.* | *И у огино Илиа!* | *и Господ ги па изпрати:* | — *Донесете го код мене.* — См. мотив огня, сожжения Ильи и его вознесения наверх, к Господу.

Ослабленный вариант:

Мать продает младшего сына из-за бедности (нередко оставшиеся дети умирают, см. абланскую сказку «Ager Isvano», где мать продает младшего из 9 братьев, причем остальные братья погибают). К вариациям можно отнести сюжеты типа «Нечаянное убийство сына» (мать не узнает сына, пришедшего издалека).

Враждебное отношение матери к младшему/маленькому сыну в рамках балканской традиции вписывается в тему «Проклятие матери» («Η κακή μάννα»), отсылающей сына на смерть:

Diparte, hilĭŭ, di casa mea 'Дальше, сын от моего дома' [на съедение змеям и ламиям] [Papahagi, Ant., 61]; *Νά πᾶτε ἐννιά ἀδερφάκια καί νά ρθεῖτ' ὀχτώ,* | *ὁ Γιαννης νά μήν ἔρχεται ὁ μικρότερος* 'Идите девять братьев, а возвращайтесь восемь, | Яннис пусть не приходит, самый младший' [ЕП, 315].

Проклятие матери связывается с темой змей, см. румынский сюжет «Şarpe»:

Мать проклинает ребенка за то, что он плачет, обещая его змее. Когда он вырастает, змея преследует его; обычно его спасает чудесный помощник.

Связь з м е я — р е б е н о к в балканской традиции весьма значительна и требует специального рассмотрения. Круг этой темы широк и разнообразен: змей женится на женщине, у нее рождается змееныш (сюда же относятся: женщина предпочитает змея брату, сыну, предает их и т.п.); у женщины и у змеи одновременно рождаются дети, змея крадет человеческого ребенка и подбрасывает змееныша; бездетным родителям вместо ребенка бог дает змееныша[29] и т.п. Основная особенность сюжетов этого типа следующая: внешне змей (змееныш) изоморфен человеку[30] (если только не принимает специально змеиный облик); отождествление («узнавание») змея возможно лишь с помощью специального испытания. Зыбкость границы между змеем и человеком, способность змея к метаморфозам обусловливает и относительную легкость превращения человека в змея и обратно, см. хотя бы «Злая свекърва превръща сина си на змей» [С.И. Бълг. № 674] и под. В связи с этим актуализируется опасность рождения у женщины змееныша, см. распространенный болгарский сюжет о девушке, проглотившей 'влажную змейку', *змийка усойна*: ее подозревают в

inslav

том, что она ждет ребенка, убивают и находят в чреве змею [Райчев №№ 782, 783; С.И. Бълг. № 1187 и др.]. Одно из ответвлений этого сюжета — змея внутри невесты, в свадебную ночь выползающая и убивающая жениха. Враждебная роль змеи или змееподобного существа, пробравшегося в семью под видом человека, вводит в круг рассмотрения сюжеты о сестре-ламии, поедающей братьев. (Заслуживает внимания вариант, осложненный дополнительным мотивом; младший сын борется со змеями, мать влюбляется в змея и предает сына.) Борьба с сестрой-ламией включается в число змееборческих сюжетов, когда победителем оказывается младший из нескольких (чаще 9) братьев, которых он спасает (оживляет) и т.п., среди многочисленных вариантов см. румынскую сказку [Бълг. фолк., 121—123]: у старухи чудесным образов рождаются 9 сыновей, один из которых, младший, — х р о м о й[31]; восьмерых братьев съедает ламия, ее побеждает младший, хромой, сын и спасает братьев. Отмечено, что достаточно часто имя младшего брата-победителя — К о н с т а н т и н[32]. В оппозиции старшие братья — младший существенны их взаимоотношения. Они могут быть нейтральны или враждебны (братья-предатели). См. частый сюжет: старшие братья бросают младшего в источник или в колодец к змееподобному существу.

Пока отвлекаясь от Константина, существенно рассмотреть отношение з м е я — о г о н ь — к а м е н ь. Змей с эпитетом *огненный*[33] боится испепеляющего его огня — оружия громовержца. См. интересный греческий вариант сюжета «Св. Георгий и змей», где в роли змееборца выступает девушка, сжигающая змея после следующего обращения к нему [Abbot, 261].

'Εγῶμαι τ'ς ἀστραπῆς παιδί, τῆς βροντ αρᾶς ἐγγόνι.
'Εγῶμαι ἀστραπόβολος 'π' ἀστράφτω καί μπουμπνίζω.
Μιά φορά σάν ἔστραψα σαράντα Δράκ 'οὖλ' τ̣ ἔκαψα.
"Ενας κουτσός ἀπόμενε• μπάς κ'εἶσ ἡ ἀφεντειά σου;

'Я дитя молнии, внучка грома, | Я — метательница молний, сверкаю молнией и гремлю. | Однажды я ударила молнией в сорок драконов и всех их сожгла; | Один х р о м о й остался; не ты ли это?'

В сюжете «Девушка, похищенная огненным змеем» [С.И. Бълг. № 551] змéя сжигают в травах, в состав которых входит *овчарската пероника* (Iris germanica):

Змейо, ле, силен и вогнен,
Ето го змея пристигна,
И са го в чело парнали
И той на место остане,
На едно купче пръшчица.

inslav

К страху змеи перед огнем см. сюжет о змее, которая просит, прохожего спасти ее, сняв с горящего бука (в македонской сказке «Добрина за добрина»: *...една бука каде горела, а на буката една змия пиштела и викала на помош*). Сжигание змеи — одно из постоянных действий в магической практике, см.: чтобы избавиться от гусениц, берут трех гусениц, сжигают их, и дымом окуривают сад [Abbot, 231]; в Великий Четверг сжигают мусор у дома, чтобы черви не приближались к нему [Muşlea, 148]; чтобы избавиться от змей, сжигают шерстяную тряпку [Muşlea, 227] и т.д.; пепел змеи, сожженный в специальном сосуде, используется для врачевания [Gor. Cr., 399][34], в тексте заговора от змеиного укуса «девушка варит мамалыгу из пепла, змея ест ее и издыхает» [Muşlea, Bîrlea, 517]. Особо следует выделить сюжеты об испытании огнем змея-оборотня, превращающегося по ночам в человека. Мать или жена сжигают змеиную кожу, которую он сбрасывает, и змей погибает[35]. Именно о г о н ь является окончательной змеиной смертью (ср. мотивы отрастания отрубленных у змея голов) и, следовательно, безошибочным испытательным средством.

Связь змея↔камень примечательна своей двусторонностью: змею у б и в а ю т камнем, часто раскаленным; змея п р е в р а щ а е т с я в камень; червей проклинают тем же проклятием, что и камни, которые «не растут вверх и не имеют корней»; см. также: Бог разламывает вынутый из моря камень, внутри его оказывается червь [Цепенков 4, 55 — 56][36] и т.д. Цепь ж а р — к а м е н ь — ч е р в ь отсылает к мифологеме «Громовержец и его дети», см. еще в связи с этим предание о горячих источниках в окрестностях Кюстендила:

> в источниках плавают красные черви, которые появляются только тогда, когда солнце смотрит в воду, но их, как говорят, никогда нельзя поймать[37].

Мотив «Наказание Громовержцем жены и детей» достаточно достоверно восстанавливается, в частности, в румынской традиции. Громовержец свергает жену вниз; она становится «хозяйкой низа» и воспринимается вдовой (ср. болгарскую загадку об искре: *нагоре вьрви невяста, надолу иде вдовица* [Стойкова № 3109]). Ее дети остаются наверху, на горе[38]. В отсутствие матери Громовержец поражает их огнем. Мать видит пламя: горят Горы Канагалийские, горит дом на Горах Гэргэутских, на склоне Гаралейском или на холме Гаралейском горит большой огонь, горят пламенем дома св. Пятницы, горит дом Жоймэрицы, и т.д., см. также: *...intre deal | şi' ntre Ardeal | Ard casele sfintei Marţi* [Olinescu, 450], *...arde casa bojei | pe dealul*

inslav

Galariului [Niculiţă-Voronca, 275], *ard horaiţele* [Idem 172]. Св. Пятница, как и св. Среда, живет на холмах или близко к небу на высоких деревьях [Răd.-Codin, 113] и др.[39] С криком «Это пламя сжигает моих детей» мать бросается обратно в в е р х, чтобы спасти их[40]. Дети «хозяйки низа» представлены в виде хтонических, часто змееподобных животных: драконы, змеи, ящерицы, лягушки, мыши, кроты, ласки и т.д., т.е. те, которых традиция относит к нечистым и проклятым. Они, как и их мать, боятся быть обваренными и ошпаренными. Змеиное происхождение детей дополнительно подтверждается текстами типа «Змей (змея) змеиное гнездо на горе», см. например, в заговорах:

într' un vârf de munte nalt | o şerpoaică a fătat; | noua pui a fătat; | cum a fătat aşa a crăpat [Gor. D., стр. 289] 'на вершине высокой горы | змея родила; | д е в я т ь детей родила; как родила, так издохла';

Clocea şerpele | La vîrfu Galareului | Pui me scoate. | N-o putut face cuib, | Nici o putut scoate pui... [Birlea 1968, 397] 'Сидела змея на яйцах | На вершине Галарейской | Детей выводила. | Не смогла свить гнездо, | И не смогла вывести птенцов'.

См. к этому же: Ileana Cosînzeana (персонаж, связанный среди прочего со змееборческими сюжетами) рождает последовательно 8 детей, которых поедает ведьма, а д е в я т о г о, последнего, она прячет на горе в темнице [Gor. D., стр. 327][41]. См. также поверья, что 'летающие змеи' *balauri*, саламандры[42], жабы падают с неба вместе с дождем [Muşlea, Bîrlea, 186, 285, 287] и т.д.

Приведенные данные позволяют выделить несколько блоков, связанных одной из версий основного мифа.

1) Громовержец низвергает жену, но оставляет детей наверху. В отсутствие жены он поражает детей огнем. Жена пытается возвратиться, чтобы спасти детей. Дети связаны со змеями и змееподобными существами: они двуприродны или их обращает в змей/червей Громовержец. После наказания дети превращаются в пепел или скрываются под землей; выход наверх грозит им гибелью (ср. алб. загадку о черве: «человек без костей, живой под землей, мертвый на земле») [Frashëri, 95][43].

2) Сын, обычно по имени К о н с т а н т и н, занимает особое положение в семье, состоящей из матери и, как правило, девяти братьев. — Он самый младший или самый маленький. Мать не любит его, предпочитает ему братьев, стремится избавиться от него: изгоняет, проклинает, убивает, съедает, отдает на сожжение. Братья бывают враждебны к нему, предают его и пытаются убить, бросая в колодец. Младший противопоставляется остальным братьям по своей чудесной природе или по спо-

inslav

собности совершать чудесные поступки: он выступает победителем в змееборческих сюжетах, спасает братьев от вредителя чаще всего змея (змей может быть членом их семьи, см. сестраламия), возвращает им человеческий облик при превращениях. Младший проходит через огонь и не сгорает. Если младший умирает, скрывается под землей или превращается в червя, его пребывание/превращение временно (см. вариант сюжета «Приход мертвого брата», где червяк превращается в Константина [Vrabie, 114, табл. A]).

Соединение этих блоков дает возможность произвести некоторые уточнения в мифологеме «Громовержец и его семья».

В основном мифе мотивы «Наказание жены» и «Наказание детей» рассматриваются как альтернативные или представляющие собой разные трансформы исходного сюжета. Следовательно, речь идет о наказании в чистом виде. В разных вариантах оно обращено либо на жену (причина — измена), либо на детей (их вина неизвестна). Здесь предлагается не считать эти мотивы алломорфными, но включать оба в исходный текст в последовательности «Наказание жены» → «Наказание детей». Рассмотренный материал предполагает следующую интерпретацию, представляющуюся достаточно правдоподобной. Громовержец, изгнав жену за измену со Змеем, начинает подозревать, что и его 9 сыновей — змееныши, и решает подвергнуть их испытанию огнем на свойство «быть змеем». Сыновья змея сгорают, становясь пеплом, или делаются червями, камнями и т.п., скрываясь под землей. В этом случае можно говорить, что Громовержец не превращает детей в змей, червей, камни т.п., но испытанием заставляет их проявить свое небожественное — нечеловеческое происхождение, в котором он не вполне уверен. То есть эта ситуация трактуется не как *наказание* собственных детей, но как *продолжение борьбы с противником*, мультиплицированным в детях. В связи с этим распространенные сюжеты о борьбе отца и сына за власть, об уничтожении сына отцом получают несколько иное освещение: здесь может идти речь о ложном сыне, о замаскированном противнике, повторенном во времени и пространстве.

Испытание проходит только и с т и н н ы й сын Громовержца самый младший и самый маленький, см. формульное речение:

Поминав, вода, не се удаив,
Поминав огон, не се изгорев,
Поминав секира, не се пресеков
[Цепенков 9, 141][44]

inslav

Существенно, что испытание необходимо не только Громовержцу, для опознания истинного сына, но и самому сыну, для преодоления в себе змеиных черт. Вскрывается неслучайность того, что настоящий обязательно младший: то, что он младший и единоутробный брат змеенышей, приобщает и его к змеиной породе. Он должен пройти стадию очищения и вернуться в мир обновленным. В свете этого возникают некоторые соображения о мифологической основе обрядов инициаций, состоящих из ряда достаточно длительных испытаний; они направлены, во-первых, на то, что младшие должны доказать истинность своей принадлежности к данному коллективу и, во-вторых, на то, что испытания должны помочь им избавиться от зла, воспринятого хотя бы и невольно.

Пребывание героя под землей, под водой, в заточении (в замкнутом пространстве), т.е. временная смерть[45] и воскрешение, вводит в круг рассматриваемой мифологемы персонажей календарного цикла, связанных со сменой времен года, с возрождением и умиранием природы: Телепина, Залмоксиса, Диониса, Адониса, наконец, Персефону-Прозерпину и т.д. Это позволяет связать основой миф о Громовержце с другим основоположным мифом — о «вечном возвращении»: в данном контексте мифы связываются родственными отношениями между их героями. Громовержец может интерпретироваться как о т е ц божества, управляющего календарным циклом и обеспечивающего правильное осуществление функций мира природы, отчего зависит плодородие, здоровье, благополучие и т.п. Сам Громовержец, обладающий верховной властью, употребляет ее для устройства мира на более высоком, космогоническом, уровне и для нравственного руководства миром.

Несколько заходя вперед, можно попытаться установить следующую схему, соответствующую универсальной модели мира и в каком-то смысле определяющую основные направления в распространении многочисленных мифологических и фольклорных представлений, сюжетов, ритуалов и т.п. На предварительном этапе могут быть выделены три части или шага, последовательно расположенные на временно́й оси:

1) сотворение мира;

2) поединок Громовержца с противником, изгнание жены испытание детей;

3) воскрешение младшего, истинного сына, кладущее начало календарному циклу[46].

inslav

Эти части, связанные друг с другом содержательно, образуют инвариант, дающий неограниченные возможности для разветвлений и вариаций.

Мотив детей-змеенышей, подмены детей, брака между человеком и змееподобным существом, на внешнем уровне — неразличение змея и человека, так же, как и обмен атрибутами (см. представления о человеческом происхождении змея; нóги у змея — хромота, безногость героя и т.п.), приводит к мысли о двуприродности людей, в зависимости от их божественного или змеиного происхождения. Существенно, что в нейтральной ситуации различия скрыты: они либо известны изначально (см. тотемную традицию, где не-человеческий предок известен, и родство с ним поддерживается и охраняется); либо проявляются в критической ситуации.

В свою очередь, критическая ситуация может возникнуть самостийно, ввиду большей активности змеиного начала; с другой стороны, критическая ситуация может быть вызвана искусственно, специальным (или невольным) испытанием. Ситуацию первого брака и первой семьи (Громовержец — жена — 9 сыновей) в применении к реконструируемому варианту основного мифа можно расширить до ситуации первого треугольника: Громовержец — жена — Змей. Предполагается, что первоначально добро и зло существовали в мире в непроявленном статусе; оппозиция добра и зла не была актуальной. На этой стадии различия между Громовержцем и Змеем были нейтрализованы. Может быть, легкость обмена атрибутами и предикатами между Громовержцем, и Змеем, среди прочего, имеет и глубинные семантические основания: в начальной позиции Змея можно было трактовать в какой-то степени как дублера Громовержца (или его друга — многочисленные парные божества, парные герои и т.д.). Затем наступил момент, когда ситуация была взорвана Змеем: похищение скота, измена жены, разоблачение детей. Громовержец победил змея в поединке, изгнал жену; подвергнув испытанию детей, он одновременно избавился от потенциальных противников, очистил от скверны истинного сына и доверил ему особую область — мир живой природы. Однако зло в мире но было уничтожено окончательно, поскольку змей лишь скрылся в земных водах. Возможность сосуществования непроявленного добра и зла сохранилась. Это сохраняет и взрывчатость ситуации, особенно из-за большей активности зла по сравнению с добром. Опасность заключается в том, что племя Змея живо[47], и двуприродность человека сохраняется. При этом возможны не только чистые

inslav

случаи: племя Авеля/племя Каина («железные люди») оппозиции люди/не́люди, человечность/бесчеловечность и т.д., но и смешанные случаи совмещения змеиного и человеческого начала при сосуществовании зла и добра в одном субъекте.

На этом фоне манихейские идеи получают дополнительное обоснование в мифологеме «Первый поединок добра со злом». Оптимистичным в вечной ситуации борьбы добра и зла является возможность достижения добра путем очищения и испытания даже при исходной причастности к злу (младший сын Громовержца). Манихейство, постоянное напоминание о противоположных силах, действующих в мире, особенно значимо из-за того, что зло существует скрыто и неотличимо от добра, набирая темп для критической ситуации, к которой следует готовиться заранее, чтобы иметь возможность предупредить ее. Поединком Громовержца со Змеем отмечается момент введения в устройство мира нравственного начала, как двигателя мира, актуального при наличии противоборствующих сил.

Существовавшая до этого гармония, по своей сути, была не динамична, так что накопленные потенции пропадали втуне (не случайно движение, в частности, смена времен года и другие циклы были введены п о с л е поединка и последовавших за ним событий). Изживание зла не только в мире, но и в самом себе, преодоление имманентной вины и связанные с этим философские, религиозные и этические идеи могли иметь своим истоком или находить себе отражение в универсальной мифологеме о змееборчестве, прохождении через смерть и воскрешении в очищенной и обновленной ипостаси.

[1] См. прежде всего монографии: *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965; *Они же.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974, а также другие многочисленные работы тех же авторов.

[2] *Арнаудов М.* Очерци по българския фолклор. 2. София, 1969. — Экстаз и мистика. С оглед към нестинарите в Източна Тракия; При нестинарите в Странджа —; *Он же.* Студии върху българските обреди и легенди. I. София, 1971. — Нестинари в Тракия (далее — [Арнаудов 1969], [Арнаудов 1971]).

[3] *Ангелова Р.* Игра по огън. София, 1955 (далее — [Ангелова]).

[4] В греческой традиции на праздник св. Константина поют песни об источнике, который сторожит дракон [ЕДТ, 341].

[5] Ср.: *А трескавицата (рофята) била Свети Ильйоите устрели, шчо падинале на земята како нажежени каменя* [Шапкарев 4, 58].

[6] Другой вид преследователей — *топаци. Топак* 'дух утонувшего в реке быка', обладающий вампирическими свойствами, — к мотиву *воды, скота* и специально *быка.*

inslav

[7] Ср. изображение св. Константина и Елены на надгробном камне XVII в. из Ясс, с антропоморфным изображением солнца и луны соответственно в левом и правом верхнем углу: *Stahl P.H.* Folclorul şi arta populară românească. Bucureşti, 1968, N 44.

[8] Другие варианты замещения: Константин → Господь, Елена → Богородица: *Господ и свети Кустадин дъ ви пумагает* [Ангелова, 97]; *откато ма забелязаха свети Костадин и света Богородица* [Ангелова, 29].

[9] Ср. еще сочетание 'хромой змей': у едну крайну ижицу су нашли еднога змейула шк'опога (*Младенов М.* Говорът на Ново село. Видинско. София, 1969. С. 229).

[10] Св. Пантелеймон исцеляет хромых и кривых [Abbot, 241]; св. Пантелеймон — брат св. Ильи [Istrătescu, 358).

[11] Ср. также имена святых в топонимике этой области: Илья, Георгий, Николай, Власий, Петр, Иоанн, Петка и т.д., см.: *Jireček C.* Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der Balkanländer. Wien, 1897. P. 45—47.

[12] О Марине в контексте Громовержца к известному см. еще: св. Марена била дьявола по голове молотом; св. Марена жжет поля тех, кто жнет в ее день; к ней обращаются: *Ти палиш, ти гасиш, св. Марено*! [Шапкарев 1, 571]; ср. также проклятие с неясным значением: *Убил те Марен, ало алеста; убил га мара* (*ало — хала, ламя*) [СбНУ XIII, 231, 232].

[13] Ср. еще обрядовые песни праздника св. Константина: *Кюстадин ии Света Елена / В огъня хоро играят...*; *Милния свети Костадин и света Елена, / милна вода носят огъня да гасят...* и др.

[14] В связи с Ильей богомильские источники представляют дополнительные данные о его «двуприродности», связи с добром и злом (в терминах основного мифа — с Громовержцем и его противником): Илья враждебен к людям за их грехи, он запирает небо на три года так, что не греет солнце и не идет дождь, насылает на людей оспу (*Ангелов Д.* Богомилството в България. София, 1969. С. 258); к этому же, очевидно, относится известный фольклорный сюжет о том, что Илья в свой день собирается разрушить мир. В богомильской «Тайной книге» Сатана послал своего ангела Илью-пророка крестить водой, в противоположность истинному крещению святым духом и огнем (*Иванов Й.* Богомилски книги и легенди. София, 1970. С. 82: *Sathanas ... misit angelum suum Elyam prophetam baptizantem in aqua... ipse eat, qui baptizat in Spiritu sancto et igni*). Существенно, что крещение водой означает наказание, в то время как крещение святым духом (и огнем) — отпущение грехов и спасение.

[15] К следам митраизма см. также мотив *быка* в связи с Константином: предание о том, что царь Константин обещал св. Константину (св. Елене) девятигодовалого быка, но не смог исполнить обещание, которое последовательно переходило к позднейшим правителям; для того, чтобы определить, в каком из двух соседних сел должен быть нестинарский праздник, гнали быка и смотрели, куда он повернет [Арнаудов 1971, 28] и т.д. См. также отдаленное: чтобы найти могилу царя Константина, надо заколоть *четириесе крави* [Шапкарев 4, 319]. — Из других следов культа быка на Балканах см. еще румынский обряд 'Украшенный бык' (*Retegan G.* Dracii din valea Tibleşului // Rev. de Folc. 1957. N 4), а также распространенные цеп-

inslav

ные тексты типа: — *Где огонь?* — *Его погасил* ('прибил') *дождь.* — *Где дождь?* — *Его выпили красные поповские быки* — *Und'e-i focu?* — *L-o bătut ploaia.* — *Und'e-i ploaia?* — *O bătut-o boii popii cei roşii* (*Cernea E.* Contribuţii la cercetarea folclorului copiilor // Rev. de etn. şi folc. 1973. N 4. C. 283) и т.д.

[16] *Смирнов И.* Очерк культурной истории южных славян // Ученые записки Имп. Каз. Унив. 1902. XIX. Кн. 2. С. 108 сл., — см. в частности, надпись на статуе Гелиоса, привезенной Константином в Византию: «Константину, святящему честь Гелиоса».

[17] *Филипова-Байрова М.* (Гръцки заемки в съвременния български език. София, 1969. С. 141) дает следующие значения *пираксам (се)*; притеснявам се, тъгувам, загрижен съм; ставам проклет; от нгр. πειράζω 'права злини на някого'.

[18] Ср. еще сочетание *пеперуда — Солнце*: *бели пеперуди под небо играат, — пекна слънце, умори ги* (снежинки, [Стойкова № 319]).

[19] См. также культ Перасии-Артемиды в Южной Каппадокии, где жрецы ходили босыми ногами по горящим углям.

[20] Сочетание *Елена — елен* (брат, превращенный в оленя), см. в сказке «Човекоядецот и децата му» [Шапкарев 4, 204 — 207]: *а еленот свекогаж си викал*: «*Сестра Елена, сестра Елена*», и соответствующие румынские варианты, отмеченные А. Шуллерусом [Schullerus, 403a, 425]. См. также болгарский сюжет о том, как мать своим проклятием превращает сына в оленя (ср. далее — превращение сына в змея).

[21] В связи с именем Стоян см. сюжет «Сын исповедуется матери в грехах» (встречаются варианты и с другими именами): больной сын, долгое время не может подняться с постели; мать спрашивает его о причине болезни; сын признается в том, что погубил много людей (в частности, сжигал живыми детей); мать говорит, что для искупления грехов Стоян должен пролежать еще 9 лет (или вообще не сможет встать). Здесь правдоподобно видеть отдаленные связи с мифологемой о сыне Громовержца.

[22] Станьо, Станко, Станой, Стани, Стовян, Стовей, Стогян, Стоил, Стоимен, Стойко, Стойчо и т.д.: *Werner W.* Die männlichen Personennamen in den bulgarischen Volkslieder. Berlin, 1965. P. 131, 133.

[23] Op. cit. P. 118, 120.

[24] См. в частности: *Шишманов И.* Песента за мъртвия брат в поезията на балканските народи. II — III / [СбНУ XV. 1898. Раздел V].

[25] В болгарском варианте — царь Костадин [СбНУ XIII, 141].

[26] См. почти формульные сочетания: ἡ Κώστας ἀναστήθηκι [ΕΔΤ, 315] 'Костас восстал'; Kostandini u ngre ka varri [Visaret 1, 308] 'Костадин восстал из могилы'; Përndija e ngjalli Kostandinë [Mbledhës, 441] 'Господь воскресил Костандина' и т.п.

[27] Ср. вариант [Шапкарев 3, 243 — 245], где все девять братьев отдают сестру и последовательно отказываются идти за ней, после чего мать проклинает их всех.

[28] Сюжет подробно рассмотрен А. Фоки, см.: *Fochi A.* Le motif poétique du «Retour du mari» dans le folklore sud-est-européen // Recherches comparées de folklore sud-est-européen. Bucarest, 1972.

[29] Ср. клише [Веркович, 256]: *Не е дете ката деца,* | *лю е дете люта змия.*

inslav

[30] В песне «Стоян и Димана» |Миладиновци, 102—103] Стоян просит Диману, чтобы она выдала его за огненного змея.

[31] К хромоте (см. выше Илья—Змей) см. румынскую сказку «Ţugulea» [Isp. 1, 268—284]: младший сын не может ходить, т.к. змея украла у него сухожилия.

[32] См.: *Burkhart D.* Zum Drachenkampftheme. Motivparallelen in der südslavischen und griechischen Volksepik // Ztschr. f. Balkan, 1967. N 2. P. 150.

[33] Здесь не будет рассматриваться *огонь* как атрибут *змея*.

[34] К связи змеи с огнем см. выше: человеческое дитя, украденное змеей, жалуется, что змеиное молоко обожгло ему рот [ЕДТ, с. 345]. Ср. загадки: *насред кащи змиино гнездо* (*огнище* [Стойкова № 3123]); *люта змия в кът седи* (*огън.* [Стойкова № 3043]); *змея с цветком во рту* (свеча, [Frashëri, 94]) и др.

[35] Ср. сказки, в которых приемыш — хтоническое животное (мышь, лягушка) обваривается в котле или сгорает в очаге в отсутствие родителей.

[36] Ср. также албанское поверье: «Когда видишь змею, укуси мизинец и скажи "камень змея"» [Frashëri, 57]. Мотив откусывания, обрезания мизинца нередок в сюжетах «Братья и сестра ламия». О мизинце в связи с младшим братом см. далее.

[37] *Иречек К.* Пътувания по България. София, 1974. С. 601.

[38] См. еще: Marţa — дочь императора, за неизвестную вину проклятая им и обреченная ходить по земле. Ее дом и дети находятся 'под холмом' *sub dealul Garaleului* (*Damian I.* Despre Marţisara // Şezătoarea. XXX. N 8—9. 1922. P. 299).

[39] К мотиву сжигания дома, огня на горе см. также предание о крепости в Кастри: когда-то она была трехэтажной, на верхнем этаже сидела монашка; однажды вечером в крепость ударила молния, сожгла монашку и разрушила верхний этаж (Οἰκονομίδου Δ.Β. Ναξιακαί παράδοσεις — Λαογραφία. 1957—1958. № 1. С. 36).

[40] Не отсюда ли мотив оглядки (*...оглянулась, а дом в огне горит*) см., отдаленно, болгарскую песню о девушке, которую мать отдала замуж на чужбину: *...обарни са, малка моме,* | *Та погледни ваше село ...* | *Ваше село огань гори...* | *Ако гори, да изгори,* | *да изгори мойта майка* [Райчев № 695].

[41] Эти мотивы рассмотрены в работе: *Свешникова Т.Н., Цивьян Т.В.* К исследованию семантики балканских фольклорных текстов // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973.

[42] Саламандра — единственное существо змеиного происхождения, обладающее способностью возрождаться из пепла.

[43] К этому же, в день Преображения змеи, ящерицы и др. гады уходят под землю. Кто из них не уйдет под землю, того следует убить [Răd.-Codin, 82]. В Болгарии в день Преображения женщины ходят по дворам, бьют ложками в сковороды (имитация грома) и кричат «*Бегайте, змии и гущери!*» (*Чолаков В.* Българский народен сборник. I. Болград, 1872. С. 34).

[44] Ср. сербскую загадку: *Што у огну гори, а огна се не боји?* Ответ — *пепел.*

[45] См. еще мотив noces mioritiques в связи с Константином, где существенно перечисление *буков, земли, камней* [Шапкарев 2, 532—533]:

inslav

Костадин тамо с'ожена:
високи буки — байраци,
цорната земя — невеста,
дробни каменя — сватови!

[46] См. хотя бы некоторые мотивы, вытекающие из приведенной схемы, особенно ее второй и третьей частей: Мальчик-с-пальчик, младший из детей изгнанных родителями (отцом), спасающий братьев и находящий дорогу, по камешкам: (см. вообще мотив мизинца в связи со змеей); Баба-Яга, сопоставляемая с «хозяйкой низа», испытывающая героя (отождествление испытаний Бабы-Яги с инициацией было показано В.Я. Проппом в «Исторических корнях волшебной сказки»); ситуация нелюбимых детей в оппозициях *мать/отчим* или (чаще) *мачеха/отец*; испытания, предлагаемые отцом для проверки сыновней любви (посылает сыновей за живой водой) и т.д., наконец, транспонировка ситуации в применении к женским персонажам (младшая сестра, Золушка и т.д.) и под.

[47] См., например: из пепла гадюки, развеянного Господом, возникают блохи, пьющие кровь у человека (*Pamfile T.* Povestea lumii de demult. Bucureşti, 1913. P. 151); светляки происходят от черта, сброшенного св. Петром с неба и разбившегося вдребезги [Olinescu, 111]; ядовитые мухи вылетают из пещер, где осталась отрубленная голова змея (*Bogrea V.* Musca columbacă în tradiţia noastră populară şi istorică // Anuar. arch. de folklor. I. 1932. P. 44) и под.

Бълг. нар. тв. — Българско народно творчество. 7. София, 1. 1962.

Бълг. диал. — Български, аромънски и албански фолклор, ред. А. Стоилов. София, 1926.

Веркович — *Веркович С.И.* Народни песни на македонските българи. София, 1966.

Миладиновци — *Братя Миладинови.* Български народни песни. София, 1968.

Райчев — *Райчев А.* Народни песни от Средните Родопи. София, 1973.

СбНУ — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина.

С.И. Бълг. — Народни песни от Североизточна България. I. София, 1962.

Стойкова — *Стойкова С.* Български народни гатанки. София, 1970.

Цепенков — *Цепенков М.* Македонски народни умотворби. 9. Скопје, 1972.

Шапкарев — *Шапкарев К.* Сборник от български народни умотворения. 1—4. София, 1968—1973.

Abbot — *Abbot G.F.* Macedonian Folklore. Chicago, 1969.

Bîrlea — *Bîrlea L.* Literatura populară din Maramureş. 1, 2. Bucureşti, 1968.

Dawkins — *Dawkins R.M.* Forty-five stories from the Dodecanese. Cambridge, 1950.

ΕΔΤ — Ἑλληνικά δημοτικά τραγούδια. 1 Αθήνα, 1962.

ΕΠ — Ἡ ἑλληνική ποίηση ἀνθολογισμένη. 2. Ἀθήνα, 1958.

F. Shq. — Folklor shqiptar. 1—4. Tiranë, 1963—1966.

Frashëri — *Frashëri S.F.* Folklor shqiptar. Durrës. 1963.

inslav

Gor. Cr. — *Gorovei A.* Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Bucureşti, 1915.

Gor. D. — *Gorovei A.* Descîntecele românilor. Bucureşti, 1931.

Isp. — *Ispirescu.* Opere. 1—2. Bucureşti, 1969.

Istrătescu — *Istrătes* cu. *A.* Texte populare din judeţul Prahova // «Grai şi suflet». 1928. III. Fasc. 2.

Mbledhës — Mbledhes të hershem të folklorit shqiptar. 3. Tiranë, 1962.

Muşlea — *Muşlea I.* Cercetări folklorice în ţara Oaşului // «Anuarul arhivei de folklor». I. Cluj, 1932.

Muşlea, Bîrlea — *Muşlea I., Bîrlea O.* Tupologia folclorului. Bucureşti, 1970.

Olinescu — *Olinescu M.* Mitologie românească. Casa şcoalelor, 1944.

Niculiţă-Voronca — *Niculiţă-Voronca E.* Datinele şi credinţele popurului Român. I. Cernăuţi, 1903.

Papahagi. Ant. — *Papahagi T.* Antologia aromânească. Bucureşti, 1922.

Πολίτης. Πολίτης Ν. Ἐκ τά τραγούδια τοῦ λαοῦ. Ἀθήνα, 1932.

Răd.-Codin. — *Rădulessu-Codin G., Michalache D.* Sărbătorile popurului. Bucureşti, 1909.

Schullerus — *Schullerus A.* Verzeichnis der rumänischen Märchen und Märchenvarianten. Helsinki, 1928.

Visaret — Visaret e kombit. 1—3. Tiranë, 1937.

Vrabie — *Vrabie G.* Balada populară română. Bucureşti, 1966.

1974

inslav

МОТИВ СУДА/СПОРА ЦВЕТОВ В БАЛКАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ И "ОДОРИСТИЧЕСКИЙ КОД" В АНТИЧНОЙ ТРАДИЦИИ

«И у лирики есть свои тайны», — писал известный румынский фольклорист Т. Папахаджи в затруднении перед интерпретацией распространенного мотива, по традиции относимого к лирическому жанру[1].

Cîte flori-s pre pămînt,	'Сколько цветов на земле,
Toate merg la jurămînt.	Все идут присягать.
Numai floarea soarelui	Только подсолнечник
Sta în poarta raiului	Сидит у двери рая,
Să judece florile	Чтобы судить цветы
Că şi-au pierit miroasele[2].	За то, что они загубили свой запах'.

Приведенный текст — как бы экстракт многочисленных вариантов. В м е с т о подсолнечника (*floarea soarelui* 'цветок солнца', *sora soarelui* 'сестра солнца') может выступать, например, лилия, в м е с т е с ним — пшеничный колос, виноградная лоза, полынь и др. Потерянный запах цветы должны были отдавать «всем девушкам». В свое оправдание цветы объясняют, как они потеряли запах: обычно его уносит ветер. В варианте, приведенном Н. Денсушяну, дождь с ветром прибивает запахи к земле, а дождь с пеной стирает их с лица земли[3]. В ряде случаев сохраняется только мотив присяги цветов и «цветка» солнца в роли судьи, пропускающего в рай души. Интересна еще девиация сюжета, отмеченная в Трансильвании: зачин «все цветы земли идут присягать» сохранен; мотива запаха нет; *подсолнечник у двери рая* противопоставлен *маку у двери ада*: цветок мака «все растет и цветет, многие души околдовывает»[4].

Единственный мифологический комментарий к сюжету, приведенный Т.Папахаджи (со ссылкой на известную работу: *Pamfile T.* Cerul şi podoabele lui după credinţele poporului român. Bucuresti, 1915), — этиологическая легенда о происхождении «цветка солнца»: чтобы не допустить встречи земной девушки

inslav

с солнцем, мать солнца превращает ее в семечко и бросает его на ветер; ветер опускает семечко на землю, из него вырастает цветок, похожий на солнце.

При столь скудном досье мифологическую реконструкцию целесообразно начать с семиотического анализа фольклорного гербария. В него недифференцированно входят *все цветы земли*, объединяемые по признаку *запаха* (аромата): «быть цветком» значит «пахнуть», потеря запаха равнозначна вычеркиванию цветка из гербария. В сюжете она представлена как преступление или грех, подлежащие высшему суду. Потеря *дифференциального признака* (ДП) запаха есть одновременно и нарушение основной функции цветка: передавать запах людям (молодым девушкам). Существенно, что судьями являются также растения, выбранные по принципу связи с *верхом* (в прямом и переносном смысле): цветок, принадлежащий солнцу; виноградная лоза, аналог мирового дерева, медиатор между низом и верхом; отмеченные особой сакральностью пшеничный колос и лилия. Другой ДП судей — *запах* (лилия, полынь[5]). Сочетание двух оппозиций — *верх, пахнущий/низ, непахнущий* — является осью сюжета. *Верх* и *благоухание* кодируются прежде всего лексемой *рай* (можно предположить, что *ад* противопоставлен *раю* не только по признаку *верх/низ*, но и по признаку *благоухание/зловоние*). Цветы принадлежат *земле, низу*, где и теряют запах, и идут *наверх*, как можно предположить, не столько за наказанием, сколько за восстановлением запаха. По оппозиции *давать запах/отбирать запах* противопоставлены *солнце/ветер, дождь*. Для солнца в этом контексте существенны признаки *жара* (нагревание, как известно, усиливает, активизирует запах), стабильное положение *наверху*. Дождь и ветер связаны с *водой, холодом* (ср. известный сказочный мотив о ветре, спасающем от солнечного жара), движением *сверху вниз* (дождь и ветер прибивают запах к земле, отбирают его, уносят)[6]. Указанные оппозиции транспонируются в поле *положительный/отрицательный* (*верх, солнце, рай, благоухание/низ, дождь, ветер, ад, зловоние*). Существен в этом смысле трансильванский вариант, где оппозиция *положительный/отрицательный* решена противопоставлением цветка *солнца*, принадлежащего *раю*, цветку *мака*, растения с наркотическими свойствами, принадлежащего *аду*[7].

В новогреческой традиции распространен сюжет спора цветов из-за запаха, который вернее было бы назвать «перебранкой цветов», ср., например:

inslav

'Ο δυάσμος, ὁ βασιλικὸς καὶ τ' ἄσπρο καρυοφύλλι,
κεῖνα τὰ τριὰ μαλώνανε, τὸ ποιὸ μυρίζει κάλλιο.
Πετάχτη τὸ τριαντάφυλλο, τὸ μοσχομυρισμένο:
«Σωπᾶτε, βρωμολέλουδα, μή με βρωμολογᾶτε,
τί ἐγὼ εἶμαι τὸ τριαντάφυλλο, τὸ μοσχομυρισμένο...»

'Мята, базилик и белая гвоздика,
Эти трое бранятся, кто пахнет лучше.
Вмешалась роза, благоухающая:
«Молчите, вонючие цветы, не сквернословьте,
Ведь я роза, благоухающая...»[8]

И здесь запах выступает как основной ДП и основная функция цветка[9], но в ином ракурсе. Цветы противопоставлены по оппозиции *благоухание/зловоние*, хотя реально речь идет только о *благоухании* (аромате), разная степень которого лежит в основе иерархической классификации фольклорного гербария. Набор цветов может меняться, но это всегда будут пахнущие цветы, и они всегда будут противопоставлены розе.

Если рассматривать вклад разных традиций в устройство общебалканского мифологического гербария, то восточнороманская как бы дает общетеоретическую установку (цветы как таковые, ДП запаха, функции запаха, условия *наличия/потери* запаха — всё в проекции на набор универсальных семиотических оппозиций), а новогреческая развертывает эту «установку», перечисляя и набор цветов и их функции уже гораздо подробнее[10].

Идя дальше, можно сказать, что рассмотренные сюжеты представляют собой как бы резюме темы цветов в фольклоре, более точно — в так называемых «немифологических», т.е. лирических по преимуществу жанрах. В другой формулировке: здесь указаны способы кодирования и основные виды кодов, использованных в модели мира в связи с гербарием, в данном случае — цветочным. Обследование соответствующих текстов показывает, что в данном случае (как, впрочем, и для других фрагментов модели мира и для модели мира в целом) в цели кодирования в малой степени входит отождествление мифологического цветка с его реальным прототипом. Первая ступень включения — лексема *цветок*, т.к., попадая в модель мира, цветок тем самым мифологизируется. Следующий и самый емкий источник информации — *название цветка*; здесь речь уже идет о словнике, причем для носителя модели это не просто номенклатура, но и набор соответствующих ДП, а для исследования — область загадок и неопределенностей: одно растение выступает под разными названиями, одно название кодирует

inslav

разные растения, и это выходит за рамки научной ботанической классификации[11]. И при конкретизации описания отождествление существенно не облегчается, поскольку кодирование преследует свои цели: овладение структурой модели мира, а не приобретение реального опыта.

Здесь в наибольшей степени происходит шифровка «открытым текстом»: описания цветов, воспринимаемые как поэтические клише или романтическое восхищение природой, являются, по сути дела, сухим и четким набором ДП, куда входят, прежде всего: цвет, величина, запах, время и место цветения; соотнесенность с человеком по признакам возраста, *мужской/женский* и некоторым другим. Поскольку (см. выше) ДП закодированы в названии цветка, весь набор практически не перечисляется. Статистика выбора позволяет судить о том, какой ДП считается наиболее значимым. Для балканской модели мира это прежде всего ДП з а п а х а, в лирике проецируемый на отношения девушки/юноши, жениха/невесты (т.е. брачные классы)[12]. Таким образом носитель обучается грамматике модели мира на узком фрагменте, но имеющем выходы в другие фрагменты[13].

В балканской традиции ДП запаха, сам по себе универсальный, с древнейших времен играет особо существенную роль. Не касаясь его «восточных корней», можно ограничиться античной традицией, используя, прежде всего, материал, собранный в: *Lilja S.* The Treatment of Odours in the Poetry of Antiquity. Helsinki, 1972. Автор не ставит цели мифологической реконструкции, но исследует «запах как стилистический инструмент для решения эстетических задач» (с. 7). Тем не менее обзор и античных теорий сущности запаха и основных функций ароматических веществ, в частности, сакральной (курение ароматических веществ, посвящаемое богам)[14], кулинарной (в том числе приготовление сакральных блюд или наркотических составов)[15] и эротической (косметические средства)[16] в проекции на современную балканскую традицию дают возможность выявить параллели с глубинными мифологическими слоями (ср. невольное отражение горацианского образа «унесенного ветром запаха роз» в восточнороманском сюжете о цветах, потерявших запах).

Наконец, непосредственно мифологическая реконструкция в рамках одористического кода была предложена М. Детьеном в связи с сюжетом об Адонисе и в кругу представлений о Дионисе[17]. Отказавшись от традиционной, идущей от Манхардта и Фрэзера концепции видеть в Адонисе бога умираю-

inslav

щей и воскресающей природы, Детьен находит ключ к мифологеме Адониса в оппозиции *благовонный/лишенный запаха*: Адонис, олицетворение ароматического вещества, *мирро*, находит смерть в листьях *салата*, растения, связанного с землей, влагой, смертью, бесплодием, и превращается в цветок (*адонис, анемон*), лишенный запаха, эфемерный, сдуваемый ветром (ср. снова связь ветра с отсутствием запаха)[18]. Адонис оказывается неудачливым медиатором между *верхом* (небом, солнцем, жаром, жизнью), олицетворенным в ароматических веществах, и низом (землей, влагой, смертью), олицетворенным веществами-растениями, лишенными запаха[19]. Одористический код, таким образом, отражает универсальную оппозицию *плодородие/стерильность* (природы и человека), а эта оппозиция, в свою очередь, может быть связана с activité agricole (К. Леви-Стросс). Современная балканская традиция, как мы видим, не только сохранила этот мифологический пласт, но и довела его до лексической отточенности в плане выражения: строго говоря, для реконструкции мифологической схемы надо лишь изменить точку зрения на «лирические жанры» как отражение непосредственных чувств, облеченных в поэтическую форму.

Не менее важно и то, что балканская традиция отчетливо формулирует значимость категории запаха как самостоятельной единицы, формирующей одну из универсальных семиотических оппозиций в модели мира. Эта область в семиотическом плане до сих пор практически не разработана. Между тем еще в начале века об этом писал В.В. Розанов (Новый путь. 1903. № 10. С. 105): «Что такое обоняние? Что такое аромат? Вот категория, не вошедшая в реестр предметов философии, и художество, не имеющее для себя школы, т.е. теории...».

[1] *Papahagi T.* Poezia lirică populară. Bucureşti. 1967. P.174 — 175; здесь же краткая сводка вариантов, использованная нами без специальных ссылок. По мнению автора, непонятен ни сюжетный смысл, ни выбор подсолнечника в качестве «судьи у двери рая» (с. 174).

[2] *Iarnik I.U., Bîrseanu A.* Doine şi strigături din Ardeal. Bucureşti, 1968. P. 438. N CCCLXXVIII.

[3] *Densuşianu N.* Vechi cîntece şi tradiţii populare româneşti. Buc. 1975. P. 38. N 64. — Коляда о св. Василии и его сражении с Иудой, в которую «Суд цветов» вставлен как самостоятельный и независимый фрагмент.

[4] Folclor dinTransilvania. Buc. 1962. P. 323, N 107: *Dară floarea macului / Sade-n poarta iadului / Şi tot creşte şi-nfloreşte / Multe suflete amăgeşte.*

[5] Ср. значимое название полыни *lemnul Domnului* 'дерево [древесина] Господа'.

inslav

[6] См. любопытную концовку текста Н. Денсушяну: после того, как цветы поклялись, что они не нашли запаха, унесенного «дождем с ветром и дождем с пеной», они говорят, что «дождь с солнцем» восстановил запах (?) *dete-o ploaie cu soare, /mi le puse pe picioare.*

[7] О мифологии мака в балто-балканской градиции см.: *Судник Т.М., Цивьян Т.В.* Мак в растительном коде основного мифа // Балто-славянские исследования, 1980. М., 1981. С. 300 – 317.

[8] 'Ελληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια. 'Αθῆναι, 1959. Β'. Σ. 183 (ΕΔΤ).

[9] Роза украшает красавиц (они вплетают ее в волосы или кладут в приданое, и то и другое для ароматизирования), ее держит в руках царь (ΕΔΤ. *σ.* 183, A, B), ср. подробно у: Πολίτης Ν.Γ. 'Εκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 'Αθῆναι, № 232: роза «является» (φαίνομαι) на голове жениха, на коленях новобрачной, на груди девушки, в изголовье старухи.

[10] В этой заметке мы вынуждены ограничиться немногочисленными примерами только из двух балканских традиций, однако можно предположить, что сказанное распространяется и на славянскую и албанскую часть, см. хотя бы болгарский гербарий в работе: *Усачева В.В.* Мифология растений в болгарских народных песнях // Balcano-Balto-Slavica: Симпозиум по структуре текста. М., 1979. С. 104 – 106. В славянской традиции цветы «состязаются» на других основаниях (время и место цветения и пр.).

[11] Существенно, что переход названий происходит внутри спискасловника, ср., например, рум. названия мяты *minta broaştelor, minta calelor, trandafirul broaştei, busuiocul calului* и т.д., притом, что *роза, базилик* и *мята* входят в ядро балканского мифологического гербария (см.: *Borza A.* Dicţionar etnobotanic. Bucureçti, 1968, s.v.). См. для славянской части: *Симоновић Д.* Ботанички речник. Београд, 1959 п. с. *здравац* 1. Begonia. 2. Geranium, Geranium macrorrhizum. 3. Helleborus, H. niger, H. viridis... 6. Veratrum nigrum.

[12] Ср.: *Τὸ κουμπαρὶ βασιλικός, κι ἡ νύφη γιασεμάκι, μ'ἀλήθεια ἔναι κι ὁ γαμπρὸς... τριανταφυλλάκι* (ΕΔΤ, σ. 132) 'Крестный – базилик, невеста – жасмин, | а жених и вправду розанчик'; – *Νύφη, γαρούφαλο κρατεῖς, νύφη, μοσχομυριζεις.* | – *Μηδὲ γαρούφαλο κρατῶ, μηδὲ μοσκομυρίζω,* | *μυρίζουνε τὰ νυφικά, ποὺ μοῦ 'φερ' ὁκαλὸς μου.* (ΕΔΤ, σ. 117) – 'Невеста, держишь гвоздику, невеста, благоухаешь. | Ни гвоздики не держу, ни благоухаю, | Благоухают свадебные наряды, что мне подарил милый'; *Dragu mi-i cu cine joc,* | *Că miroase-a busuioc* (Folkl. – Trans., IV. P. 225. N 467) 'Мил мне, с кем я танцую, | Потому что пахнет базиликом'; ср. еще клише «любовь превращается в душистый цветок» *o floare mirositoare* и т.п.

[13] Поэтому, когда фольклорист пишет, что «народный певец любит только окружающий его мир, он видит его, слышит и обоняет», она, сама того не ведая, перечисляет основные ДП, кодирующие природу в архетипической модели мира (см.: *Μηλιότου Σ. Τὸ λουλούδι στὴ δημοτικὴ ποίηση* // – *Τὸ δημοτικό μας τραγούδι. 'Αθῆναι,* 1974. Σ. 746).

[14] Интересны пережитки этого в новогреческой традиции: в цепной сказке небо просит воскурения ароматических веществ в обмен на дождь: *Abbot G.F.* Macedonian Folklore. Chicago, 1969. P. 326.

[15] Сейчас это актуальная тема исследований: сюжет «девушка собирает цветы, аромат которых имеет наркотическое действие», «букет ви-

inslav

на» — особый состав ароматических веществ, *νηπενθής* Елены в «Одиссее» и т.п., см.: *Wasson R.G., Hofman A., Ruck C.A.P.* The Road to Eleusis. N: Y.; L., 1978.

[16] Х. Вакарелски (Этнография на България. С., 1977. С. 391) указывает для современной болгарской традиции: в качестве ароматических веществ используются непосредственно сами растения, потому-то постоянный эпитет цветка в фольклоре *миризливо*. Ср. еще: др.-греч. *μυρίζω* 'умащать ароматическими веществами' в современных балканских языках получило значение «пахнуть».

[17] *Detienne M.* Les jardins d'Adonis. La mythologie des aromates en Grèce. Paris, 1972; *Idem.* Dionysos mis à mort. Paris, 1977.

[18] Но в албанском запах связан именно с ветром: *mban era, bije era.*

[19] Эта оппозиция поразительно точно отражена в новогреческом тексте о девушке, защищающейся от назойливого юноши с помощью душистых цветов: вместо замка, засова и щеколды она ставит *мяту, гвоздику* и *кудрявый базилик*; юноше она предлагает нарвать в саду *салата* (ΕΔΤ, σ. 72, № 66):

> θά βάλω δυόσμο κλειδωνιὰ καὶ καρυοφύλλι ἀμπάρα
> καὶ τὸ σγουρὸ βασιλικὸ σούρτη στὸ παραθύρι
> κι ἂν ἔρθη τοῦ Μαργιόλου ὁ γιός, διάολος νὰ τὸν πάρη,
> μαρούλια ἔχω στὸν κῆπο μου κι ἂς πάη νὰ φάη τὴ ζάλη.

1987

inslav

ОБ ОДНОМ ИЗ СМЫСЛОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПОНЯТИИ *ГРАНИЦА* (ОТ "МИОРИЦЫ" ДО ХАРМСА)

Пастушеская баллада «Миорица» — признанный шедевр румынской народной поэзии. В определенном смысле в ней сконцентрирована самая суть пастушеского менталитета, который является одной из основных составляющих балканской модели мира. И тем более значимо, что при высокой степени общности балканской духовной культуры (что и дает основания постулировать БММ) и в частности ее «пастушеского фрагмента», этот сюжет засвидетельствован только в румынском фольклоре. Таким образом «Миорица» содержит в себе идею уникальности (предела) и общности (выхода за предел).

Сюжет «Миорицы» сводится к следующему: в горной долине сходятся трое пастухов со стадами; двое из них собираются убить третьего, чтобы завладеть его стадом. Волшебная (говорящая) овечка Миорица предупреждает хозяина об опасности и указывает ему путь к спасению. Отказываясь от самой мысли о бегстве, он дает овечке распоряжения, как и где его похоронить и что сказать овцам из его стада и матери, которая будет его искать. При этом свою смерть он описывает как бракосочетание с землей, и это сообщает сюжету мистериальное звучание:

...с невестой верной
Царицей вселенной,
Перед небом и светом
Сведен я обетом.
А с небес тогда
Канула звезда,
А луна и солнце
Нам надели кольца,
Над землей сияли
И венец держали
...
И звезды свечами
Горели над нами...

Это звучание остро почувствовал М. Элиаде [Элиаде 1970]. В его трактовке герой воспринимает смерть как торжествен-

inslav

ную мистерию, преобразующую его судьбу. Гибель юноши, простого пастуха, обращена в свадебное торжество («миоритическая свадьба») космического масштаба: «миоритическое пространство» (Блага) становится пространством космическим. В Миорице и герое Элиаде видит расщепление человека на две ипостаси: т е л е с н у ю, представленную Миорицей, которая ищет пути к спасению, и д у х о в н у ю, представленную героем, отвергающим эти пути. Это сочетание, борьба двух начал, взаимозаменяемость человека и овечки отсылает к модели жертвоприношения. В этом контексте образ волшебной овечки получает особое значение. С одной стороны, овечка — классический образец так называемой «парадоксальной жертвы», предельно непричастной злу, невинной и беззащитной; в этом своем качестве она может заменять человека (жертвоприношение Авраама). С другой стороны, и специально в христианской традиции, эта взаимозаменяемость приобретает более сложные формы. Христос — Божественный Агнец, жертва во имя спасения человека. Христос — Добрый Пастырь, а его паства —люди, Божьи овцы. Образ овцы в этом сложном переплетении приобретает значение более глубокое, чем только олицетворение невинной жертвы. Мистическая связь Бога и человека через Агнца, его причастность к жертвоприношению — Божественному во имя человека и человеческому во имя Бога — придает этому образу космическое звучание. На космическом фоне разворачивается диалог пастуха и овечки в «Миорице», и тем самым не только он, но и Миорица приобретает космический масштаб, уходя от классического фольклорного амплуа «животное — чудесный помощник».

Странным образом мистически неопределенные стремления и космическая тоска «Миорицы» откликнулись в обэриутской поэзии у Хармса в стихотворении 1929 г.:

Овца

I

Гуляла белая овца,
Блуждала белая овца.
Кричала в поле над рекой,
Звала ягнят и мелких птиц,
Махала белою рукой,
Передо мной лежала ниц.
Звала меня ступать в траву.
А там, в траве, маша рукой
Гуляла белая овца,
Блуждала белая овца.

inslav

II

Гуляет белая овца,
За нею ходит Козерог,
С большим лицом в кругу святых,
В лохматой сумке, как земля,
Стоит на пастбище, как дом.
Внизу земля, а сверху гром,
А сбоку мы — кругом земля.
Над нами Бог в кругу святых,
А выше белая овца.
Гуляет белая овца.

Не имея возможности анализировать здесь это стихотворение подробно (и не касаясь в частности его зодиакальной символики), скажем лишь о несомненно ощущаемом глубинном родстве этого стихотворения и «Миорицы». На интуитивном и в то же время обобщенном уровне можно увидеть у Хармса вариант «Миорицы», написанный эзотерическим языком; эзотерическим для нас, потому что мы не знаем его тайны. Напомним, что и «Миорица» в своем роде эзотерична: со времени ее опубликования Александри (1850) не утихают споры о ее истолковании, и к единому мнению интерпретаторы так и не пришли — загадка «Миорицы» остается с ней. Что же касается Хармса, то практически невероятно предположить его знакомство с «Миорицей»; таким образом все как будто направляет нас к тому, чтобы видеть в этом классическое совпадение (по Шилейко), сводимое к уровню любопытного случая. Эта случайность особенно подчеркивается тем, что нередко поэзия обэриутов воспринимается как упражнения в бессмыслице, нонсенсе, принимающем комический, трагикомический или трагический облик (речь идет именно о клишированном образе обэриутов).

Между тем, как кажется, здесь ощущается совпадение не на уровне диалога текстов, а в том, что совпадает на уровне духа и души в их стремлении к горнему, облеченному в сходные формы. Если искать для этих форм архе- или архитип, вряд ли стоит обращаться к культурным традициям, и не потому, что это было бы напрасно, а потому, что сходства такого рода коренятся в универсалиях, касающихся представлений человека о творении мира, о его устройстве и о своем в нем месте.

Космическая тема, проницательно замеченная Элиаде в «Миорице», при более пристальном внимании обнаруживается у обэриутов как одна из наиболее значимых. Более того, можно предположить, что сама «обэриутская бессмыслица» строится на каркасе, соответствующем архетипической ММ (как она

inslav

представлена в современных исследованиях), что ММ является точкой отсчета для конструирования представлений о мире, в тем большей степени кажущихся парадоксальными, в чем большей степени они основаны на архетипе. Если совпадение с «Миорицей» в связи с образом овечки выглядит действительно неожиданным, то общее в космических пейзажах в свете сказанного выше уже не кажется таким поразительным. Прощание с *этим миром*, когда перечисляются основные элементы его устройства, мы встречаем у Хармса:

И вот настал ужасный час:
Меня уж нет, и нету вас,
И моря нет, и скал, и гор,
И звезд уж нет; один лишь хор
Звучит из мертвой пустоты.

Особенно ярко «миорическая» тема расставания с землей выступает в диптихе Введенского «Где» и «Когда» (1941), сами названия которого соответствуют пространственно-временны́м характеристикам ММ и необходимым условиям для ориентировки человека в мире:

«Где он стоял опершись о статую. С лицом переполненным думами. Он стоял. Он сам обращался в статую. Он крови не имел.

Зрите он вот что сказал
прощайте темные деревья
прощайте черные леса
небесных звезд круговращенье
и птиц небесных голоса...».

После прощания человека со всем миром (*И так попрощавшись со всеми...*) и его смерти происходит — в виде своего рода палинодии — прощание всего мира с человеком:

⟨И ту⟩т состоялась часть вторая — прощание всех с одним.

Деревья как крыльями взмахнули ⟨свои⟩ми руками. Они обдумали, что могли, и ответили

ты нас посещал. Зрите.
он умер и все умрите...

Скалы или камни не сдвинулись с места. Они молчанием и умолчанием и отсутствием звука внушали и нам и вам и ему...

...

Прощай мир. Прощай рай.
Ты очень далек человеческий край. ...

Поэтическое выражение представлений обэриутов о мире и месте человека в мире, о смерти и воскрешении, т.е. смерти как условии жизни, о единстве человеческого духа и знания,

inslav

нельзя отделить от философской основы, рождавшейся в беседах «чинарей» — содружества, в которое входили поэты Введенский и Хармс и философы Друскин и Липавский. «Чинари» говорили о поэзии, поэтической философии, философии и теологии. Если «иерархизировать» эти многоплановые беседы (куда входила и «словесная игра, состоящая в преобразовании, подмене и перекидывании словами по неуловимому стилистическому признаку»), то становится ясным, что с п о с о б представления мира у обэриутов («бессмыслица») и был производным от их представлений о мире, соответствующих, как уже было сказано, архетипической ММ; ср. у Друскина: «У Кафки, Хармса и Введенского бессмысленные ситуации или положения, в которые попадает человек, часто открывают его ноуменальное существо ("сокровенный сердца человек") и его отношение к тому, что превосходит его понимание» [Друскин 1989].

Тема «космос и человек» была для обэриутов основоположной и в их системе преломлялась под углом антропоцентризма. Точкой отсчета был человек и его страх перед миром, перед неизбежностью смерти, являющейся в трагическом облике, вырывающей человека из прекрасной жизни (*Неприятно и нелегко умирать*, Введенский) и не дающей ему выполнить свое предназначение. В связи с этим нельзя не привести мысли «чинарей» о преждевременной смерти: «Есть неистребимое чувство, что в мире имеется какая-то тайна. Распускание цветка прекрасно, и жалко его не увидеть. То же и о человеке. Нехорошо умереть, не выполнив ничего. Неизвестно, есть ли у нас предназначение или нет, но чувство этого и связанной с ним ответственности есть» [Липавский 1999]. Этот пассаж возвращает нас к «Миорице», где эта тема также присутствует, но в совершенно ином преломлении.

Готовность к смерти (когда-то ее трактовали как проявление фатализма, свойственного румынскому менталитету), благородная резиньяция и стремление к самопожертвованию, более того, ощущение торжественности ухода из жизни, превращенного в мистерию, соответствует совершенно иному представлению о месте человека в мире. Здесь человек является не центром мироздания, но элементом, частицей мира, участвующей в его вечном обновлении. В этом он видит свое предназначение, и его индивидуальность проявляется в отказе от проявления своей воли и в растворении в мире. Так при сопоставлении выявляется одинаковое и разное: и в «Миорице», и у обэриутов космос описывается по сходным параметрам и соответствует архетипической ММ, вплоть до совпадения сюжет-

inslav

ных ходов и персонажей. Но в мире «Миорицы» нет страха, а в мире обэриутов он есть; в определенном смысле можно сказать, что он и является в их мире основным нервом. Объяснение этого страха реалиями мира, в котором они жили и погибли, напрашивается само собой. Однако это лишь поверхностный слой, лишь повод: настоящая поэзия прозревает за событиями реальной жизни нечто большее, их сокровенную суть. Мир обэриутов эсхатологичен, его двигателем оказывается бессмысленная жестокая смерть, которая не ведет к обновлению и воскрешению. Она не втягивает человека в природу (как это происходит в архетипической ММ и эксплицируется в «Миорице»), а вырывает его из природы, нарушая тем самым космический порядок. Поэтому протест человека является не проявлением его эгоцентризма, а отчаянной попыткой сопротивляться хаосу (царству Хама), попыткой, заранее обреченной на поражение. Этот хаотический мир «превосходит понимание» человека, и тогда «бессмыслица» становится средством защиты (причем слой смешного, фарсового, с которым в наше сознание вошли обэриуты, оказывается отнюдь не основным).

Случайное сопоставление румынской народной баллады и поэзии обэриутов, как представляется, оказалось небесполезным, и не только потому, что оно показало возможность «выхода за пределы», нахождения о б щ е г о там, где его меньше всего можно было ожидать, исходя из логики и повседневного опыта. Важно и то, что это совпадение помогло увидеть и р а з л и ч и я, а это, в свою очередь, углубило интерпретацию каждого из сравниваемых объектов как такового. Эта вариативность подхода, иногда доходящая до парадоксальности, множественность трактовок и т.п. также не случайна, а опирается на некоторые универсалии человеческого менталитета. Представляется, что лучше всего это сформулировал один из «чинарей», философ Друскин:

> ...Четыре важные вещи, которые я хочу сообщить: первое — миру присуща приблизительность; поэтому никогда не надо говорить точно, в числах ... второе — страх — порождение расстояния ... третье — мир определяется всего несколькими знаками, как то: небытие, время, смерть, деревья или вода ... четвертое — сознание не подвержено ограничениям пространства и времени, оно может быть с р а з у в р а з н ы х м е с т а х, следовательно, возможно, что оно о д н о д л я в с е х л ю д е й, и каждому кажется, что оно именно его (разрядка моя. — *Т.Ц. Липавский).*

Если это так, то для совпадений сильно понижается процент случайности, а понятие «границы» в еще большей степени начинает служить тому, чтобы находить общее по ту сторону де-

inslav

маркационной линии; духовные процессы приводят к совершенно иному членению пространства и времени (ср. косвенно к этому замечание Н.С. Трубецкого из его письма к Якобсону, 1934: «Для того, чтобы один литературный язык "привился" на другом, вовсе не нужно реальной встречи двух языков или двух народов на какой-нибудь территории: ср. соотношения между русским и старославянским языком»).

Друскин Я.С. Чинари // Аврора, № 6, 1989.
Липавский Л. Разговоры // Логос, № 3, 1993.
Eliade M. L' agnelle voyante //Eliade M. De Zalmoxis à Gengis – Khan. P., 1970.

1991

inslav

ЗМЕЯ≡ПТИЦА: К ИСТОЛКОВАНИЮ ТОЖДЕСТВА

Статья основана на сравнительно небольшом фрагменте румынской фольклорной традиции, хотя ее тема им далеко не исчерпывается и находит широкие отклики и подтверждения в других областях фольклора и за пределами румынской традиции. Это оправдывает намерение построить рассуждение на материале, ограниченность которого перекрывается его значимостью в организации модели мира.

Речь пойдет о некоторых особенностях структуры заговора, сближающих его со структурой загадки, сложность построения и глубинная мифологичность которой неоднократно описывались[1]. Как и в загадке, в заговоре объект описания прямо не назван, а дан через свои атрибуты и предикаты или назван зашифрованным именем. Это имя-диагноз (ср. ответ в загадке) может быть известно только сакральному лицу, т.е. знахарю. Один заговор может относиться к нескольким недугам, и от одного недуга может быть несколько заговоров (ср. аналогичные отношения между корпусом загадок и их словником, т.е. ответами). Наконец, в ряде случаев заговоры и загадки могут совпадать текстуально (см. примеры далее).

Ранее, при описании некоторых персонажей и сюжетов в румынской фольклорной традиции, было обращено внимание на ряд смешений и смещений, приводящих, например, к отождествлению ласки со змеей[2]: их укусы считаются одинаково ядовитыми и исцеляются одним и тем же заговором, где к ласке обращаются, как к змее; ср. еще: загадка о черве (он просит защитить его от кур, а не от собак) имеет вторую разгадку — «ласка», хотя для нее это содержание не имеет реального смысла, и т.д. Возведение мотива ласка-змея к определенному сюжету позволило увидеть в этом отождествлении некоторые мифологические обоснования. Здесь речь пойдет о семантически сходной группе заговоров от укуса змеи (они используются и

inslav

для исцеления от других ядовитых укусов). В этих заговорах обращаются к з м е е, но называют ее п т и ц е й.

Заговоры имеют разную структуру, не выходящую, впрочем, за пределы обычных моделей. Они могут строиться на а т р и б у т а х, перечисляющих признаки «птицы», чаще всего цветá: *o pasăr'e albă, codalbă, rosîi̯e, vęrd'e... d'e nooză şî noo d'e fęl'i̯uri̯* 'птица белая, белейшая, красная, зеленая... девяносто девяти видов'[3]; *păsărică porumbacă* 'птичка сизая'; *păsăriţă pestriţă* 'птичка-пеструшка' (частый эпитет, который требует особого разбора) и т.п. Они могут строиться на п р е д и к а т а х, описывающих: 1) злокозненные действия самой «птицы»: *...o pašare pestriţă... musçă şi venină* '...птица пеструшка... кусает и отравляет'[4]; 2) способы ее уничтожения: *păsărică mistruie, / pĕ bucin se suie, / sórele a răsărit, / şerpele a murit* 'птичка пестрая / на свирель взлетела, / солнце взошло, / змея умерла' [Tocilescu. Materialuri, p. 1579; 3]; и то и другое:

Pasĕre albă,	Птица белая,
Drumul trecuşĭ	Дорогу пересекла,
Pe murgul muşcaşĭ,	Гнедого укусила;
Î muşcaşĭ, îl veninaşĭ,	Укусила его, отравила его
În copac te suişĭ,	На дерево тебя посадил,
Copacul se aprinse,	Дерево загорелось,
Plóia copacul stinse.	Дождь дерево погасил.

[Tocilescu. Materialuri, p. 1574].

В способах избавления от змеи существенны мотивы взлета на дерево, или *bucium* 'труба', 'пастушья свирель', огня, сжигающего дерево, и воды, заливающей огонь; здесь достаточно легко восстанавливается мотив грозы — молния, небесный огонь, поражающий дерево, и небесная вода, изливающаяся на него. И птица, и змея в этом контексте одинаково значимы[5].

Анализ этой группы заговоров допускает, как кажется, несколько интерпретаций. Эти интерпретации можно считать независимыми; можно видеть в них логическую связь, своего рода перетекание; в любом случае они представляются правомерными.

Первое объяснение, кажущееся наиболее естественным, — табуирование. В заговорах, учитывая их сакральный характер, оно употребляется особенно широко. В данном случае замена производится по контрасту: в определенном смысле птица и змея предельно противопоставлены друг другу, не похожи друг на друга, поэтому такое переназывание обеспечивает максимальную безопасность и пострадавшему, и заклинателю. Табуирование названия змеи далеко не исчерпывается птицей. Оно

inslav

заменяется лексемой «камень» или связанным с ней именем Петр; заменяется «родственными» названиями с небольшим сдвигом — «ящерица», «саламандра» и т.п., о чем ниже. Принципы и способы табуирования здесь специально не разбираются, представляется возможным ограничиться констатацией факта.

Второе возможное объяснение предполагает выявление мифологических (и семантических в широком смысле слова) обоснований замены змеи птицей. На поверхностный взгляд здесь можно видеть некоторое противоречие с принципом табуирования. Выше говорилось о том, что змея — птица — замена по контрасту. Теперь речь пойдет о сходстве змеи и птицы или, во всяком случае, о легкости взаимной трансформации. Одно не опровергает другого, поскольку каждая из предложенных интерпретаций рассматривает разные планы мифологического сознания; при том, что в конце концов эти планы сливаются в единой модели мира, они достаточно самостоятельны и, сохраняя противопоставленность, не впадают в противоречие друг с другом.

По тексту рассматриваемых заговоров восстанавливается основа отождествления змеи и птицы: п р е в р а щ е н и е. Змея, укусив свою жертву, п р е в р а щ а е т с я в пеструю птицу: *păsăriţă pestriţă se făcu* [Tocilescu.Materialuri, p. 1143, 1444]; тот же мотив с некоторыми изменениями с. 1525: [*o pasăre pestriţă*] *ea graiul şi-l întórce, muşcă şi venină* ('[птица пеструшка] она голос себе меняет, кусает и отравляет'). В ряде случаев предикат превращения опускается, но остается двойное наименование: *pasĕre pestriţă* в начале, *muşcătură de şerpe* — в конце [ibid., p. 1527, см. выше, вариант с. 1579].

Наконец, важным указателем на змеиные или вообще злокозненные свойства птицы является ее почти постоянный атрибут — п е с т р о т а. Он обычно появляется в качестве указателя в контекстах со «скрытой» змеей, например, *Petru pistriţu* 'пестрый Петр'[6]; *ediţă pestriţă, capriţă pestriţă* 'козочка-пеструшка', *silevestriţă pestriţă* 'саламандра-пеструшка' и т.д. Отрицательность пестроты обоснована, в частности, тем, что это — признак дьявола, ср. одно из его имен — *Pistruetul*[7]. Дьявол превращается в змею: *se întinde ca şarpele, se zvîrcoleşte ca şarpele, muşcă ca şarpele* 'растягивается, как змея, вьется, как змея, кусает, как змея'[8]. Существенным указанием на связь птицы-змеи с дьяволом служит эпитет *oloagă* 'хромая' [Tocilescu, Materialuri, p. 1541], отсылающий к хромоте, одноногости дьявола, так сказать дефектности ног, в свою очередь, отсылаю-

inslav

щей к безногому змею; ср. поверье о крылатых змеях: во вторник и в субботу они *ologi* 'хромые' и не могут летать[9]. Содержащееся в заговорных текстах указание на возможность превращения змеи с ее злокозненной дьявольской природой в птицу не только не уникально, но является общим местом — от пернатого змея майя до разнообразных летающих змеев, драконов и т.п. в европейской, азиатской и других традициях. Вообще мена признаков, перетасовка элементов или частей тела у разных живых существ, дающая самые разнообразные сочетания в архетипической модели мира, распространена чрезвычайно широко, и такие «маргинальные» элементы, как голова, крылья, ноги, обладают особой легкостью перемещения. С другой стороны, змей как своего рода «полуфабрикат», не имеющий законченной формы, с наибольшей легкостью принимает и «усваивает» средства передвижения — крылья и ноги. Мотив основного мифа о свержении змея с неба на землю или в воду поддерживает классификацию разных видов змеев по оппозиции *верх/низ*, причем небесным змеям естественно придаются крылья (ср. частое олицетворение грозы как битвы крылатых змеев), которые могут сохраняться и при их перемещении вниз. Мотив крылатого змея настолько обширен и настолько разработан, что вполне допустимо удержаться от обильных примеров, которые в данном случае несущественны для основной темы статьи. Здесь не будут рассматриваться и мифологические крылатые змеи, и драконы румынской традиции, которые более или менее вписываются в универсальную схему.

Предполагается остановиться на представлениях, которые можно назвать первично-мифологизирующими. Заговоры имеют дело с вполне реальными (не мифологическими — *zmeu, balaur, şarcan, zburător*) змеями, которые кусают человека и скотину; соответственно и сопоставляться они должны с реальными птицами. Однако, устанавливая оппозицию мифологический/реальный, надо учитывать, что ее члены одновременно и противопоставлены друг другу, и могут смешиваться и совпадать друг с другом (вплоть до того, что лексема *şarpe* описывает и обычную змею, и мифологического змея, ср. широко распространенный сюжет «*Şarpe*» о поединке проклятого матерью героя со змеем).

Быт носителя архетипической модели мира принципиально мифологизирован; попадая в этот мир как в сакральный текст, реальный объект автоматически мифологизируется (это и можно назвать уровнем первичной мифологизации), и от него протягиваются нити к соответствующему мифологическому

inslav

прототипу. В результате оказываются мифологически правомерными реальные основания, по которым змея отождествляется с птицей.

Подмечаются их сходства: плоская, вытянутая голова; длинная, гибкая шея, как у гуся; блеск, гладкость, пестрота — соответственно перьев и чешуи; то, что обе они выводят потомство из яиц (здесь совпадает и терминология: одинаково обозначается жилище змеи и птицы — *cuib* 'гнездо'; действие выведения потомства *a cloci*, наконец, *pui* обозначает и птенца, и змееныша, но, впрочем, и любого детеныша) и т.д., ср. еще реальную ситуацию «змея взбирается на дерево и устраивается в птичьем гнезде»[10]. К уровню первичной мифологизации относимы следующие поверья: у селезня змеиная голова, поэтому есть ее нельзя, — поверье объясняется сходством блестящих перышек на голове селезня со змеиной чешуей[11]; гусь — из змеиного рода, поэтому он шипит[12]. Особенно осторожно, по поверью, следует обращаться с яйцами — они, так сказать, амбивалентны: из них может вылупиться и птенец, и змееныш, поэтому брошенные или испорченные птичьи яйца нельзя приносить в дом, нельзя разбивать их или кидать в огонь[13].

К более косвенным отождествлениям можно отнести то, что змее в заговорах приписывается стальной клюв: *Sărpi / Balaur / Cu şiocu di oţăl* 'Змей /Балаур/. С клювом из стали[14]: Это соотносимо с мифологическими птицами с огненным или железным клювом, которые будут наказывать грешников при конце света [Muşlea, Bîrlea, p. 225—226]. Ср., с другой стороны, заговорный вариант *un şerpurel cu dinţi de oţel* 'змееныш с зубами из стали' [Bălăşel, p. 65] и обращение к птице в связи с молочными зубами: *Paserea lui Dumnezeu, na-ţi un dinte de fier şi dă-mi unul de oţel* 'Божья птица, на тебе железный зуб и дай мне стальной'[15]. В ряде случаев связь змея—птица проявляется на первый взгляд немотивированно, отлившись в своего рода клише. В этом смысле примечательна распространенная загадка о дятле: *Suliţă/Pestriţă/Caragea de os*, которая повторяет не менее распространенный заговор от змеи типа: *Ediţă/Pestriţă... /Carnea de os* (ср. к этому в загадках о плуге варианты *şarpe potcovit* или *cocoş potcovit* 'подкованная змея' или 'подкованный петух')[16]. Особый интерес представляет в связи с этим загадка про фасоль. Ползучее растение, обвивающее дерево или шест, оно, казалось бы, наиболее естественно ассоциируется со змеей. Загадывается же оно через птицу, но птицу, возвращающую нас (клишированной формой) к птице-змее, в заговорах:

inslav

Albă păsăruică	Белая птичка
Pe arac se urcă,	На кол взбирается
N'are aripioare,	Нет у нее крыльев
N'are nici picioare	Нет у нее и ног

[Gorovei, Cimiliturile, 736].

и особенно (ibid., N 739): *Păsărica pistruie / Pe copaci în sus se suie* 'Птичка пестрая / По деревьям вверх взбирается'[17]. Прямо или косвенно, но связь змея — птица на уровне первичной мифологизации ощущается постоянно[18].

Отождествление на основе реальных сходств подтверждается объективно не только тем, что соответствующие мифологические прототипы обладают крыльями и могут летать, но и поверьем, что любая змея при определенных условиях (если в течение 7 лет ее никто не увидит, если на нее не упадет луч солнца) может превращаться в мифологического змея, «получая крылья и ноги и поднимаясь в облака» [Muşlea, Bîrlea, p. 186][19], ср.: *zburătorul* 'летун', описываемый то как «змей с крыльями», то как «птица с крыльями», «орел», «петух» [ibid., p. 190 — 191][20]. Иногда способ превращения не указывается, сообщается лишь, что змей, балаур и т.п. — *un şarpe cu aripi* 'змея с крыльями', особый вид змей, живущих в небе, в облаках, поднимающихся в небо на облаке и т.п.[21]

Тождество змея≡птица с достаточной достоверностью подтверждается и уровнем первичной мифологизации, и уровнем универсальных мифологем, в частности связанных с основным мифом. В этом плане оно представляется логичным и семантически обоснованным. В то же время тождество змея≡птица как бы нарушает вертикальную трехчленную структуру мира, представленную мировым деревом (верх / крона — п т и ц ы; середина / ствол — к о п ы т н ы е; низ / корни — х т о н и ч е с к и е ж и в о т н ы е)[22]. Трехчленная структура сводится к двучленной, причем «спрессовываются» не смежные, а крайние члены: птицы и хтонические животные противопоставляются копытным. При этом подавляется хтонический член оппозиции — не птицы теряют крылья и спускаются вниз (как в русской потешке «чтобы вам, тетеревам, не сидеть по деревам, а гулять по полям и лугам»), а змеи получают новый элемент — крылья и поднимаются вверх. Возможность передвижения включает момент динамики, надежду на перемену, на восстановление змеей прежнего статуса, т.е. положения наверху (см. выше)[23]. Отнятие этой возможности содержится в заговорной формуле: змей проклинают так же, как прокляла Богоматерь камни, чтобы они «не пускали корней вниз и не росли вверх»[24].

inslav

Замкнуть тождество змея≡птица не удается, поскольку через эпитет *pestriţă* (и формы типа *păsăriţă*) перебрасывается мост к другой, почти совпадающей по структуре группе заговоров от змеиного укуса, где манифестируется тождество змея≡коза: *editǎ-pestriţă* 'козочка-пеструшка', с многочисленными фонетическими вариантами, в конце концов затемняющими исходную форму[25]. Обычно следующее клише:

Dediţă	Козочка
Pestriţă	Пеструшка
Muşcă peliţă	Кусает кожицу
Şi peliţă carnea	А кожица — мясо,
Şi carnea os	А мясо — кость,
Iar osul varsă venin jos.	Но кость выливает яд вниз.

[Tazlăuanu, с. 369].

Ср. заговор [Tocilescu. Materialuri, p. 1533], где змея называется и *apriţă pestriţă*, и *şerpe veninos* 'ядовитая змея'. Разница между двумя группами заговоров в основном заключается в том, что в заговорах с змеей-птицей основной мотив — движение змеи вверх и поражение огнем и водой, а в заговорах с змеей-козой — описание пути вниз, который проходит яд в теле укушенного.

Разумеется, тождество змея≡коза может быть достаточно широко интерпретировано и с точки зрения табу (причем искажение исходной лексемы как бы создает дополнительную прочность), и с точки зрения мифологии в широком смысле. Здесь же тождество змея≡коза рассматривается только в плане вертикальной структуры мира. Оно в свою очередь сводит трехчленную оппозицию к двучленной, но на этот раз построенной по-иному: птицы противопоставляются копытным и хтоническим животным. Если объединить оба тождества, то трехчленная структура мирового дерева окажется полностью нейтрализованной: в ней смешиваются основные параметры — верх, середина и низ. Как понять это самоопровержение в модели мира?

Вопрос усиливается тем, что тождество (или замена, сопоставление, сходство) змея≡х не ограничивается птицей, козой, уже упомянутыми камнем, Петром, лаской. Змея притягивает к себе еще целый ряд объектов, и рациональное объяснение проходит лишь в части случаев. Так, более или менее естественно, что заговор от укуса змеи применяется и от укусов других животных (волк, медведь, горностай, собака, даже шершень)[26]. Воспринимается как небольшой семантический сдвиг и замена

inslav

(или сопоставление) змеи родственными ей хтоническими животными: разного вида ящерицами[27], саламандрами (*sulemendriţă pestriţă*), гадюкой (*năpîrcă*), противопоставляемой змее в заговорах и в этиологических легендах, червями и т.д.

Однако, когда упоминаются укусы (*muşcatură*) птиц, то это лишь с натяжкой объясняется тем, что птицы клюют домашних животных[28]. Заговорное клише «99 видов змей» или «99 разных укусов» оказывается не столько метафорой, сколько указанием на принципиальную свободу выбора. Если к этому присоединить «синонимы» змеи в поверьях, загадках, речениях, детском фольклоре и т.п., то семантическое поле змеи значительно расширится. Не имея возможности приводить сколько-нибудь развернутые примеры, ограничимся некоторой сводкой данных.

П р е д к и з м е и: дьявол, человек, рыба (от которой змея взяла чешую), улитка[29].

П р и з н а к и з м е и: длинный, круглый, холодный, скользкий (смазанный жиром); связь с водой (*mare trece* 'переходит через море'), с подземным миром (прячется под землю).

У п о д о б л е н и я з м е и: прут, ветка, палка, железо, пила, ремешок.

У п о д о б л е н и я з м е е (иногда через отрицание: обладает признаком змеи, но не змея): радуга, дорога, гадюка (*năpîrcă*) улитка, ежевика, приводной ремень в мельнице (и метонимически — мельница), коса, пила, элементы плуга.

О д н о т и п н ы е к л и ш е (в основном в загадках) для змеи, червя, дятла, зайца, крота, подземного родника[30], фасоли.

С некоторым расширением (оправданным тем, что сюда вошел далеко не весь «змеиный» корпус) можно констатировать, что змея / змей проецируется едва ли не на все составные части модели мира, захватывая космологические, геологические элементы, флору, фауну, мир человека, в том числе элементы культуры. Не касаясь мифологической оправданности этого вывода (то, что змей — основообразующий персонаж в модели мира, не вызывает сомнений), хотелось бы рассмотреть его в плане основных принципов построения модели мира.

Это и будет попыткой т р е т ь е й интерпретации тождества змея≡птица. Основное внимание обращается на более или менее известный способ представления одного фрагмента модели мира через другой (ср. структура пространства и мировое дерево или элементы космоса, отождествляемые с элементами

inslav

человеческого тела и т.п.). В этом смысле проникновение змеи в модель мира представляется вполне обоснованным. Но существует и уровень, на котором отождествления и сопоставления такого рода трудно объяснимы; они как бы пренебрегают требованиями и реальности, и логики, выводя за пределы привычного. В возникающей при этом картине мира отчетливо выделяется ц е н т р, соответствующий канонам модели мира; п е р и ф е р и я, которая элементарно приводится в соответствие с канонами, и некий о с т а т о к, который ничему как будто не соответствует и вступает в противоречие с целым (ср. 99 видов, которые появляются тогда, когда реальный список объектов уже исчерпан; можно считать, что в них не входит ни один объект или что они содержат 99 случайных объектов, не имеющих отношения к данной ситуации). Обычно остатком такого рода пренебрегают, относя его к дефектным или вырожденным формам данной традиции — и в плане конкретной мифологии это вполне справедливо.

Однако модель мира не ограничивается только классификацией универсума: она содержит в себе и правила классификации, и аппарат самообучения. При усвоении языка человек изобретает грамматику (ср. идеи Н. Хомского), отталкиваясь от основоположных точек, которые служат ему опорой для самостоятельной выработки соответствующей процедуры. То же самое в модели мира, где надо усвоить некоторые основополагающие принципы, чтобы на их основе достраивать картину и не теряться в новой ситуации. В данном случае речь идет о технике мышления, а именно — о выработке критериев сравнения, сопоставления и отождествления. Обучение идет одновременно по двум линиям. С одной стороны, предлагается оставаться в пределах традиции, здравого смысла, с другой — все ограничения снимаются и разрешается находить общее в любых произвольно выбранных объектах. Снятие ограничений открывает дорогу тренировке мыслительного аппарата. Мир должен быть усвоен в связности, а это значит, что в принципе связаны друг с другом могут быть любые объекты вне какой бы то ни было классификации. Пусть реально будут использованы лишь некоторые сочетания, пусть на них будет наложена ограничительная сетка, тем не менее они имеют большой смысл, хотя бы при освоении новых областей, к которым нельзя приступить с обычными мерками.

Существует вид афазии, состоящий в абсурдном с привычной точки зрения сопоставлении предметов. Он выражается в замене одного слова другим — пальто называют креслом, по-

inslav

скольку у первого есть рукава, а у второго — ручки и т.п. В определенном смысле это и есть абсолютизм мыслительной техники, без накладывания ограничений. К этому можно добавить, что в архетипической модели мира таких неожиданностей очень много, но они, естественно, относятся не на счет болезни, а скорее на счет плохой сохранности, вырождения и т.п. Нередко комбинаторные способности мышления недооцениваются только потому, что они слишком жестко связываются с привычными представлениями, более широкий взгляд высвобождает их, приводя к проникновению в новые области.

Возможно, и в данном конкретном случае то, что выглядит отклонениями, несуразностями, является своего рода заготовками. Возможно, они никогда не актуализируются, ограничив свою роль «тренировкой ума», отработкой технических приемов. Но допустимо и то, что они являются указателями, открывающими новые области модели мира.

[1] См. раздел «Загадки» в: Паремиологический сборник / Сост., ред. и прим. Г.Л. Пермякова. М., 1978 (см. особенно статью: *Левин Ю.И.* Семантическая структура загадки. С. 283 — 318).

[2] *Свешникова Т.Н., Цивьян Т.В.* К исследованию семантики балканских фольклорных текстов // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973. С. 236 сл.; *Цивьян Т.В.* К мифологическим обоснованиям одного случая табу: *ласка* (mustela vulgaris) // Проблемы славянской этнографии, Л., 1979.С. 191 — 192.

[3] *Gregorian M.* Graiul din Clopotiva // Grai şi suflet. 1937. VII. P. 174.

[4] *Tocilescu G.G.* Materialuri folkloristice. Bucureşti, 1900. Vol. I. Pt. II. С. 1527, далее в тексте: Tocilescu. Materialuri. См. еще: *păsărică pestricioară, / ce te sui pe plăvioară, / turburată, veninată* 'птичка пеструшка, / зачем ты взобралась на (зд.) буренушку, / злобная, ядовитая' (*Bălăşel T.* Versuri populare române. I. Craiova, [S. d.], P. 67, далее и тексте: Bălăşel); см. актуализацию оппозиций *верх / низ, небо / земля* (*камень*) в заговоре: *pasărică albă, codalbă, pică-n ceri, pică-n pământ, pică'n piatră nestrămată* (Graiul nostru. Bucureşti, 1906. I. P. 82 и т.д.).

[5] Здесь не приводятся другие способы избавления от укуса змеи, также имеющие мифологическую окраску, например с помощью виноградной лозы, вырванной и брошенной на изгородь, с помощью веток бузины и ореха и т.п.

[6] *Vasiliu A.* Descîntece de Hunedoara // Grai şi suflet. 1931. 5. N 1. VII.

[7] *Olinescu M.* Mitologie românească // Casa şcoalelor. 1944. P. 27.

[8] *Eana I.* Ch. Diavolul in folklorul românesc. Oradea, 1939. P. 10.

[9] *Muşlea I., Bîrlea O.* Tipologia folclorului. Bucureşti, 1970. P. 184 (далее: [Muşlea, Bîrlea]).

inslav

[10] Возможно, в какой-то степени такая связь птицы со змеей поддерживается и «змеиными» названиями птиц-охотников на змей, например: *şerparul, Circaetus gallicus; şopirlar, Buteo rufinus* (*Băcescu M.C.* Păsările în nomenclatura şi viaţa poporului romîn. Bucureşti, 1961. P. 230).

[11] *Gorovei A.* Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Bucureşti, 1915. N 3694 (далее: [Gorovei. Credinţe]). По другим поверьям, утки происходят от лягушек [Muşlea, Bîrlea, P. 290].

[12] Muşlea, Bîrlea, P. 291.

[13] Gorovei. Credinţi, N 1191, 4517. P. 397. Ср. загадки: *Am o găină / De se ouă / În fundul pămîntului* 'Есть у меня курица, / которая кладет яйца / Под землей' (ящерица; см.: Bulgăre de aur în piele de taur. Bucureşti, 1975. P. 144); ср. Ibid. P. 143, о яйцах, которые нашедший боится брать, поскольку они могут оказаться змеиными.

[14] *Vasiliu A.* Descîntece din Moldova // Grai şi suflet. 1934. VI. P. 270.

[15] *Papahagi T.* Din folklorul romanic şi cel latin. Bucureşti, 1923. P. 18.

[16] *Gorovei A.* Cimiliturile românilor. Bucureşti, 1972. N 1464 — 1465 (далее: Gorovei. Cimiliturile). *Pestriţă* как эпитет дятла отмечает и С. Мариан (*Marian S.* Ornitologia poporană română. Bucureşti, 1883. I. P. 77).

[17] Это постоянно подчеркиваемое стремление змеи-птицы вверх, на дерево (где она гибнет), как бы попытка вернуться туда, откуда она была сброшена, находит отдаленное отражение в следующем поверье: нельзя наступать на змеиные кости, они вопьются в подошву, пройдут все тело вверх и затем выйдут из макушки (Gorovei. Credinţi, N 3688).

[18] Это отражается и в изобразительном искусстве. Не касаясь многочисленных сплетений «змеиных» и «птичьих» мотивов, упомянем свадебный кувшин из Обоги (юг Олтении), изображающий курицу, сидящую в гнезде и окруженную цыплятами; из-под крыльев у нее выползают две змеи, головы которых приходятся ей на шею (*Stahl P.H.* Folclorul şi arta populară românească. Bucureşti, 1968. Fig. 5).

[19] Ср. в связи с этим поверье: в праздник Преображения надо убивать всех хтонических животных, и особенно змей, чтобы они не превратились в драконов (*Rădulescu-Codin C., Michalache D.* Sărbătorile poporului. Bucureşti, 1909. P. 82).

[20] Со змеей постоянно связан мотив «скрытых конечностей». Он отражен как в этиологических легендах о том, что когда-то у змея были ноги, так и в поверьях, что у змеи под чешуей есть «четыре ножки», которые она выпускает, если бросить ее в огонь [Gorovei. Credinţi, N 3678, 3679].

[21] Через сочетание ч е р в ь + п т и ц а (= крылатая змея) загадывается бабочка: *Aripi are, / Cioară nu-i; / Trup subţire, / Vierme nu-i* 'С крыльями, // А не ворона, / Тело нежное, / А не червяк' [Gorovei.Cimiliturile, N 787].

[22] См. описания мирового дерева (*bradul* 'ель'): в вершине его вьет гнездо и выводит птенцов сокол, а в корнях находится гнездо змеи (*galbena şerpoaie* 'желтая змеиха'), где она выводит детенышей: *Buhociu O.* Die rumänische Volkskultur und ihre Mythologie. Wiesbaden, 1974. S. 29 folg.

[23] См. к этому запрещение поднимать мертвую змею с земли вверх, так как из-за этого в течение шести недель будет дуть ветер [Gorovei.Credinţi, N 3682].

inslav

[24] *Muşlea I.* Cercetări folklorice în ţara Oaşului // Anuarul arhivei de folklor, 1932. I. P. 204.

[25] Они собраны в: *Rosetti A.* Limba descîntecelor româneşti. Bucureşti, 1975. P. 86—87. К приведенным им вариантам — *dediţă, esdriţă, hestriţă, lestriţă, uitiţă, ciuchiţă, leptiţă, ederă, alogiţă, ghiţă, jurjiţă, ingliţă, iurghiţă* — см. еще некоторые: *estriţă, căpriţă* [Tocilescu. Materialuri, p. 1517, 1518, 1533]; *liţî* [Graiul nostru, p. 503]; *iliţă* (*Tazlăuanu Gh.I.* Comoara neamului. Bucureşti, 1943. VIII. P. 370, далее: [Tazlăuanu]; *izîţî* (*Diaconu I.* Ţinutul Vrancei. Bucureşti, 1969. II. P. 449).

[26] *Muşcatura... de gărgăune, de gărgăunoaică* (Folclor din Oltenia şi Muntenia. Bucureşti, 1967. I. P. 549). — К этому же: улей с пчелами загадывается так же, как змея: «Петре-Петришор... пускает стрелы во все стороны» [Gorovei. Cimiliturile, N 1778].

[27] *Gaşter, şopîrlă*, которая считается первой женой змеи и ее постоянной спутницей; к змее обращаются: *Ţi... Şerpe din rîu petros, / Şopîrlă din cîmp tufos* 'Ты... Змея из каменистой реки, / Ящерица с заросшего луга' (*Marienescu A.M.* Poezii populare din Transilvania. Bucureşti, 1971. P. 737.

[28] *Muşcatura de... cioară, gaiţă, coţofană* 'укус... вороны, сойки, сороки' [Tocilescu. Materialuri, p. 1579]. Правда в ряде поверий ворона и ее хтонический оппозит мышь взаимозаменяются: молочный зуб отдают то вороне (*cioară*), то мыши (*soarece*), и вряд ли это можно объяснить только фонетической близостью (ср. выше — обращение к «Божьей птице» и слав., в частности, русск.: *Мышка, мышка, возьми зуб репяной, дай зуб костяной* и т.п.): *Candrea I.-A.* Folklorul medical român comparat // Casa şcoalelor. 1944. P. 79—80.

[29] Любопытно, что улитка и змея сопоставляются через неназванную птицу: улитка «взбирается на дерево, как змея» (*Ispireşcu P.* Opere. Bucureşti, 1971. II. P. 400).

[30] Для змеи, червя, подземного родника используется один текст (с некоторыми вариациями): *cureluşă unsă pe sub pămînt ascunsă* 'скользкий (букв.: «смазанный жиром») ремешок, упрятанный под землю'. Для зайца и крота используется клише с заменой объекта сравнения: заяц 'скользкий горшочек, толстячок, упрятанный в лес, в траву, в поле, в листву' и т.п.; крот 'скользкий поросеночек, упрятанный под землю'.

1984

inslav

К МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОСТОЧНОРОМАНСКОГО КОЛЯДНОГО ТЕКСТА «ПЛУГУШОР»

Систематический анализ колядного репертуара sub specie mythologiae по сути только начинается. Хотя целый ряд замечаний по этому поводу высказывался[1], они не могли поколебать устойчивой традиции видеть в колядках по преимуществу функциональные приемы симпатической магии, направленные на достижение семейного и хозяйственного благополучия, в широком смысле — плодородия. Форма, в которую отливались эти приемы, — гиперболизация и гротеск, возвеличение и высмеивание, наконец, элементы театральности и т.п. — относились на счет, так сказать, клишированной организации народных праздников, опять-таки функциональной, направленной на создание атмосферы радости, непринужденного веселья и т.п.[2] Из этого следовало, что колядные тексты описывают сугубую реальность (более того, они привязаны к конкретному дому, конкретному хозяину, его семье и т.д.), хотя и завышают или занижают ее с помощью богатого арсенала изобразительных средств, которыми располагает фольклор. Такого рода взгляд невольно приводит к несколько облегченному прочтению текста, где отход от реальности (превращение дома хозяина во дворец из драгоценных металлов и камней; подробное описание «нелепого» мира, откуда явились колядники, и т.п.) объясняется чисто фольклорными украшательствами.

Уровень современной этнологии настоятельно требует пересмотра традиционных представлений. При этом, разумеется, речь идет не о том, чтобы в какой-либо степени затушевать непосредственно выраженные цели колядования — обеспечение плодородия — и его типичные для народного праздника формы. Принципиально иной подход к прочтению колядного текста с учетом значимости, семантической нагрузки каждого его фрагмента позволяет вскрыть глубинную мифопоэтическую схему, лежащую в основе его организации и придающую иное освещение колядному ритуалу в целом.

inslav

Этот «поворот к мифологии» содержится в монографии Л.Н. Виноградовой, посвященной анализу колядок на западно- и восточнославянском материале[3]. Никак не умаляя прагматический аспект колядования и элементы, специфические для народных празднеств, автор представляет колядников пришельцами из *иного* мира, приходящими в *этот* мир в некий отмеченный момент, строго определенный во времени (в масштабах годового цикла). В мифопоэтическом сознании обновление года соответствует обновлению/творению мира. Это не механическое повторение прошлого, но *начало*, где все происходит *впервые* и где от правильности «перводействий» зависит не просто (или не только) благополучие года в данной точке (доме, общине), но благополучие мира-универсума, т.е. правильность его организации и функционирования.

В этом смысле становится ясной особая роль колядников: они не просто (или не только) вестники наступления самого важного момента мифоритуального сценария, но и своего рода «обучатели» и надзиратели за правильностью его выполнения. Строго регламентированная во времени и пространстве церемония — приход, размещение[4], исполнение текста, получение даров, ответ на дары, прощание — проходит под знаком оппозиции *внешний/внутренний*, подчеркивающей разницу миров, к которым принадлежат адресаты и адресанты колядок; тем самым выявляется причастность колядников к *иному* миру и в определенном смысле их опасность для представителей *этого* мира. Естественно, что текст не может не быть затронут этими же задачами, и за пределами клишированных пожеланий благополучия и комплиментов или насмешек по адресу хозяев стоят непосредственные указания, помогающие реконструировать мифологический уровень.

Особый интерес в связи с этим представляют тексты, за которыми сложилась репутация чисто прагматических. К ним принадлежит вост.-ром. Pluguşor ('Плужок'), содержащий Povestea pîinii или Povestea colacului ('Повесть хлеба', или 'Повесть калача'), т.е. описание приготовления хлеба от пахоты до испечения каравая[5]. «Повесть хлеба» принадлежит к классу операционных текстов, формальная и содержательная структура которых определяется последовательностью соответствующих действий, выражаемых глагольными предикатами, нанизываемыми последовательно по способу сочинения. По предикативной насыщенности, четкой смене действий, где каждое последующее обеспечивается предыдущим, тексты такого рода напоминают кумулятивные с той разницей, что в последних це-

inslav

ленаправленность и причинно-следственная связь выражаются эксплицитно (*здесь*: восстанавливается «сеять можно только после вспашки» или «пахать надо для того, чтобы сеять» — *там*: непосредственно формулируется «Зачем коса?» — «Траву косить» и под.). Впрочем, вопрос о типологическом сходстве (или родстве?) операционных и кумулятивных текстов особый, требующий специального рассмотрения.

Традиционно считается, что «Плугушор» (длина текста от 50 до 500 строк[6]) — драматизированная версия, распространенных в восточной Трансильвании колядных «ораций» — благодарностей за калач, произносимых после получения даров[7]. В «Плугушоре» текст расширяется за счет инсценировки соответствующих действий — не только словесной. Не приводя здесь подробного описания этого многократно исследованного обряда, ограничимся лишь упоминанием того, что колядники ходят с плугом, запряженным быками, и проводят борозду; что они — не ряженые; что они называют себя пахарями, «плугарями»; наконец, что «Плугушор» не поется, а произносится одним (как правило) из участников. Произнесение сопровождается шумовыми эффектами — они составляют, так сказать, «звуковое оформление пахоты»: щелканье бичом, междометия-понукания (одновременно служащие разделителями содержательных фрагментов текста, что при его протяженности необходимо для облегчения восприятия), звуки бухая (старинный ударный музыкальный инструмент), имитирующие мычание быков, звон колокольчиков и т.д. «Деловой» операционный текст превращается в драматическое представление.

Определяется ли такого рода превращение лишь задачами праздника, к которому надо приспособить протокольное описание производственных действий? Как кажется, здесь надо искать более глубокие корни, чем поэтизация крестьянского труда, рассматриваемого как праздник и приуроченного к празднику. Другая обычно принятая интерпретация — считать «Плугушор» «аграрной энциклопедией». Здесь надо сделать оговорку, что, хотя «Плугушор» и содержит богатый набор реалий румынской сельской жизни, эти реалии (в основном лексические, т.е. терминологические, поскольку процесс приготовления хлеба более или менее универсален) не всегда вписываются в реальность, о чем соответствующие работы сообщают довольно скупо[8].

Следует начать с того, что объектом «Плугушора» является *хлеб*, от злака до каравая. Хлеб — объект сакральный по преимуществу, снабженный самым строгим кодексом правил и со-

inslav

ответственных наказаний за их нарушение. Отмечена и его почти универсальная роль в ритуалах, связанных с календарным циклом и с циклом жизни человека (в «Плугушоре», например, рога быков украшаются калачами). Сакральность хлеба распространяется и на объекты и действия, прямо или косвенно с ним связанные; сакрализованной оказывается и его «история», или «повесть»[9]. По законам архетипического мышления в основе ее лежат хорошо разработанные в каждой традиции мифологемы, типологически более или менее сходные: Бог-творец (или иной, более специализированный божественный персонаж, специально связанный с плодородием) дарует человеку злаки и сам или через культурного героя учит возделыванию хлеба и его приготовлению в пищу. Следовательно, в сознании носителя архетипического мышления операционный текст представляет собой фиксацию указаний, полученных от божества (а не фиксацию народного опыта), и в этом смысле не является обыденным: он — *сакрален*. Сакральность проявляется, в частности, в том, что такие тексты включаются в тексты иных фольклорных жанров, где играют роль заклинаний, оберегов и т.п. В свое время это было показано на примере другого румынского операционного текста — «Повести конопли», входящего в заговоры, отгоняющего злокозненных персонажей и т.п.[10] Определенные аналогии можно видеть в текстах, описывающих историю (глиняной) посуды[11]. В случае «Плугушора» не столь плодотворно (или слишком просто) ограничиваться его этиологическими и притом требующими специальных обоснований связями с трансильванскими орациями. Гораздо четче представлена «Повесть хлеба» в заговоре от рожи, записанном в Молдове, регионе широкого распространения «Плугушора». Этот текст здесь принимается за структурную основу «Плугушора» (разумеется, в чисто типологическом плане):

Ş-á dus la pădure	Пошли в лес
Ş-o tăciat un lemn	И срубили дерево
Ş-o venit acasă	И пришли домой
Şi s-o dus la plug	И взялись за плуг
Ş-o arat	И вспахали
Ş-o sămănat	И засеяли
Ş-o răsărit	И взошло
Şi s-o copt grîu	И созрела пшеница
Şi s-o apucat de săcerat	И взялись жать
Ş-o legat, ş-o făcul clăi	И связали и сделали скирды
Ş-o încărcat	И нагрузили
Ş-o dus la maşină	И отправились на молотилку

inslav

Şi l-o treierat	И его смолотили
Ş-o pus în saci	И насыпали в мешки
Ş-o venit acasă	И пришли домой
Ş-o făcut pîne... (FM I, 399[12])	И сделали хлеб...

Если принять этот текст за точку отсчета, следует определить шаги, которые нужно сделать для перехода от него к «Плугушору». Исходный текст построен на предикатах, его цель — только перечисление основных операций. Субъект действия не выявлен (в переводе поэтому избрана неопределенно-личная форма). Почти отсутствуют пространственные и временны́е характеристики. Скупы указания на объекты действия (плуг, машина, мешки, скирды, хлеб). Эллипсисы, лакуны восполняются в тексте «Плугушора»: за счет такого рода расширений формируется его структура. Это — первый шаг развертывания; последующие шаги совершаются на его основе и в конце концов приводят к стилистическим приемам — ретардация, повторение, мультипликация эпизодов и т.п., вплоть до обильных эпитетов, сравнений, метафор и др., как правило, клишированных или заимствованных из других фольклорных жанров (сказка, баллада, загадка и др.)[13]. Оказывается далее, что именно в точках развертывания, т.е. на первом шаге, заключена основная мифологическая информация. В сакральном аспекте исходный текст герметичен. Развернуть на его основе ритуальное действо могут лишь посвященные: не указаны dramatis personae, время и место, реквизит. Заполнение каркаса и осуществляется в «Плугушоре». Более пристальный анализ указанных точек развертывания позволит восстановить хотя бы в общих чертах лежащий в его основе мифо-ритуальный сценарий «Повести хлеба».

СУБЪЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ: ПРОТАГОНИСТ, ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ, СТАТИСТЫ

Система персонажей «Плугушора» далеко не так проста, как кажется с первого взгляда. Ограничиться, как это принято, «обобщенным образом земледельца» оказывается невозможно. Герои прежде всего различаются по своим функциям. Главный герой из перечисленных действий осуществляет только пахоту (один или с помощниками); в остальном он выступает как организатор работ: выбирает место для поля и гумна, определяет готовность хлеба к жатве, покупает железо для серпов,

inslav

нанимает кузнецов, покупает лошадей для обмолота; он — во главе обоза, везущего зерно на мельницу и муку домой. В этой роли выступает святой Василий (ко дню которого приурочено исполнение «Плугушора»), император Траян, император Ирод, наконец, просто: господин, дядя, хозяин (domnul gazda, badea gazda), т.е. некий мифологический персонаж или герой типа сказочного[14]. Но здесь же начинается амбивалентность, проницательно подмеченная в исследовании С. Чобану[15]: в орбиту мифологических персонажей оказываются втянутыми адресанты и адресаты «Плушугора»: плугари и хозяин дома, перед которым происходит действо. Плугари, во-первых, потому, что они сами пашут, т.е. осуществляют первую пахоту в Новом году (что в мифологическом плане соответствует *первопахоте*), ср. обычное клише:

Mîine anul se-nnoieşte,	Завтра год обновляется,
Pluguşorul se porneşte.	Плужок отправляется.

Или более развернуто:

Trage lampa, fă-o mare	Тащи лампу, зажги ее поярче,
Şi vezi cum ară plugari;	И смотри, как пашут плугари;
Şi te dă pe lîngă noi	И стань рядом с нами,
De vezi plugu tras de boi.	Чтобы посмотреть на плуг, который тянут быки.
Şi te dă pe lîngă mine	И стань рядом со мной,
De vezi brazda merge bine?	Чтобы посмотреть, хорошо ли идет борозда?
(TOR, 123)	

Во-вторых, плугари становятся и персонажами текста: в ряде вариантов их призывает император Ирод, дает им два золотых яблока и поручает пахоту (иногда указывая и место для нее)[16]: Ирод приказал,

Ca să umblăm cu plugul	Чтобы мы ходили с плугом
pînă la moarte	до смерти,
Şi cu mîna ne-a arătat	И рукой нам показал,
Unde să mergem la arat... (DVC, 55)	Куда нам идти пахать...

Наконец, плугари получают калач — результат первопахоты. Тем самым она оказывается осуществленной в реальности: мифологический хлеб, история которого рассказывается, в итоге материализуется, становясь калачом, даром плугарям, а хозяин дома вовлекается в мифологическое действо: именно в его доме и происходит чудо превращения мифологического калача в реальный. Тогда естественной выглядит и мифологизация дома, предстающего как дворец: это не фольклорный комплимент, но перевод действия в более высокий, мифологизированный план.

inslav

Та же амбивалентность касается и хозяйки: она просеивает муку в особом сите, замешивает тесто, печет необыкновенный калач, прекрасный, «как лицо Христа», разрезает калач и угощает им как персонажей текста, так и плугарей:

L-a pus pe masă	Поставила его на стол,
Şi s-a făcut lumină în caşa;	И по дому разлился свет;
L-a rupt în două	Разломила его пополам
Şi ne-a dat şi nouă (TOR, 121)	И дала и нам.

Функции Хозяйки в «Плугушоре» не ограничиваются испечением хлеба. Ее тема — тема женщины как хранительницы сакральной информации, надзирательницы за правильным исполнением ритуала, которым, как говорит Элиаде[17], являются сельскохозяйственные работы. Существенно, что здесь сфера *женского* как бы расширяется: в аграрном цикле женщинам принадлежат не только их специфические занятия (участие в жатве, приготовление хлеба-калача), но и знание общего плана, порядка и способа работ. В таком аспекте роль женщины в сюжете «Плугушора» до сих пор как будто не рассматривалась. Между тем это вскрывает если не основной, то весьма существенный мифологический слой, приводящий к женским персонажам, связанным с божеством плодородия.

В ходе повествования выясняется, что Хозяин (будь то и св. Василий), увидев, что хлеб созрел, приходит в волнение или гнев, поскольку *не знает,* что делать дальше. Выручает его то, что он *знает,* у кого спросить совета. Для этого Хозяин совершает действия, за которыми явно скрывается некий ритуал в узком смысле слова:

Trei spice-n mîna-a apucat,	Три колоса в руку взял,
În palma le-a frecat,	В ладони их растер,
În năframa le-a legat,	В платок завязал,
În sîn le-a aruncat (FI, 382)	За пазуху положил[18].

Эти зерна он приносит в дом, кладет на стол (отчего весь дом заливается чудесным светом) и спрашивает у Хозяйки, что делать, чтобы спасти хлеб. Примечателен формульный ответ Хозяйки:

Nu te teme, bărbătele,	— Не бойся муженек,
Că eu ştiu a descînta,	Ведь я умею заговаривать,
Pe toate-a le fermeca (TOR, 80)	Всех околдовывать.

Или:

— Taci, bărbate	— Молчи, муж
Blestemate,	Проклятый,
Nici un fir nu s-a strica,	Ни один стебель не пропадет,
Că eu ştiu a fermeca! (TOR, 84)	Потому что я умею колдовать!

inslav

Встретился вариант, в котором Хозяйка говорит, откуда ею получены знания:

— Taci, bărbate blestemate,	— Молчи, проклятый муж.
Nici în seamă nu băga,	Ни на что не обращай внимания,
Că Dumnezeu ni-a învăţa (FI, 326)	Потому что Господь нас научил[19].

В этом контексте клише *taci, bărbate blestemate* может интерпретироваться как «молчи, непосвященный», чтобы неосторожным словом не задеть сферу сакрального. Далее Хозяйка поручает мужу купить на ярмарке железа и стали, дать их кузнецу, чтобы тот выковал серпы, и созвать отовсюду жнецов. На первый взгляд эти бытовые советы никак не соотносятся с колдовством и заговорами (следует к тому же указать, что в ряде вариантов эпизод с Хозяйкой может быть опущен, и Хозяин все делает сам, без чьих бы то ни было указаний). На самом деле перед нами непосредственное свидетельство того, что речь идет о *первом разе*, о научении, о передаче сакральных знаний, до этого момента скрытых от человека[20].

Если обработка поля находилась в ведении мужчины, то обработка хлеба начиная с жатвы переходит к женщине, причем черты колдовского, магического здесь усиливаются, близко подводя к тем мифологическим персонажам, связанным с плодородием, которые предстают в виде кривых или хромых, безобразных старух. Здесь в пространном и цветистом перечне жниц с описанием их красоты, нарядов и т.п. непременно появляются

Cîteva babe bătrîne,	Несколько (одна, три, пять) старых баб,
Care ştiu ûndul (*rostul*) la pîine (TOR, 85)	Которые знают *порядок* (*толк, смысл*) *хлеба.*

(В других вариантах у них легкая рука, *harul* — собств. ‘благодать’ на хлеб.) Нередко эти старухи описываются как курносые, *кривые* (*cîrne, strîmbe*), с одним зубом, с зубами из шерсти; для них специально выковывают *кривые* серпы (*seceri strîmbe*; ср. кривизну как признак принадлежности к иному миру). Эти кривые старухи оказываются лучшими жницами, делающими свою работу со сверхъестественной (т.е. *чудесной* в терминологическом смысле слова) быстротой[21]. Кроме практического умения, они обладают еще и особым знанием. Так, старуха разрешает спор о том, как надо приниматься за жатву:

Unul a zis să înceapă din jos,	Один сказал начинать снизу,
C-aşa a zis Domnul Hristos,	Потому что так сказал Господь Христос,

inslav

Iar altul a zis să înceapă din sus,
Că Dumnezeu singur a zis.
Iar o strigat o babă bătrînă:
— Hai să facem treabă bună,
Să punem mînă de la mînă...
(FM I, 306)

А другой сказал начинать сверху,
Потому что сам Господь-бог сказал.
Тут крикнула старая баба:
— Давайте работать хорошо,
Давайте, возьмемся все...[22]

Наконец в ряде вариантов появляется женский персонаж, описываемый по типовой, в частности заговорной, модели:

Dintr-o vale neguroasă
Iesă-o babă grebănoasă...
Cu fesul cîrpit,
Cu nasul julit,
Cu ochii boldiţi,
Cu dinţii rînjiţi...
(DVC, 70)

Из туманной низины
Выходит горбатая бабка...
В заплатанной феске,
С расцарапанным носом,
С выкаченными глазами,
С оскаленными зубами...[23]

Строго говоря, она не имеет отношения к самой «Повести хлеба», поскольку нападает на возвращающихся домой плугарей, о чем см. далее. Однако, как уже говорилось, роль плугарей амбивалентна: в определенном смысле они — тоже участники действия. Кроме того, существуют и непосредственные указания на связь старухи с плодородием, см.:

Şi vine o babă grebănoasă,
Cu chitia răpănoasă
Şi cu un negel pe nas.
Eu o-ntreb ce umblă pe arătură,
Ea zice că după dînsa să face pînca bună;
Eu o întreb ce umblă prin pîrloage,
Ea spune că după dînsa pînca bună să face;
Eu o întreb ce hrană ai,
Ea spune că-i vrăjitoare
«Şi cine la mine va veni,
Doamne, bine-i voi mai gîci...»
(DVC, 58)

И приходит горбатая бабка
В заскорузлой ермолке
И с бородавкой на носу.
Я ее спрашиваю, зачем она гуляет по пашне,
Она отвечает, что после нее будет хороший хлеб;
Я ее спрашиваю, зачем она ходит по пару,
Она отвечала, что после нее хлеб хороший будет.
Я ее спрашиваю, какая у нее есть еда,
Она отвечает, что она — ворожея
«И кто ко мне придет,
Господи, хорошо ему нагадаю...»

Конечно, этот персонаж воспринимается не столько устрашающе, сколько комически. Струя комического в «Плугушоре» вообще очень сильна, есть и особый жанр сатирических

inslav

«Плугушоров». Более пристальный анализ позволяет предположить, что комическое вводится не только с чисто развлекательной целью, но и как своего рода оберег от сверхъестественных сил, связанных с иным миром. В «Плугушоре» действуют персонажи, мифологическая природа которых и причастность к *чужому* опасному миру не требуют специальных пояснений хотя бы потому, что этим амплуа посвящено большое количество работ: *кузнец*, кующий серпы (может быть и несколько кузнецов: первая партия серпов оказывается неудачной; иногда вводится и кузнец, исправляющий плуг, который наткнулся на кость червя и сломался), и *мельник*.

При описании кузнеца комические черты более или менее факультативны; они могут касаться его ржавой наковальни или неискусности[24]. Однако постоянно подчеркивается его принадлежность к чужому, иному миру: он может быть «сыном фараона со дна земли» (*fecioru faraonului din fundul pămîntului*. DVC, 41) или «Великим Фараоном» (*Faraon cel Mare*. DVC, 226), но чаще всего — *цыганом* по имени *Илья*; атрибуты кузнеца — молот, наковальня, иногда напильник, клещи, меха; основное его действие — бить молотом[25]. Эти характеристики вместе с безусловно неслучайным именем Илья[26] позволяют сближать чудесного кузнеца не только с соответствующими богами-мастерами, но — в контексте румынской традиции — с Громовником Ильей. Связь Ильи-пророка с пахарями можно увидеть в распространенном сюжете румынских икон на стекле: внизу пашут на быках, наверху на небе едет на запряженной лошадьми колеснице Илья-пророк с поднятым бичом[27].

Более колоритна и гораздо более развернуто описана фигура мельника. Эпизод с мельницей — кульминация комического в «Плугушоре»: мельница, увидев движущийся к ней обоз с зерном, убегает, чтобы не работать[28]. Мельник (изредка с мельничихой или одна мельничиха) ловит ее или заманивает хитростью (показывая ей миску с отрубями) и ставит на место. При этом мельнику приходится основательно чинить мельницу, а по сути делать ее заново. Как и у кузнеца, основным инструментом мельника оказывается молот. Кроме того, для починки мельницы употребляются способы, которые правдоподобно могут быть интепретированы как жертвоприношения при строительстве, притом связанные с плодородием: мельник разбивает одно или несколько яиц, мажет мельницу жиром и т.п. В связи с этим и в описании мельника, в основе которого лежит то же клише *старый*(*ая*) *колдун*(*ья*), можно увидеть признаки, указывающие на связь этого персонажа с идеей плодородия

inslav

(лысина, вывернутый наизнанку кожух и т.п., да и вообще весь эпизод укрощения мельницы)[29], см., например:

Şi a mai stricat două ouă,	И еще разбил два яйца,
Şi a mai stricat un ou,	И еще разбил одно яйцо,
Şi a făcut şi coşul nou,	И сделал новый короб,
Şi mai dete una-n şele,	И дал ей по спине,
Î-a mai pus vreo tre măsele;	Ей поставил три зубца;
Îi mai dete una-n gură	Дал ей раз в зубы,
Şi a început făina a curge.	И мука начала сыпаться.
Şi a-aşezat în fundul morii,	И сел на дне мельницы
Cu luleaua în dinţi,	С трубкой в зубах,
Cu ochii boldiţi,	С выкаченными глазами,
Cu dinţi înjiţi,	С оскаленными зубами
Cu nasul plin de muci,	С носом, полным соплей,
Cu barba de buci,	С бородой из очесов,
Ci brîul de lînă,	С поясом из шерсти,
Cu ciocanul în mînă (TOR, 86)	С молотом в руках[30].

Вообще эпизод с мельницей заслуживает отдельного рассмотрения. Насколько нам известно, подобных сюжетов в соответствующих указателях не зарегистрировано. Более или менее соприкасается с данным сюжет о чудесной мельнице, которая слушается только своего хозяина (AT 565), но это лишь самое общее и поверхностное сходство. Вполне возможно, что истоки этого мотива следует искать не в нарративном фольклоре, а в ритуале, в поверьях, в этиологических преданиях о происхождении мельницы и мельника (ср. в румынской традиции мельник — превращенный медведь)[31], вообще в сюжетах об особых отношениях, возникающих между мастером и продуктом его труда. В данном же случае, как было сказано, следует обратить внимание и на символику плодородия, имеющую отношение к мельнице по самым разным основаниям (в определенном смысле в этом плане можно толковать и бегство мельницы, ее преследование и укрощение ее мельником).

За пределами перечисленных персонажей остаются статисты — слуги Хозяина, домашняя челядь, жнецы и жницы, погонщики быков и т.д. Их количество, степень подробности описания меняются от варианта к варианту и определяются скорее стилистическими требованиями, общей композицией конкретного текста или импровизационными задачами исполнителя.

inslav

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пространственные указатели в тексте «Плугушора» достаточно разнообразны и вполне отражают амбивалентность, которая была отмечена в связи с персонажами. Однако осью, определяющей мифологизацию описываемого пространства, являются два указания: *место для пахоты и место для гумна.* В обоих случаях (в опровержение репутации «Плугушора» как сельскохозяйственной энциклопедии) речь идет не столько об указании протяженного, ровного пространства (т.е. поля), сколько о сакрально отмеченной точке, являющейся *границей* (началом или концом) или *центром* (пупом) мифопоэтического мира. Для точек такого рода характерны удаленность, вертикальность, высота; иногда «точечность» специально подчеркивается, доводя идею до абсурда (пахать или молотить на горе, острой, как лезвие ножа). *Гору,* холм может заменять (или усиливать) *дерево,* растущее посредине; тогда вертикаль соответствует мировому дереву, которое в данном контексте осуществляет медиацию в переходе от одного мира к другому и подчеркивает тем самым идею превращения реального пространства в мифологическое. На сакральность указывает и то, что место для пахоты было определено (куплено, дано) богом; этому же способствуют топонимические указания, содержащие христианскую символику и в конце концов сводимые к таким отмеченным местам, как Голгофа и Иерусалим. Существенным является обязательность специального выбора, поиска: прежде чем выйти с плугом и быками, Хозяин выезжает на коне искать место для пашни. После жатвы задается вопрос: «Где делать гумно?» Иногда ответ на это дает Хозяйка или та же кривая старуха. Таким образом, и здесь восстанавливается ритуал, одна из целей которого подчеркнуть, что все происходит *впервые.* Ниже приводится некоторая сводка пространственных указателей.

ПОЛЕ

Au plecat la Cîmpul durat,	Поехали на расчищенное (подготовленное) поле,
La Mărul rotat Unde Dumnezeu a descălecat (DVC, 47)	К круглой Яблоне, Где Господь спешился.
Pe drumul sapat, La Teiul rotat,	На прорытой дороге, У круглой Липы,

inslav

La Mărul plecat,
Ca acolo este pămînt
de la Domnul sfînt cumpărat
(DVC, 55)

У склоненной Яблони,
Потому что там есть земля,
Купленная у святого Господа.

La măru rotat,
De la Domnul sfînt lăsat,
Locu-i vesel şi curat
În veleagu vîntului
În fereastra pămîntului
(FI 404)

У круглой Яблони,
Святым Богом данное,
Место веселое и чистое,
Где собираются ветры,
В окне земли.

... la arat,
La locul nalt, la mărul rotat

... на пахоту
На высоком месте, у круглой Яблони,

Pe un deluţ ascuţit,
ca o muche le cuţit
(FM I, 312)

На холме остром, как лезвие ножа.

Si-au pornit la arat
În dealul Garalimului
În fundul Erusalimului
La teiul plecat
La mărul rotat
C-acolo-i bine de arat
(FM I,435)

И пошли пахать
На холм Гаралимский,
На дно Ерусалима,
К склоненной липе,
К круглой яблоне,
Потому что там хорошо пахать.

См. еще: *На холм Гаралинский | У подножия Русалима, | К круглой яблоне, | Где чистое (освященное) место* (TOR, 111); *К твердой яблоне, | К круглому полю* (TOR, 159); *Отправился на холм Рыма | И пошел вдоль дороги. | Только здесь у Яблони | Хорошо пахать* (DVC, 52); *Отправился на холм Гаралимский, | В землю Рымскую, | В немеряное место* (DVC, 41); *На холм Гаралийский поехал | И выбрал чистое место для пахоты* (DVC, 50) и т.д.

То, что речь идет именно о *точке*, о *начале* подтверждается дальнейшим текстом, где в проекции на временну́ю сетку, в которой мы видим оттолоски библейского описания творения мира, подробно говорится, что́ и где пашет Хозяин (или плугари):

Ş-am arat joile,
Văile,
Marţile,
Frinţile,
Miercurile,
Piscurile,
Vinerile,
Sîncile,
Sîmbetele,
Apele
(TOR, 96)

И вспахали в четверги
Долины,
Во вторники
Склоны,
В среды
Вершины,
В пятницы
Скалы,
В субботы
Во́ды[32].

inslav

Указывается, что пахали «вдоль и поперек», «на сколько видит глаз», наконец, что пашут «*по всей земле*»:

La munţi înalte,	На высоких горах,
La pământuri curate...	На чистых землях...
Peste toată lumea	По всему свету
Plugurile se vede	Видны плуги[33].
(FM I, 448)	

Так раскрывается почти эпическая картина возникновения земледелия, которому божественный персонаж или культурный герой обучает человечество.

ГУМНО

Гумно в общебалканской традиции является, как об этом писал М. Филипович[34], самостоятельной мифологемой: медное (у греков мраморное) гумно служит границей *этого* и *иного* мира и сценической площадкой для поединков и других значительных событий с мифологической нагрузкой. Так и в «Плугушоре», медное гумно с серебряным столбом, жемчужной оградой и т.п., где молотят волшебные лошади, которые сами веют и сами складывают зерно в мешки, — *первое* гумно, на котором *впервые* молотят *первые* снопы. Естественно, что оно может находиться лишь в особом, сакрально отмеченном месте:

În vîrful dealului,	На верху холма,
În faţa vîntului,	Напротив ветра,
În capătul pământului (DVC, 56)	На краю земли.
Nu se găsea pe faţa pământului	Не нашлось на поверхности земли
Să facă aria,	[Места], чтобы сделать гумно,
Şi-o făcut în fundul pământului,	И сделали его в глубине земли,
În veliştea vîntului (FI, 442)	Где собираются все ветры.
Unde să facă aria?	Где делать гумно?
Unde să facă aria,	Где делать гумно,
În dealul Gărărăului,	На холме Гэрэрэйском,
Aproape de curtea zmăului,	Близко от двора змея,
Sau în muntele Siminicului,	Или на горе Симиникийской,
Unde-i bataia vîntului? (TOR, 85)	Где бьются ветры?
În căpul pământului...	На краю («в головах») земли...
La buricu pământului(TOR, 105)	На пупе земли.

Пограничность гумна выражается и в некоторой опасности места, где оно находится: близость враждебных сил — змея, ветров, наконец, признак *низа* — показывает его причастность к *иному* миру.

inslav

В характеристику мифологических мест вошли признаки верха и низа, соответствующие *верхнему* и *нижнему* миру. В перенесении на христианскую символику им соответствуют *рай* и *ад*. Эти символы вводятся в «Плугушор» в связи с плугарями, которые совершают путешествие из ада в рай; в ад их помещает старуха-колдунья, а вызволяет оттуда Дед Адам. Путешествие из ада в рай упрощается тем, что *От рая до ада | Ничего нет, кроме сломаного забора* (FM I, 276). Введение рая и ада — не только дополнительный способ мифологизации пространства. Это прежде всего еще один признак чудесной, сверхъестественной природы плугарей, пришельцев из иного мира, свободно передвигающихся по разным мирам и тем самым осуществляющих медиацию между ними, превращая в отмеченный момент мир человека в верхний, мифологический мир[35]. Это смешение / объединение нижнего и верхнего мира, могилы и рая весьма выразительно отражено в варианте «Плугушора», где Господин выходит провести борозду (очевидно, ритуальную) на могиле; когда же пахари приходят на могилу, они видят что *рай открыт*[36].

В текстах «Плугушора» встречается целый ряд реальных топонимов (или имитирующих реальные названия): место ярмарки, где Хозяин покупает железо; места́, где находится мельница; наконец, плугари, прощаясь, называют целый ряд мест, откуда они якобы пришли[37]. Комический (и мифологический) эффект достигается тем, что названия вполне обычные, а мир, описываемый ими, нелепый, вывернутый наоборот: в плуг там впрягают девушек, на огне замерзают галушки, зимой жарко, а летом холодно и т.п.[38] Это — мир с обратным знаком, и противопоставление дворца хозяина — адресата колядки и покрытых ветром землянок плугарей имеет в виду не столько шуточное противопоставление богатства и бедности и притворное самоуничижение (легко сменяющееся угрозами в случае недовольства дарами), сколько то же противопоставление верха и низа, верхнего мира, в который превращается в начале годового цикла мир человека, и нижнего мира, откуда пришли колядники[39]. Разница миров подчеркивается традиционными для колядок описаниями трудного, дальнего пути по кривым дорогам, через бурные реки и высокие горы, мимо страшных чудовищ с оскаленными пастями, которые поджидают неосторожных путников, и т.п. Мировая литература знает много описаний путешествий в нижний мир, и если освободиться от комических элементов и выстроить путь колядников, начало и конец их путешествия в одну линию, то перед нами вновь развернутся картины сошествия в подземный мир[40].

inslav

Среди временны́х показателей пожалуй не так существенно более или менее условное распределение во времени этапов «Повести хлеба». К уже упомянутым дням недели можно прибавить, что после посева хлеб созревает через месяц и неделю и — что более важно — начало пахоты приурочивается к четвергу, т.е. дню Громовержца, черты которого, как мы видели, опознаются в определенных персонажах «Плугушора». Более интересным представляется амбивалентность, смешение временны́х планов — реального времени и времени внутри текста, что было замечено в уже упомянутой статье С. Чобану. «Плугушор» произносится только один раз в канун Нового года и в определенное время дня (к вечеру, в темноте); срок его действия тоже точно рассчитан: прощаясь, плугари говорят, что они вернутся ровно через год. Приходя с плугом, они объявляют, что сейчас самое время пахать, что не соответствует действительности и не проецируется на «Повесть хлеба»: там пахота не приурочивается к Новому году. Амбивалентность временно́го плана выражается еще и в том, что «Плугушор» одновременно описывает и события будущего года (вспомним, что его прагматическая цель — обеспечение плодородия в новом году) и их результаты (испечение каравая, который тут же и материализуется), т.е. либо забегает вперед, либо возвращается назад.

ДРУГИЕ МАГИЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ В «ПЛУГУШОРЕ»

Здесь уже неоднократно говорилось о живописном богатстве, разнообразии стилистических приемов и изобразительных средств в тексте «Плугушора». Их нередко считают заимствованными из других фольклорных жанров, в основном сказок и эпических произведений, и более чем орнаментального значения им не придают. Единственная интерпретация — отражение реалий румынской сельской жизни (где молотят на лошадях, для жатвы созывают клаку, пашут на быках и т.п.), вопреки предостережениям (ср. неоднократно у Леви-Стросса) от реконструкции на основании фольклорных произведений картины реальной жизни. При всей правомерности и стилистической и познавательной роли этих приемов все же хочется сказать, что во главу угла должны быть поставлены иные цели. Гиперболизация играет прежде всего магическую роль: усиление, необходимое для гарантии плодородия и процветания. В ее основе лежит не арифметическое сложение или умножение, но мифологическая подоплека. Перевод действия из реального в мифо-

inslav

логическое пространство, признак начала, «первости» происходящего придает и атрибутам признак *чудесный*, принадлежащий к иному миру. Чудесный мастер кует чудесные серпы, которые жнут с особой быстротой. Кривая старуха во мгновение ока делает валки, вяжет снопы, складывает копны, скирды и т.п., поскольку обладает магическим знанием и умением. Калачом, испеченным из этого золотого хлеба, можно накормить все село, можно разделить его на сколько угодно частей и т.д. Естественно поэтому предполагать, особенно учитывая особую роль культа коня в румынской традиции, что и кони — вороной жеребец, на котором Хозяин выезжает выбирать место для пашни или проверять, созрел ли хлеб, и кони, которые молотят зерно (см. выше) — представляют собой мифологические существа, чудесных помощников, появляющихся в отмеченные моменты.

Особенно это касается начального эпизода, когда подробно описывается чудесный конь, на котором Хозяин выезжает в поле[41]. Его выезд, знаменующий собой начало мифологического преобразования мира, сопровождается и космическими процессами: они происходят по сути дела от *удара конских копыт*, что естественно, не случайно. Выезд Хозяина на коне как бы взбаламучивает мир:

Pămîntu s-o cutremurat,	Земля задрожала,
Văile s-o răsunat,	Долины загудели.
Sfîntu Vasile, mări, mult s-o bucurat!	Святой Василий возвеселился!
(FI, 421)	
Apele s-o tulburat,	Воды взбаламутились,
Luna-n roş s-o încruntat	Луна побагровела
S-o-ndesat chivăra-n cap (FI, 421)	И нахлобучила на голову шапку.
Dar nici pluguşor ca al nostru nu a mai umblat,	Такой, как наш плушутор, не гулял,
Ca din ogradă cînd am ieşit,	Потому что когда мы вышли со двора,
Pămîntul s-a cutremurat,	Земля задрожала,
Apele s-au tulburat,	Воды взбаламутились,
Soarele s-a-ntunecat,	Солнце затмилось,
Iar jupinul gazda mult s-a bucurat,	А господин хозяин возвеселился.
Căci noi am pornit la arat	Что мы вышли пахать.
(FM, I, 303)	

Здесь эти явления связаны с приходом колядников.

Pe cel cal a-ncalecat,	Он сел на коня,
Pămîntul a tremurat,	Земля задрожала,
Văile au răsunat,	Долины загудели
Frunza-n cadru a picat,	Листва в лесу опала,
Sînt Vasîi s-a bucurat (FM, I, 313)	Святой Василий возвеселился.

inslav

Весьма характерно, что такие грозные явления, как землетрясение, затмение солнца и луны и т.п., вообще считающиеся признаком бедствия, *конца* света, здесь вызывают радость, знаменуя начало, переход от хаоса к космосу.

Дальнейшее изучение следов древних обрядов в «Плугушоре» поможет выявить и другие детали мифологического характера. Действия героев оказываются строго ритуализованы: Ирод дарит плугарям два золотых яблока (он же обычно сидит за накрытым столом в шелковой шапке и с саблей в руке); хозяин, собираясь в поле, умывается («моет черные глаза») и кланяется иконам; в поле он выезжает на особом коне; созывая слуг или жнецов, он выходит во двор и дует в бучум (старинный духовой инструмент); об обрядах, связанных с тремя колосьями, об особых кривых серпах для старух-мастериц уже говорилось. Подробно разработан и ритуал испечения калача: Хозяйка просеивает муку через три сита, особым образом переплетает калач, смазывает его медом и помещает în cuiul de jos (на полку внизу). После этого наступает церемония разрезания калача и угощения.

Особый вопрос — числовая символика «Плугушора». Ее основу составляют *три* и числа, кратные *трем*. *Три*: колоса, сита, старухи; с *тремя* кольцами играет Хозяйка, когда Хозяин приносит *три* колоса; *три* раза он ударяет коня. *Шесть*: калачей (5 + 1), быков тянут воз с зерном. *Девять*: императоров, возов с зерном, кобыл, которые молотят зерно, *девять* ока́ железа и стали покупают на серпы; в *девятой* комнате Хозяйка находит нужное (*третье*) сито. *Двенадцать*: быков запряжено в плуг; 12 кобыл молотят зерно; 12 баб месят калач[42].

Эта символика более или менее обычна. Кроме этого, в «Плугушор» вводится *счет*, что сближает соответствующие фрагменты со считалками и далее — с заговорами, где счет широко используется для изгнания болезней. Разница в том, что в «Плугушоре» счет идет по нарастающей, а в заговорах — по убывающей. Счет появляется при одаривании калачом, который делят на две, три, четыре, пять, далее десять и т.п. частей:

Taie în două,	Режет на два,
Dă şi nouă,	Дает и нам,
Taie în trei,	Режет на три,
Dă lui Andrei,	Дает Андрею,
Taie în patru	Режет на четыре,
Şi o hranit tot satu...	И накормила все село...
Taie în cinci,	Режет на пять,
Dă şi celui cu opinci;	Дает и тому, кто в опинках;
Taie în zece,	Режет на десять,

inslav

Dă şi celui care trece.	Дает и прохожему,
Taie într-o mie	Режет на тысячу
Şi mi-a dat şi mie! (TOR, 87)	И дала и мне!

Органично переходит в заговор другой эпизод со счетом, когда с поля улетает стая голубей:

Unu cîte unu	По одному
Doi cîte doi	По два
Patru cîte patru	По четыре
Opt cîte opt,	По восемь,
Pînă-n doisprezece.	До двенадцати.
Cum s-au împrăştiat acei porumbei,	Как рассеялись эти голуби,
Aşa să se răsipească de la casele d-stră	Так пусть рассеются из ваших домов
relele,	несчастья,
boalele,	болезни,
farmecele,	чары,
lipsurile... (TOR, 115)	нужды...

Рассмотрение структурного и содержательного сходства «Плугушора» с заговором[43], как и вообще кросс-жанровые сопоставления, поиски сходных сюжетов и мотивов, выявление формульного слоя будут способствовать полной реконструкции его мифологической основы.

Румынский «Плугушор» — текст чрезвычайно насыщенный мифологически. Он, безусловно, требует монографического исследования. Здесь только намечены основные точки, в которых наиболее ярко и значимо проступает мифопоэтическая модель мира. Среди многих вопросов, встающих в связи с анализом этого текста, один из наиболее интересных — вопрос кодирования и хранения мифологической информации во времени и пространстве: каким образом операционный, хозяйственный текст, сухая инструкция превращаются в величественную картину творения. В этом отношении у «Плугушора» есть высокие аналоги и предшественники: лишь недавно «Труды и дни» Гесиода и «Георгики» Вергилия из сельскохозяйственных руководств возведены в ранг произведений, создающих мифопоэтический образ мира[44].

[1] См. прежде всего известные работы А.А. Потебни, А.Н. Веселовского, в применении специально к румынской традиции — работы П. Карамана: *Caraman P.* Substratul mitologic al sărbătorilor de iarnă la români şi slavi // Omagiu prof. I. Bărbulescu. Iaşi, 1931; *Idem.* Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów. Kraków, 1933; *Idem.* Descolindatul dans le Sud-Est Européen / Comptes rendus du IV Congrès des géographes et des etnographes slaves. Sofia, 1936.

inslav

[2] См. особенно: *Rusu L.* Viziunea lumii în poezia noastra populară. Bucureşti, 1967. P. 257–258.

[3] *Виноградова Л.Н.* Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. М., 1982. С. 153 сл.

[4] Размещение колядников вне дома, их общение с хозяевами через окно и т.п. разработаны весьма подробно, ср. в «Плугушоре»: *Жена, жена, Что делается за окном?* | – *Два плугаря стоят, прислонясь к боку* | [*стене*] | *Около оконницы* [FM, I, 277].

[5] Обряд «Плугушор» описан многократно. Назовем несколько недавних работ: *Бэешу Н.М.* Поезия популарэ молдовеняскэ а обичеюрилор де анул ноу. Кишинэу, 1972. P. 44–141 (с большой библиографией, позволяющей нам не приводить здесь хрестоматийных работ С. Мариана, Т. Памфиле, Е. Никулицы-Воронка и др.); *Попович Ю.В.* Молдавские новогодние праздники. Кишинев, 1974; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. М., 1973. Румыны (обряд описан с рядом неточностей); *Vuia R.* Studiu de etnografie şi folclor.II. Bucureşti, 1976; *Bîrlea O.* Folclorul românesc. I. Bucureşti, 1981. – Обряд имеет локальное распространение: Молдова, Буковина, Мунтения, Добруджа, реже Олтения, отдельные островки в Трансильвании, Молдавии. Литературно обработанный текст «Плугушора» был впервые опубликован в 1866 г. В. Александри. Этот вариант стал хрестоматийным. С тех пор собрана обширнейшая коллекция «Плугушоров». Для данной статьи было использовано около ста текстов. За основу были положены следующие собрания: *Jula N., Mănăstireanu V.* Tradiţii şi obiceiuri româneşti. Anul nou în Moldova şi Bucovina. Bucureşti, 1968 [TOR]; Folclor din Moldova, I, II. Bucureşti, 1969 [FM, I; FM. II]; *Furtună D.* Izvodiri din bătrîni. Bucureşti, 1973 [FI]; *Densuşianu N.* Vechi cîntece şi tradiţii populare româneşti. Bucureşti. 1975 [DVC]. Русский перевод «Плугушора» см.: Молдавский фольклор. Кишинев, 1976. С. 19–22.

[6] В собрании DVC, № 10 приведен редкий образец «Плугушора» в 706 строк.

[7] «Плугушор» – это «Oraţia colacului», вынутая из колядного контекста и вписанная в новый сценарий в соответствии со склонностью жителей Молдовы к драматическим представлениям» (*Bîrlea O.* Op. cit., p. 387). Более осторожно об этом: *Pop M.* Obiceiuri tradiţionale romaneşti. Bucureşti, 1976. P. 65.

[8] Аграрной энциклопедией назвал «Плугушор» Т. Памфиле. Как пример отступления от реальности приводят то, что в разных вариантах «Плугушора» сеют *grîul cu secara* (пшеницу с рожью), в то время как их никогда вместе не сеяли. Как кажется, в системе мифопоэтического текста «пшеница с рожью» должна идти по разряду калача с мельничное колесо: мир, описываемый такого рода текстами, един; все, что попадает в его пространство, мифологизируется по определению. Сказанное, разумеется, не означает, что из этих текстов нельзя извлечь ценной бытовой информации.

[9] В связи с румынской традицией см. об этом недавно: *Văduva O.* Repere simbolice în cultura populară // Revista de etnografie şi folclor. 1981. N 1. Ср. примеры из колядного репертуара: пшеничный колос у двери рая судит цветы или: *Господь воздвиг небо / На четырех столбах из чистой пшеницы* [FM. I, 241]. DVC (P. 423, примеч. 7) указывает на связь в ардяльской

inslav

коляде созревания пшеницы и распятия Христа: Когда его *вели к могиле* (месту казни), / *Пшеница созрела, / А когда народ возвращался от могилы, / Пшеница была сжата.*

[10] *Цивьян Т.В.* «Повесть конопли»: К мифологической интерпретации одного операционного текста // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели и структура балканского текста. М., 1977. — В одном заговоре от прострела [FV, I, 412], построенном на произнесении «Повести конопли», есть вкрапление «Повести хлеба»: *Было у меня конопляное поле, / Я вспахал, засеял, проборонил...*

[11] *Свешникова Т.Н., Цивьян Т.В.* К функциям посуды в восточнороманском фольклоре // Исследования по этногенезу славян и восточных романцев. М., 1979.

[12] Ср. те же мотивы в другом заговоре от рожи [FM, I, 396], где три девушки с кривыми серпами отправляются на Гаралейский холм посмотреть, не созрела ли пшеница.

[13] Проникновение в «Плугушор» иных жанров (стригэтуры, коляды из других циклов и т.п.) нередко отмечается в литературе, см., например: *Bîrlea O.* Op. cit. P. 386. Впервые на это указал В. Александри: метафора *Вверху барабаны били, / Вниз туманы падали* — о просеивании муки — представляет собой распространенную загадку.

[14] О главном герое «Плугушора» см.: *Bîrlea O.* Op. cit. P. 383.

[15] *Ciobanu S.* Text şi context în urătura de An Nou // REF. 1980. P. 73—74.

[16] *Император Ирод... / Возрадовался, Два / золотых яблока* нам дал, / *И мы* пошли *пахать* [FM, II, 729]. Этот дар пахарям за будущую работу носит несомненные следы древнего ритуала.

[17] *Eliade M.* Traité d'histoire des religions. P., 1975. P.283.

[18] Скрывание, прятание (или бережное хранение) трех колосков нередко особо подчеркивается: хозяин помещает их в коробочку, платок засовывает за пояс и т.п.; ср. еще [FM, I, 435]: *Шесть колосков взял, / Три растер в руке, / Три положил в карман.*

[19] Ср. к этому же: *Делайте, как делал Святой Василий: / Готовил плуги девять дней* [FM, I,275].

[20] В [TOR, 127] хозяйка говорит мужу: *Ведь я умею заговаривать, / И пшеница не осыплется,*— после чего он сам, без ее совета решает поехать за железом. Это можно понимать и как эллипсис, и по-иному: чтобы дать время сделать серпы и созвать жнецов, хозяйка заговаривает хлеб.

[21] Ср.: *И нашлась старая баба, / Мастерица в работе* [FI, 430]. За такой бабкой хозяин специально отправляется в другое село [FM, I, 297]; в варианте [TOR, 113] хозяин нанимает *сотню старых баб, / Мастериц в делании хлеба.* Самый лучший серп делается для самой старой бабы [TOR, 119].

[22] В другом случае [TOR, 143] у жнецов ничего не получается, серпы не идут и только портят хлеб, пока старая баба не организует всю работу.

[23] Тексты дают весьма разнообразные, хотя и построенные по одной модели, описания этих бабок, которые *морочат народ / И останавливают плугарей* [DVC, 55], подстерегая их в низинах, болотах, у моста и т.п., иногда вместе с кусачей собачонкой [FM, I, 284; TOR, 93]. По своему облику, функциям, атрибутам они очень напоминают злокозненных женских персонажей типа Матери леса, Жоймэрицы, Марцоли и под., надзирающие

inslav

за женскими (но не только) работами, см.: *Свешникова Т.Н., ЦивьянТ.В.* К исследованию семантики балканских фольклорных текстов // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973. — Переход к ним от старух-мастериц вполне согласуется с тем, что и упомянутые персонажи являются мастерицами своего дела. Пока рано делать выводы, но роль румынских женских персонажей, надзирающих за общим порядком работ, т.е. контролирующих сферу культуры, требует специального изучения.

[24] В поисках кузнеца Хозяин встречает старого урсара (поводыря медведя) — ср. медведь в новогодних представлениях — угрюмого, в заплатанной шапке, с плохой и ржавой наковальней [DVC, 67].

[25] Ср. клише: *Ilie Ţiganu / Care bate bine cu ciocanu* (Илья-цыган, / Который хорошо бьет молотом). — Но не только Илья: признак *цыган-чужой*, содержащий элемент *опасности*, оказывается сильнее; набор цыганских имен весьма разнообразен: *Стан, Нан-цыган со дна моря* [DVC, 61], *Еня, Бицу, Джонте, Бухлан* и т.п. Другой способ называния кузнеца — *сын Галиоары* [TOR, 83], *Ангелины* [FM, I, 436] и под.

[26] Вообще набор собственных имен в «Плугушоре» заслуживает внимания. Говорить о том, что все они значимы, конечно, нельзя, но какие-то предположения допустимы. Так, обычное клише при разрезании калача *Разрезала на три, / Дала Андрею*, возможно, содержит отсылки ко дню Св. Андрея (30 ноября), традиционно считающемуся началом зимы.

[27] *Irime C., Focşa M.* Icoane pe sticlă. Bucureşti, 1968. N 60. 128.

[28] Ее бегство очень колоритно: мельница убегает, 'задрав хвост трубой' (*puse coada pe spinare*).С. Мариан сравнивал его с ритуальным бегством невесты от сватов — к эротическим аллюзиям этого эпизода.

[29] Чтобы поймать мельницу, мельник надевает наизнанку овчиный кожух (*Bernea E.* Poezii populate în lumina etnografiei. Bucureşti, 1976. P. 23).

[30] Ср. еще небольшую подборку к характеристике мельника, который располагается где-то между кузнецом и старухами-колдуньями (это согласуется с его действиями — ударами молотом и связью с водой): *Зубы как грабли, / Глаза как свекла* [TOR, 77]; *Мельник мастер хороший... / Но на голове ни одного волоса, / Я ему дам яблоко, / Чтобы у него росли волосы, / И орех, чтобы у него рос чуб, / Чтобы мельница боялась* [TOR, 81]; *Мельник хоть и горбатый, / Да умный* [TOR, 99]; *Мельник вылез из стога сена, / Как старый пес, / Нос у него течет, / Трубка погасла* [TOR, 107]; *Мельник бестолковый / Ломает хорошо, / Чинит плохо* [TOR, 128] и т.д., не говоря о вариантах, неудобных для напечатания.

[31] *Muşlea I., Bîrlea O.* Tipologia folclorului. Bucureşti, 1970. P. 282.

[32] И здесь текст мало заботится о соблюдении требований реальности. Ср. современный вариант «Плугушора», где пашут на тракторе, герой — «товарищ председатель» (колхоза) , а поле все-таки находится в «долинах Гаралейских, у врат Иерусалимских» [FM, II, 39].

[33] К этому же: *У круглой яблони / В чистом поле,/ Где собрались все плуги. / Одни землю пахали, / Другие семена сеяли, / Третьи бороной боронили / И граблями разгребали* [FM, II, 35].

[34] *Filipović M.* Einige Motive in der balkanischen Folklore // Ztschr. f. Balkanologie. III. 1965. S. 73—74.

inslav

[35] Описание рая как чудесного сада, где радуются праведники, очевидно, заимствовано в «Плугушор» из другого колядного цикла. Однако само путешествие, поиски дорог, козни старухи-колдуньи и обращение к Деду Адаму, который, услышав крики, выглядывает из окна, — эти мотивы органично вошли в «Плугушор», тем более что там есть и мотив открытого рая (см. ниже). Аду может предшествовать и испытание, напоминающее заговоры (отсылку болезней и под.): *Бабка схватила меня за горло / И бросила меня в громадный лес, / Где нога Адама не ступала, / И не слышался голос птицы, / Только медведи ворчали, /И волки зубами щелкали* [FM, I, 310]. Другой вариант — плугари попадают в рай случайно, во время своих блужданий по свету: *Мы с вечера сколько ходили, / Ничего не нашли, / Только на тропочку в рай наткнулись* [DVC, 224]. К мотиву *пути* см. еще: плугари «в глубине рая» находят серебряный мостик, узкий, как лезвие ножа [FM, I, 285] — ср. лезвие ножа в формульном обозначении места для поля или гумна.

[36] Здесь какой-то сюжет, требующий восстановления. Пока он выглядит следующим образом; плугари идут на могилу (т.е. место распятия Христа, см. [FM, I, 262]); в этот момент раскрывается рай. — Ср. поверья, что в ночь под Новый год, т.е. в то время, когда произносится «Плугушор», небо раскрывается. Можно предположить, что проведение борозды — одно из магических действий для того, чтобы небо раскрылось. После того как плугари увидели открытый рай, следует обращение к Ироду: «Поднимайся, Ирод, пахать» [TOR, 79]. Связь Голгофы, открытого рая, Ирода и пахоты пока остается неразъясненной. Ср. еще в одном контексте *Irod* и *irod* 'ряженый'.

[37] Ср.: Bîrlad, Teghina, Chişinău, Ţarigrad, Hîrlău, Baia Veche, Buza Veche, Cîmpulung, Mitoc, Sărăcica, Vlăsineşti, Epureni, Galaţi, Căliman, Ivăneşti, Hăineşti, Paşcani и др.

[38] *Мы из Кымпулунга, / Где две девушки ходят в упряжке... / Мы из Гасарабии, / Где мамалыгу режут саблей* [TOR, 81]; *Мы из Гындиць, / Где летом пьешь и поёшь, / А зимой ходишь босиком... / Другие из Митока, / Где замерзают... / галушки на огне... / Другие из Кымпулунга..., / Где девушки тянут плуг* [TOR, 87—88]; *Другие из Митока... / Только и умеют, что кричать «Хей, хей»* [TOR, 116]; *Мы из Галаць, / Где бояре одеты / В кафтаны из прутьев, / В опинки из скорлупы ореха, / Подкованные щучьими зубами* [TOR, 116] и т.д.

[39] В описании землянок (*bordei*) подчеркивается не столько их бедность и убогость, сколько мифологические черты: связь с низом, водой и вместе с тем близость (открытость) к ветру, небу, звездам, отсутствие твердо фиксированного места. Это не жилище человека, а обиталище сверхъестественных существ, см.: *Изнутри землянок / Видны звезды снаружи, / А сквозь дно землянки, /Видна и поверхность неба* [DVC, 46]; *Землянки крошечные, / Окно в полу, / Чтобы видеть звезды* [TOR, 115] — перевернутый мир; весенний ветер выдувает обитателей землянки наружу через открытую дверь [DVC, 491]; в землянках нет места, чтобы развести огонь (DVC, 224]; дома в земле, покрыты ветром [FM, II, 44] или звездами [TOR, 88]. Таким образом, оказываются нарушенными основные требования, предъявляемые к человеческому жилищу: закрытость, защищающая человека от опасностей внешнего мира.

inslav

[40] *Ведь нам надо перейти через темные горы, / Через бурные реки, / Ведь сидят львы, / Перельвы, / С разинутыми пастями, / С высунутыми языками, / Чтобы напасть на нас сзади* (ср. выше описание леса, в который помещает плугарей старуха-колдунья). Среди препятствий, которые надо преодолеть плугарям, — ухабистые ухабы, бесчисленные долины [DVC, 44], река и болото [FM, I, 284], извилистые тропинки [TOR, 110], холмы [TOR, 131] и т.д., и т.п.

[41] В варианте Александри у хозяина два коня. На одном, сером в яблоках, он отправляется выбирать поле; чтобы проверить, созрел ли хлеб, он выбирает другого коня черного, как вороново крыло, быстрого, как огонь и волшебного (*năzdrăvan*, формульное обозначение волшебного коня в румынском фольклоре).

[42] Но бывает и 2 колоса, 5 старух, 5 калачей, 2 бабы заплетают калач и т.п.

[43] С. Чобану в указанной статье видит сходство между заговорами и «Плугушором» в том, что в обоих случаях речь идет о медиации для достижения более высокого статуса.

[44] Мы сознательно не выходили за пределы румынского материала и поэтому не касались ни уже выявленных параллелей со славянской традицией (см. работу А.Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха», кукерский обряд, подробно описанный М. Арнаудовым, частные совпадения с русскими, украинскими, белорусскими колядками о плужке, когда пашут Господь и Илья и т.д.), ни параллелей с культом Осириса и Диониса, Артемиды Бравронии, carmen arvalis, с описанным Д. Фрэзером сиамским обрядом ритуальной пахоты и т.д. С другой стороны, не рассматривались и румынские жатвенные песни, фрагментарно совпадающие или сходные с «Плугушором». Совпадения в такой универсальной теме настолько вероятны, что необходимо было выработать критерий отбора. Таким критерием стала цель данной работы: анализ законченного текста в его целостности.

DVC — *Densuşianu N.* Vechi cîntece şi tradiţii populare româneşti. Bucureşti, 1975.

FI — *Furtună D.* Izvodiri din bătrîni. Bucureşti, 1973.

FM. I; FM. II — Folclor din Moldova. Bucureşti, 1969. I, II.

TOR — *Jula N., Mănăstireanu V.* Tradiţii şi obiceiuri româneşti. Anul nou în Moldova şi Bucuvina. Bucureşti, 1968.

1984

inslav

ПТИЦЫ-«КУРЬЕРЫ»

Мотив связи *верхнего* и *нижнего* мира в балканской перспективе

Представления о зеркальном сходстве *верхнего* и *нижнего* (*земного* и *подземного*, мира *живых* и мира *мертвых*, *нашего* и *иного*) принадлежат в архетипической модели мира к числу универсалий. Взаимное отражение миров как бы опровергает границу между жизнью и смертью и имплицирует парадоксальную ситуацию: продолжение *земной* жизни в *подземном* мире («жизнь мертвых»), контакты между мирами вплоть до взаимных визитов. Эти визиты несимметричны. Посещение *нижнего* мира *живыми* происходит лишь в исключительных случаях (ср. хрестоматийные сюжеты — Одиссей, Орфей), и оно крайне опасно. Посещение *верхнего* мира *мертвыми* (приход в родной дом, свидания на могиле и т.п.) происходит регулярно: указанные в народном календаре «дни поминовения», «родительские дни» и под. дают расписание этих контактов/визитов в годовом, т.е. циклически повторяющемся времени *вечного возвращения*[1]. Кроме того, «жители» *нижнего* мира могут появляться в *верхнем* мире и вне регламента — с благой (помощь) или злокозненной (вредительство) целью; такого рода нарушения могут быть опасны и для *живых*, и для *мертвых*. При страхе перед миром *мертвых*, *живые* весьма заинтересованы в контактах с ним, прежде всего для получения важной для себя информации[2]. На стремлениях и надеждах узнать от *мертвых* судьбу *живых* (так реализуется связь прошлого с будущим: *in my past is my beginning*) основана некромантия. Но здесь рассматриваются несколько иные сюжеты.

В балканских фольклорных традициях мотив контактов между мирами чрезвычайно распространен, и можно сказать, что желание постоянно обмениваться информацией о «жизни *живых*» и «жизни *мертвых*» подчеркнуто. Взаимное общение обеспечивается с помощью специальных каналов связи, позволяющих *живым* и *мертвым* получать сведения друг о друге за пределами некромантии и календарного регламента. Передача

inslav

такого рода сведений возложена на специальных курьеров. Так, новогреческий Харон постоянно путешествует по маршруту *туда — обратно*. При этом у живых могут завязываться с Хароном деловые, дружеские и даже родственные отношения. Коммуникация между *верхним* и *нижним* миром актуализована не только в греческой, но и в других балканских традициях. Типовой случай — диалог, устный и даже письменный Он может вестись между *живыми* и *мертвыми* непосредственно или через посредника, который является представителем *нижнего* мира (Харон, славянская Черна Чума и т.п.) или, во всяком случае, с *нижним* миром связан (колдуны, знахари и т.п.) [Цивьян 1999, 349—350]. Посреднические функции могут возлагаться и на специальных информаторов-«курьеров»; поручаются они обычно летающим существам, прежде всего *птицам*[3]. Достаточно напомнить о роли птиц в знаменитом балканском сюжете «Приход мертвого брата»: они прилетают (летят рядом), пытаясь сообщить героине, что она едет с мертвым; в другом сюжете птицы предупреждают об инцесте и вовремя разрушают свадьбу брата с сестрой (мотивы, которые встречаются и за пределами Балкан) и т.д.

Мотив птиц, информаторов и курьеров в греческой традиции подробно проанализирован в недавно вышедшем бестиарии [Bestiaire 1997, 57 сл.]: птицы «говорят нечто» (το λεν), причем содержание их сообщения может, среди прочего, определяться местом, где это происходит; так например, птицы, поющие над могилой, оплакивают умерших[4]. Нас, однако, специально интересует роль тех птиц, которые осуществляют связь между миром *живых* и миром *мертвых*:

Птица, обычно соловей или ласточка, должна передавать сообщения от мертвых к живым и vice versa. Этот мотив представлен в большом числе песен, в частности, в песнях о сооружении могилы:

Μαστόροι μου να χτίσετε δυό νοματών κιβούρι
Και στην δεξιά μου τη μεριά ν'αφήστε παραθύρι...
Να μπαινοβγαίνει το πουλί, να φέρει τα χαμπέρια[5]

[Bestiaire 1997, 273—274].

Мотив *отверстия/окна* в могиле или гробе известен и по другим традициям, и окно это может выполнять разные функции. Так, в сюжете строительной жертвы («Мастер Маноле») героиня просит не замуровывать ее целиком, а оставить отверстие, чтобы она могла кормить ребенка. В греческом примере существенно то, что подчеркивается «информативная» роль окна (в мифологическом словаре *окно* — средство визуальной

inslav

связи с внешним миром), и, более того, указывается курьер (το πουλί 'птица'), на которого возлагается передача соответствующей информации и обеспечения связи между мирами — что важно, связи в двух направлениях (μπαινοβγαίνω). т.е. 'туда — обратно' (маршрут Харона). Реализация этого зафиксирована в причитаниях, в сюжетно-формульном клише «прилетает птица из нижнего мира, к ней сбегается народ, узнать новости об умерших близких» (или узнать вообще, «что хорошего на том свете?»), ср., например:

Ενα πουλακι έβγαινε από τον Κάτω Κόσμο...
Τρέχουν μανίτσες το ρωτούν, νυφάδες το ξετάζουν:
– Το τι χαμπέρ', πουλάκι μου, ν-από τον Κάτω Κόσμο;
«Птичка вылетела из Нижнего Мира...
Бегут матери, спросить ее, жены, выспросить у нее:
— Какие новости, птичка, из Нижнего Мира?».
[Μότσιος 1995, 177, № 43, см. также № 44, 45 и др.]

Выбор птицы в качестве курьера понятен и обоснован: она мобильна и, главное, движется и по горизонтали (летает над землей), и по вертикали (*сверху вниз*, с неба на землю и под землю, и *снизу вверх*, из-под земли на землю и на небо)[6]. Это *движение=полет* отождествляется с полетом души, оставляющей тело (ср. отождествление души с птицей). Но у птицы есть и еще один важный признак: *голос = речь*. Птица поет, и ее пение легко «переводится» на человеческий язык[7].

Эти два признака — *крылья/полет* и *голос/речь* — и являются определяющими в «назначении» птицы связным между *верхним* и *нижним* мирами.

Мы обращаемся далее к албанской эпической традиции, к богатырскому циклу, где есть замечательный пример не только связи, но почти смешения мира *живых* и мира *мертвых*, причем птице отведена в этом объединении миров роль медиатора. Мы рассматриваем две песни: «Смерть Муйи» и «Смерть Халиля»: «Deka e Mujit», «Halili mas deket» [Kenge 1955, № 57, 58].

Муйи — старший из богатырей мифической страны Ютбины, глава мусульманской чéты, Халиль — его младший брат. Им противостоит глава христианской чéты, слав Капедан (Krajle Kapedani, Kreshto Kapedani). Вражда между ними продолжается и после смерти братьев Муйи и/или Халиля[8]. По поводу такого продолжения публикатор песен К. Хаджихасани замечает, что албанские богатыри (*kreshnikët*, *крешники*) и после смерти разговаривают с живыми, более того, они могут встать из могилы, возвратиться в Ютбину и начать жить своей обычной жизнью [Kenge 1955, 292]. В нашем случае этого не происходит,

inslav

мертвый богатырь не может встать из могилы, однако испытывает страдания от того, что враг оскорбительно тревожит его покой, приходит к могиле, вызывает его на поединок, угрожая, что в противном случае выроет его из могилы и сдерет с него шкуру:

...Там король нашел могилу Муйи,
Стал кричать ему: — Вставай из гроба!
Завтра в два часа с тобой сразимся.
А не встанешь из земли на битву,
Я твою могилу раскопаю,
мясники сдерут с тебя всю кожу!
(«Смерть Муйи» [Kenget 1955, 111])[9]

Мертвый герой хочет позвать на помощь брата (Муйи Халиля или Халиль Муйи), но поскольку не может сделать это сам (он не может встать из могилы), то передает свою просьбу через посредника = курьера; им становится птица (кукушка), которая летит к дому брата. Кукушка выполняет просьбу, хотя и с риском для себя самой: в доме брата ее прогоняют, грозят убить, считая вестницей смерти. В конце концов, ей удается объяснить в чем дело. Брат спешит на помощь и убивает Капедана вместе с его воинами.

Сюжет достаточно простой, но с неповторимым «балканским» и, более точно, «албанским лицом» (ср. высказанные уже давно мысли о характерном для БММ монтаже уникального из неуникальных элементов [Цивьян 1990]). Мифологические мотивы, может быть, и универсальные, соединены в ткань сложного плетения, где особая, характерная для албанской традиции брутальность и резкость сочетается с тонко разработанными художественными приемами. Особенно существенны составляющие, на которых построен сюжет: *звук* и *движение*, объединенные мотивом *смерти*. Под *звуком* имеется в виду не только звучание как таковое, но *голос* (человеческий и птичий) и *речь* (человеческая). Сюжет использует акустический код модели мира (ММ) и специально балканской модели мира (БММ). *Движение* идет в двух направлениях, по горизонтали и по вертикали. По горизонтали, от могилы героя к его дому (кукушка); к могиле героя разные персонажи из разных точек: *кукушка* неизвестно откуда, *враги* со своей территории (по крайней мере дважды); *брат* от своего дома. Вертикаль требует особых комментариев.

Движение по вертикали манифестируется не прямым образом, но в связи со *звуком*. Во-первых, это *голос* героя идущий *снизу*, из-под земли, во-вторых, *голос* птицы, идущий *сверху*, ср. подчеркивание того, что она, прилетая, садится на ветви (высо-

inslav

кого) дерева или на самую его верхушку: *Qyqja e kuqe n'bjeshkë ka kndue / Në nji rrem t'thatë qyqja ka hukatë / ...N'maje t'majes ke me shkue me ra...* [Kenge 1955, 292], — к архетипическому мотиву птицы, сидящей на вершине мирового древа. Такое вплетение *голоса в движение* дополнительно подчеркивает значение звуковой стороны в сюжете: действительно, диалоги занимают большее место и в определенном смысле играют едва ли не бóльшую роль, чем действия.

Герой умирает, и враги через три года обнаруживают, что не слышно его *голоса* (*Qe tri vjet zani na i ka hupë* [Kenge 1955, 298]). Именно это *молчание/тишина* вызывает у них беспокойство (исчезновение *голоса* = исчезновение героя) и побуждает к поискам. Узнав о его смерти, они находят его могилу и *криком* (*...po m'bërtet* [Kenge 1955, 293]) вызывают героя на поединок, покрывая при этом угрозами и оскорблениями. Врагу герой не отвечает, он «поднимает *голос*», обращаясь к брату, и, как уже было сказано, может сделать это т о л ь к о через посредника-курьера. Это крайне значимая деталь. *Голос* может преодолеть расстояние п о в е р т и к а л и, но не п о г о р и з о н т а л и: птица, сидящая на дереве над могилой, его слышит, а брат, находящийся далеко (и при этом по горизонтали), не слышит, для этого нужен специальный «транслятор». Им и становится птица, которая может летать и по горизонтали, и по вертикали.

Муйи просит Господа послать ему птицу[10], и тот выполняет его желание, выбирая кукушку, которая прилетает на могилу и поет (*n'vorr qyqja po këndon*). Услышав ее пение/*голос* (т.е. убедившись, что птица прилетела), Муйи обращается к ней с просьбой. В варианте с Халилем, кукушка прилетает сама и начинает петь. В ответ на ее пение «из земли выходит *голос*» и повергает кукушку в изумление: *голос* она слышит, но при этом никого не видит и не может понять, кому этот голос принадлежит. Тогда *голос* объясняет, что он принадлежит мертвому, и видеть его владельца поэтому невозможно, а вслед за этим излагает свою просьбу — полететь к брату и рассказать об издевательствах врага (зд. Крешти):

Qyqja e kuqe n'bjeshkë ka kndue,
Në nji rrem t'thatë qyqja ka hukatë,
Nji zâ prej dheut atherë ka dalë,
Ç'ka ditë qyqes e i ka thanë:
«Nji amanet, qyqe, due me t'lanë,
Nji fjalë Mujit n'Jutbinë ma m'ja çue».
Qyqja e kuqe ç'ka ditë ei a thanë:

inslav

«Amanetin e mban edhe toka;
For çudë mue âsht tue m'ardhë,
Zâ po ndiej e kend nuk jam tue pa;
Un jam msue vetun n'jeremi,
Po njiksi zani kurr nuk kam ndie».
Kqyr Halili atherë se shka i ka thanë:
«*Jam i dekun, me sy s'ke si me m'pa...*»...
(«Halili mas deket» [Kenge 1955, 292])

Герой объясняет, как выполнить его просьбу: кукушка должна полететь к дому брата, во дворе сесть на верхушку дерева и дважды или трижды подать *голос* (запеть), чтобы на этот *голос* вышли из дома родные: тогда кукушка передаст им поручение мертвого героя (т.е. перейдет на человеческий язык). На этом ее роль курьера оканчивается: брат спешит к могиле, подстерегает там врагов, расправляется с ними и возвращается в Ютбину.

Пока говорилось о связи *голоса/речи* и *движения*, на чем, собственно, и основана роль птицы как посредника между *живыми* и *мертвыми*. Сюжет, однако, этим не исчерпывается. В нем есть и дополнительная тема: связь *голоса* и *смерти* (более широко, опасности, ведущей к *смерти*). Мотив *голоса* (канала информации) и *смерти* выступает неоднократно и в сложном сочетании: возникают ситуации недоразумения (непонимания, удивления, сомнения), т.е. той неопределенности и амбивалентности, ухода от однозначного решения, которая столь характерна для структуры БММ [Цивьян 1990, 1999, passim]. Перечислим основные повороты сюжета, связанные с *голосом* и *смертью*.

1. Муйи просит, чтобы на его могиле не было причитаний «Gjamë për mue s'kini me bâ» (собств., «чтобы не было шума», *голосов*) [Kenge 1955, 297]), иначе враги узнают о его смерти и могут напасть на Ютбину и на дом брата.

2. Враги не понимают, почему они в течение трех лет не слышат *голоса* Муйи: это вызывает у них беспокойство. Узнав, что он *мертв*, они начинают искать его могилу, находят ее и *криками* вызывают героя на поединок[11].

3. Птица, поющая над могилой, не понимает, чей *голос* она слышит; оказывается — *голос мертвого* брата, которого нельзя увидеть.

4. Адресаты просьбы, услышав *голос* (пение) птицы не понимают, зачем она прилетела, и собираются ее убить как носителя *смерти*. Здесь лежит объяснение того, почему Господь выбрал в качестве курьера кукушку (или вообще, почему в сюже-

inslav

те действует именно кукушка). В албанской, как и в других балканских и небалканских традициях, кукушка связана с миром мертвых, и ее *голос* предвещает *смерть*[12]. В данном случае оказывается, что кукушка предсказала *смерть* героя. Поэтому ее пытаются прогнать, угрожая *смертью* (за *голос*) ей самой:

Çou andej, qyqe, kjosh e zezë,
Se edhe vjet ksi vakti njaty ke hukatë
E Halilin ti na e ke kobitë;
Se n'bâftë Muji jashtë me dalë,
Pushkën n'dorë Muji për me e marrë,
T'tana përket Muji t'i shpërdanë.
[Kenge 1955, 293][13]

После этого кукушка переходит на человеческий язык (*голос* становится *речью*), и ей удается объяснить ситуацию: она прилетела с поручением от брата и принесла важную информацию.

5. В последний раз мотив *голоса* возникает перед сражением у могилы героя: снова враг *криком* вызывает *мертвеца* на поединок, *живой* брат отвечает ему громким *голосом*, и враг теряется, не понимая, кому этот *голос* принадлежит. — Теперь это *голос живого*, несущий *смерть* врагу.

Sa t'madhe Kreshtja ka bërtit:
«Çou, kopil, n'mejdan me n'dalë!»
Fort mâ t'madhe Muji ja ka kthye:
«Me mejdan sot po due me t'ngî».
Pak hutuem shkjau ka mbetë:
«*Ky zâ, zot — thotë me vedi — shka do t'jetë?*»
[Kenge 1955, 293][14]

Мы коснулись лишь одного пласта этого концентрированного, многоуровневого сюжета, выходящего за пределы эпического жанра и захватывающего мифологический слой албанской картины мира, албанской традиции и ее вклада в БММ. Проницаемость границ *верхнего* и *нижнего* мира, более того, нейтрализация их противопоставления в данном случае реализуется благодаря п т и ц е, обладающей мобильностью (здесь играет роль направление и скорость *движения*) и *голосом/речью*. Эти способности определяют роль птицы не только как курьера-информатора, но и как медиатора. Не случайно, что эта роль отдана кукушке: ее связь с *нижним* миром облегчает контакты между обоими мирами.

inslav

[1] В кругу балканских традиций см., в частности: для албанской [Frasheri 1936]; для греческой [Megas 1958]; для румынской [Tipologia 1970]; для славянской [Агапкина 2002] и др.

[2] Ср. обращение Ахматовой за тайными знаниями к умершему: *Теперь ты там, где знают всё. / Скажи...*

[3] Но и насекомым, например, бабочкам, ср. распространенное представление души не только в виде птицы, но и в виде бабочки; укажем здесь хотя бы данные славянских традиций [СД 1995, s.v. *бабочка*]. О других вариантах, например, особых знаках — предметы, звуки, цвета, запахи и под. — мы пока не говорим, это отдельная тема.

[4] Το λεν τ' αηδόνια φλιβερά κ' οι κούκοι λυπημένα «Об этом с грустью говорят соловьи и с печалью кукушки» [Bestiaire 1997, 59].

[5] «Мастера, постройте мне могилу на два места
И с правой стороны оставьте мне окошко...
Чтобы птица влетала и вылетала, чтобы приносила вести».

[6] Подземные полеты, разумеется, принадлежат фольклорно-мифологической сфере.

[7] «Еще одна способность, выделяющая птиц из числа других животных, связана с их акустической характеристикой. Практически всем птицам, в том числе и домашним, приписывается способность произносить различные словесные возгласы и целые высказывания. Вербальная передача птичьих криков составляет основу особых звукоподражательных текстов...» [Гура 1997, 530]. Ср. распространенный мотив превращения человека в птицу и расшифровки ее пения в слова, связанные с соответствующим сюжетом. Так сохраняется ее связь с прежним, человеческим обликом.

[8] Обе песни, записанные в разных районах Албании («Deka e Muit» — Berishë-Malsi i Gjakovës, «Halili mas deket» — Kastrat), находятся в дополнительном распределении. В одном варианте умирает старший брат Муйи и действует младший, Халиль, в другом — умирает младший брат Халиль, и к нему на помощь приходит старший, Муйи. В своем анализе (и в цитировании) мы как бы объединяем оба текста, чтобы максимально использовать все содержащиеся в них мифологические детали. Мотив братьев, столь важный в балканской традиции (дружба или соперничество, расставание и узнавание и т.д.) особая тема, которой мы здесь не касаемся.

[9] Ср. «вариант Халиля»: "*Встань, негодник, выходи на битву! / Путь когда-то преграждал ты славам, / Страх внушал ты славам всем в сраженьях!" / Так он издевается над мертвым, / Топчет и бесчестит он могилу / И последний сон тревожит смехом.* — Здесь и далее стихотворные переводы даются по изданию «Старинные албанские сказания» [Алб. сказ. 1971, 105].

[10] Характерно, что герой обращается к «турецкому» богу: оправданием своей просьбы он считает то, что «Господь сделал его турком»:

Hej, ti zot, turk në m'paç falë,
Nji shpend n'vorr me ma pru [Kenge 1955, 298].

[11] Очевидно, они боятся его и *мертвого* и хотят сначала окончательно расправиться с ним, а потом напасть на *живых*.

[12] См.: [Гура 1997, s.v. *кукушка*], [СД 2004, s.v. *кукушка*]. О выделенности кукушки как вестницы в албанской традиции в отличие от македон-

inslav

ской (в части информационных способностей она сопоставляется с голубем, в части предвещания несчастья — с вороном), см.: [Јаќоски 1984, 74—76]. «Речь» кукушки обычно расшифровывается как плач матери, сестры, жены, дочери по умершему, погибшему, загубленному ими сыну, брату, мужу, отцу, или тоскливый зов, или просьба о прощении. Очевидно, эти мотивы определяются минорной тональностью пения кукушки (некую мрачную таинственность может сообщать внезапность и потому отмеченность начала и конца ее «тирад» и их мерность, что используется в гаданиях — «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?»).

[13] — *Вот несчастье! Улетай, кукушка! / Год назад ты тоже куковала, / Смерть Халиля нам накуковала. / Вот возьмет сейчас мушкет свой Муйи / Только перья полетят на воздух!* — [Алб. сказ. 1971, 106].

[14] У могилы крикнул он беспечно:

— Эй, разбойник, выходи на битву! —
Страшным голосом ответил Муйи:
— Подожди, я выйду из могилы! —
Растерялся слав, остановился:
— Не возьму я в толк, откуда голос? [Алб. сказ. 1971, 108].

Агапкина Т.А. Мифологические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

Алб. сказ. 1971 — Старинные албанские сказания. М., 1971.

Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

СД 1995 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого. М., 1995. Т. 1.

СД 2004 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого. М., 2004. Т. 3.

Цивьян Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990.

Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира. М., 1999.

Јаќоски В. Интерпретација на мотивите во македонската и во албанската јуначка народна песна. Скопје, 1974.

Bestiaire 1997 — *Karagiannis-Moser E.* Le bestiaire de la chanson populaire grecque moderne. Paris, 1997.

Frasheri S.Th. Folklor shqiptar. Durrës, 1936. V. I.

Kenge 1955 — Kenge popullore legjendare. Tiranë, 1955.

Megas G.A. Greek Calendar Customs. Athens, 1958.

Μότσιος Γ. Το ελληνικό μοιρολόγι. Αθήνα, 1995.

Tipologia 1970 — *Muşlea I., Bîrlea O.* Tipologia folclorului. Bucureşti, 1970.

2004

inslav

ВОДА В МАКЕДОНСКИХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЯХ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОХРИДСКОГО ОЗЕРА

В исследованиях балканских этиологических сюжетов, связанных с появлением на земле рельефа, главное место обычно уделяется горам как основной и наиболее яркой характеристике балканского пространства. Здесь прежде всего имеется в виду распространенный в южнославянской и восточноромансской традиции мотив сжатия первоначально ровной земли, отчего на ней появляются горы и долины; тем самым актуализируется оппозиция *верх/низ*. Необходимость сжатия вызвана следующим: при творении мира Господь по недосмотру создал землю такой большой, что небо не могло ее накрыть; для того, чтобы небо и земля соответствовали друг другу, надо «подогнать» землю под небо, при этом, не уменьшая (не «обрезая») ее. Единственный выход — сжать ее или сбить в комок. После этого земля становится неровной, на ней «выступают *вверх*» горы. В вариантах сюжетов может быть названа и другая причина, связанная с *низом*: создав землю ровной, Господь не предусмотрел места для воды, т.е. углублений и впадин[1].

Согласно архетипическим мифам о творении, земля возникла из первичных вод, из Мирового океана. На Балканах его мифологическим олицетворением является море, омывающее полуостров. Земля/суша, соответственно, окружена *соленой* водой, а на ней самой должно быть место для *пресной* воды, которая наполняет природные водоемы — реки, озера и т.п. Противопоставление *соленой* и *пресной* воды[2] — особая мифологическая тема, которой мы здесь не касаемся. Отметим только их разные функции. Соленая вода (=море) выступает прежде всего как средство передвижения. Пресная вода (=река) выполняет те же функции: при этом существенно, что по морю передвигаются в о к р у г суши, а по реке (или озеру) ч е р е з сушу. Но кроме этого у пресной воды есть функция гораздо более важная: это питьевая вода, одно из основных условий жизни человека. Можно предположить, что именно это послужило ос-

inslav

новным стимулом к ее мифологизации. В космогонических мифах может не быть четкого противопоставления *соленой* («океанической») и *пресной* («земной») воды, но в различных этиологических преданиях, в сказочных и песенных сюжетах, в магической практике, обрядах, ритуалах, заговорах, когда нет специальных указаний, то «по умолчанию» имеется в виду пресная вода (ее черпают из колодцев, источников, озер и рек). При этом пресная вода не только утоляет жажду: ей (*чистой, проточной*) приписывается особая сила, положительная (целебная), но и отрицательная (вредная), в зависимости от того, откуда и как она получена[3].

В данном случае нас интересует вопрос, о т к у д а — в прямом смысле слова — берется (пресная) вода, и мы обращаемся к этиологическим легендам, связанным с происхождением Охридского озера и приведенным в книге В. Стојчевска-Антиќ «Климент и Наум Охридски во народната традиција» (Скопје, 1982).

1. Вељат че Охридското Езеро понапред не било и че доното му беше била широка долина, расеана од села. Стреде долина бил источник, кој се отворал и се затворал, и од кој пиеле вода, и си переле кошули. Една жена, как прала к'м квечерина, заборавила да затворит источникот. Вода течела с'та ношч: и кога утринта станаха, видоха долина покриена со вода. Не имаешчем надежда да затворат источникот, поспешиха да се спасат на ближните планини[4]. Така се направи сегашното езеро [Климент и Наум 1982, 79].

2. Местото кај што е денеска Орицкото Езеро, во старо време било поле со најубави ливаѓе.

Близу до градо Орид имало едно изворче, многу длабоко и направено како бунар со капак одозгора, да се заклопува како некоја кутија, што да нема влакно од кај се излези, нити да влези внатре. Градо Орид бил како некое село, и бидејќи немало во градо ни чешма, ни па бунар, си леале вода од изворчето орицките жени; секоја жена, што ќе залеала вода од изворчето, требало да го затвори капако. Не оти за да стои чис изворо, ами еден насиет, што му бил остаен на жените и на мажите од дедо-прадедо, да го затвораат изворот, оти ако не го затворат, ќе избрзни водата и ќе му го удаи сето поле, можеби и селото.

Знаејќи оричани тој стар насиет, со голем мукает го отворале и го затворале изворот, чунки сите веруале оти, ако го остаат капако, ќе избрзни водата, и за вистина тоа 'и нашло...

Когда-то Охридского озера не было: была долина, среди которой был источник (колодец), из которого брали воду для питья и для стирки, а потом закрывали его (крышкой), чтобы вода не вытекла. Но однажды какая-то женщина, по глупости или по лени, нарушила запрет и оставила крышку открытой. Вода вытекала постепенно и затопила всю долину. Так образовалось озеро, «како што го гледаме и денеска, что е најголемо езеро». То же самое могло случиться с Прилепом, если бы не Марко Крале, кото-

inslav

рый запер воду: «...ја затнал водата со не знам сколку арари со бубаќ и коани со бруќе, колку еден аршин големи, та ја затнал водата и го куртулисал Прилепското поле да не сестани како Орицкото Езеро» [Климент и Наум, 1982, 81 – 82].

Эти предания содержат целый ряд важных мифологических мотивов, относящихся как к архетипу, так и к балканской модели мира. К первому можно отнести универсальный мотив *запирания/отпирания воды*, отраженный, в частности, в балканском гадательном обряде *клидон* (воду, взятую особым образом из особого источника или колодца «запирают» на ночь и «отпирают утром», чтобы получить сведения о своей судьбе). Мотив затопления поселений хорошо известен и носителям русской традиции, причем не только по «Граду Китежу», сюжетам о колокольном звоне, доносящемся из-под воды, и т.п., но и по реалиям — затопленным при строительстве водохранилищ городам и селам. *Крышка*, которой плотно закрывают источник, как коробку (ларец) — «како некоја кутија, што да нема влакно од кај се излези, нити да влези внатре», напоминает балканский космогонический мотив о небе и земле: условие создания «правильного мира» — полное соответствие неба и земли по размерам, причем небо должно покрыть землю, как крышка, чтобы не оставалось никакого зазора [Цивьян 1999, 29 сл.], и др.

Повторяем, что нас интересует только один вопрос: о т к у д а берется та необходимая для жизни человека пресная и проточная вода, которая в определенных ситуациях (нарушение запрета и др.) может стать и орудием наказания.

Вода из приведенных здесь преданий имеет подземное происхождение или, шире, принадлежит *низу*. Это подчеркивается тем, что сама долина затопляется *снизу*, а не *сверху* (например, водопадом, дождем — ср. библейский потоп, «разверзлись хляби небесные»)[5], а источник, который и сначала был в долине (т.е. в низине), потом оказывается в глубине, на дне Охридского озера (о нем говорится, что «това езеро је глобоко до неизмервење» [Климент и Наум 1982, 80]). Мотив воды в преданиях, связанных с Охридским озером, выступает неоднократно. Это чудесное спасение тонущих в озере, колодцы и источники с целебной водой. Спасителем и покровителем, как правило, является св. Наум (но и св. Климент, св. Размо, св. Петка и некоторые другие святые), и происходит это обычно вблизи от его монастыря, см. некоторые примеры: «На северната страна од манастирот од стените клокоти вода. Таа вода е лековита...»; «Чешмата што тече пред манастирот крај езерото, денешното пристаниште, е мошне лековита вода»; в честь св. Наума копа-

inslav

ют колодцы — такой колодец выкопал «еден Албанец», причем копать ему пришлось очень долго, поскольку вода была на глубине 25 метров — «бунарот се наоѓа десно од манастирот»; колодцы копают и сами святые: «Свети Размо, свети Наум и свети Климент откопале една дупка како бунарче, и водата што излегувала, проврела» и оказалась целебной; этой водой св. Климент исцеляет царскую дочь: «Климент отишол кај местото Габовци, нацрпил вода од изворот и донесол на царската ќерка. Кога убавицата се напила неколку капки, веднаш оздравела» [Климент и Наум, 1982, 57, 60, 61, 68, 70].

В каждом случае речь идет о некоей таинственной воде, которая скрывается в глубинах земли, т.е. в *нижнем*, подземном мире. Символика воды как пути в *иной* мир или из *иного* мира в *наш* мир хорошо известна. Более того, в сказочных сюжетах пространственные элементы, связанные с водой (водоемы, прежде всего колодцы и источники, но и берега моря, реки, озера), имеют абстрактное значение границы, входа в *иной* мир или выхода из него. И здесь существенным оказывается «преображение» воды. Пока она находится под землей, она опасна, связана со смертью (ср. Ахеронт и Коцит, реки подземного мира в античной традиции), это *мертвая вода*. Но если ей удается пробиться наружу, выйти/вытечь в *наш* мир, она приобретает противоположные качества — становится целебной, *живой водой*. В традиции народной веры у такой воды появляются святые покровители, которые ее благословляют. Колодцы и источники носят их имена, являющиеся оберегом, гарантией того, что вода сохранит свои положительные свойства. И характерно при этом, что вообще, не только в народной, но и в секуляризованной традиции, наиболее чистой (или здоровой, вкусной) считается вода, идущая из глубин земли — источников, артезианских скважин и т.п. — независимо от ее объективного целебного качества.

Конечно, и вышедшая на поверхность «преображенная» вода может сохранить свои опасные свойства. Она продолжает оставаться путем, ведущим в нижний мир; свидетельство этому среди прочего — гибель в воде через утопление. Однако и эту опасность можно преодолеть, если обратиться к святому покровителю воды. В преданиях об Охридском озере нередки мотивы чудесного спасения тонущих, которым помогает св. Наум, ср. о человеке, который бросился со скалы в озеро, с такой высоты, что и костей не собрать, но св. Наум вытащил его целым и невредимым «се фрлил од врвот на една стена во езерото, за да не можеш парче од него да кренеш», но «св. Наум го извади здрав» [Климент и Наум 1982, 49; см. также с. 53].

inslav

Существенно «вывести на поверхность» глубинную (и в буквальном смысле слова) связь воды с камнем. Камень противопоставлен воде по признаку твердости[6]. Однако из камня можно «выжать» воду, ср. соответствующий сказочный мотив, и в этом отношении вода парадоксально является порождением камня[7]. В определенном смысле он является своего рода фильтром, очищающим воду: чем труднее воде пробиться через камень (и чем труднее человеку пробиться к воде через камень), чем больший путь вода проходит в вертикальном направлении, снизу вверх, тем более чистой, «сильной» она выходит на поверхность. Этот путь испытаний можно назвать инициацией воды. Цель этой инициации — жизнь.

[1] См. об этом подробно: [Цивьян 1999, гл. 1. *Сжатая земля*, 29—38].

[2] Ср.: «Од еден извор не извира блага и солена вода» [Цепенков 1972, № 1746].

[3] См. статью **вода** [СД 1995, s.v.]; ср. также эпитеты **воды** в [РНМП 1983, s.v.]: *лековита, медовита, слатка, блага, крстена, свешена,* но и *бигорлива, отровна, удавна нечиста, погана* и др.

[4] Четко выраженное противопоставление *верха* и *низа*, гор и долин.

[5] См. другое направление опасности, сверху вниз: озеро на горе Пелистер может разлиться и затопить Битолу: «...битолските старци зер не знаат да прикажуват за езерцето што е на планина Пелистер: оти ќе дојде саат што ќе пушти — и Битола ќе ја удаи сосема ти поле. Сите битолчани тоа нешто го знаат и, коа да си наумат во некој муабет, косата му се накрева от страв за коа ќе пушти езерцето от Пелистер» [Климент и Наум 1982, 82].

[6] Еще более отдаленная связь с камнем и движением снизу вверх просматривается в мотивах чудесного источника, находящегося высоко в горах, ср., например, известный сюжет «Болен Дојчин»: *Ми се сони вода лекоита, // ми се сони на врф на планина* [Наневски 1983, 265]. Ср. к этому же начало и конец реки — верховья и низовья. Естественно, что река течет сверху вниз, но это значит, что ее истоки, т.е. питающие ее источники, выходящие и з - п о д земли, связаны с в е р х о м.

[7] Ср. соответствующую метафору в македонских пословицах: *Камено да го стисни, вода ќе пушти; камен да вати, вода ќе пушти; камено да го стегниш, вода ќе пушти* [Цепенков 1972, № 3831, 4264, 5013]. Обратим внимание, на ту же терминологию, что при стискивании, сжатии земли для образования рельефа, см. выше. Там стискивают землю, чтобы появились горы, здесь стискивают «горы», чтобы появилась вода. К связи воды с камнем и «победе» воды над камнем см. известное «капля долбит камень» (*Gutta cavat lapidem / Non vi sed saepe cadendo*).

inslav

Климент и Наум 1982 — *Стојчевска-Антиќ В.* Климент и Наум Охридски во народната традиција. Скопје, 1982.

Пенушлиски К. Македонски народни балади. Скопје, 1983.

РМНП 1983 — Речник на македонската народна поезија. Т. 1. Скопје, 1983.

СД 1995 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Т. 1. М., 1995.

Цепенков М.К. Македонски народни умотворби. Скопје, 1972. Кн. 8. Пословици. Поговорки.

Цивьян Т.В. Движение и путь в балканской модели мира. М., 1999.

2006

inslav

ГОРЫ И ВОДЫ – ИНТЕРЬЕР БАЛКАНСКОГО МИРА

Идея заметки состоит в том, чтобы объединить и затем рассмотреть в единой перспективе два хорошо известных положения, относящихся к интерпретации картины мира, в данном случае — балканского мира (балканской модели мира).

П е р в о е — соотношение *внешнего* и *внутреннего*, макро- и микрокосмоса, где точкой отсчета является человек. Микрокосмос — мир человека, представленный прежде всего его домом. Дом, являясь защитой от внешнего мира, в то же время повторяет его структуру (небо = крыша, потолок, земля = пол и т.п.): таким образом микрокосмос определяется как реплика макрокосмоса, его модель, созданная заведомо позже и в заведомо меньшем размере. Подразумевается, что макрокосмос не имеет границ, а микрокосмос ограничен, и эта его ограниченность, замкнутость (*мой дом — моя крепость*) обеспечивает безопасность человека, защищая его от непредсказуемости внешнего мира.

В т о р о е — роль ландшафта в формировании менталитета: тема известная; в связи с Балканами она в последнее время становится более и более актуальной. Своеобразие контуров Балканского полуострова, яркость горного рельефа, контрастирующего с долинами, и одновременно «погруженность» в воду (море, из которого выплывают острова, как осколки суши, озера, реки, горные источники) — все это не только отпечаталось спонтанно в БММ, но и было отстранённо осознано теми носителями, которые, находясь внутри БММ, стремились взглянуть на неё и на себя извне (ср. у современного исследователя: «если бы в Югославии не было гор, у неё была бы иная литература»).

Своеобразие балканского мира (и соответственно БММ) проявляется и в особом соотношении между макро- и микрокосмосом, между ландшафтом внешнего мира и миром человека, т.е. его домом. Эта «особенность» может быть сформулирована

inslav

так: не мир сужается до размеров дома, а дом расширяется до размеров мира. При этом не происходит «опровержения дома», теряющего границы: границы сохраняются, но уже в масштабах макрокосмоса, который тем самым приобретает и форму — нечто вроде шкатулки, коробки с крышкой (прообраз дома). В балканских богомильских преданиях о сотворении мира небо и земля создаются (лепятся, навиваются) раздельно; когда их совмещают, т.е. накладывают небо на землю, как крышку на коробку, оказывается, что земля больше неба и оно не может её накрыть. Тогда Творец сжимает землю до размеров неба, и на плоской прежде земле появляются горы, долины, впадины, заполняемые водой. Таким образом мир становится шкатулкой-домом, а рельеф — интерьером этого дома, его внутренним контуром.

Тексты разных балканских традиций, прежде всего фольклорные, дают богатейший материал для темы «мир как дом» (или «мир как храм», ср. хотя бы «Миорицу»). Здесь же мы обращаемся к литературе, к произведениям Андрича, который не только обладал мифопоэтическим восприятием мира — балканского мира , но и строил БММ именно как структуру (конечно, не пользуясь этой терминологией). Хотя произведения Андрича почти всегда имеют реальное место и/или дату, меньше всего они вписываются в литературу «этнографического направления». Безошибочно опознаваемая Босния представляет весь балканский мир, и это потому, что целью Андрича было составление не «энциклопедии балканской жизни», а, скорее, её «грамматики».

Несколько примеров к теме балканского ландшафта у Андрича: это открытое пространство, обживаемое человеком как его истинный дом, макродом, в котором сливается воедино то, что создано Творцом, и то, что создано человеком. В первых же строках «Моста на Дрине» космос, «мир-шкатулка» возникает из другой шкатулки, крышкой которой является мост:

> И если на долину посмотреть из самой ее глубины, то так и чудится, будто из-под широких арок белого моста вытекает и разливается не только зеленая Дрина, но и весь этот благодатный цветущий край со всем, что на нем есть, и сводом южного неба над ним.

Мир вытекает из-под моста — дома («На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним, течет и развивается... жизнь обитателей городка»), и этот дом — особый: крышей ему служит небо, стенами — горы, фундаментом — вода:

> С трех сторон окруженные темно-зелеными горами, каменные сиденья дивана парят под облаками или звёздами над пенной пучиной изум-

inslav

рудной воды, с пятнадцатиметровой высоты открывая перспективу уходящей вниз речной долины, замкнутой в глубине синими гребнями гор.

Оставаясь элементами пейзажа, горы, воды, долины становятся одновременно и элементами того громадного дома, которым для носителя БММ является балканский космос. Мост — космический дом в космическом интерьере, и этим обеспечивается его долговечность и прочность, контрастирующая с упадком, и разрушением обычных домов:

...если караван — сарай ... должен был преждевременно превратиться в руины, то мост ... оставался все таким же неизменным и гордым...

Разрушение моста — переход к хаосу, к превращению Божьего света в пустыню и одновременно — смерть человека, который не может перенести разрушение своего истинного дома.

В этом же ракурсе могут быть рассмотрены и Рзавские холмы в одноименном рассказе. Клише *сияющей вечною красой равнодушной природы*, переживающей недолговечные творения человека, здесь неприменимо или применимо лишь отчасти: основное условие жизни холмов — их связь с человеком, основное условие безопасности человека — связь с природой, получающей признаки *свой, внутренний:*

Так мало-помалу все чужое стерлось, будто неверный счет. И остались лишь холмы — такими, какими были испокон веку, поросшие лесом или обработанные людьми, в ожидании лучших времен.

Перемещение дома вовне — на мост, на холмы и т.п. — происходит от того, что обычный дом становится не столько убежищем, сколько ловушкой, тюрьмой, клеткой, запертой, связанной с мраком, теснотой, духотой, т.е. ужасом (*ужас-узкий*, ср. у Достоевского):

Маленькие, тесные, словно ячейки в сотах, каморки выходили на узкую и шаткую галерею... Он бросился к дверям, но все они, точно их вдруг околдовали, оказались заперты... При виде этого окна, закрытого, бездушного ... в душе его с новой силой поднялись затихшие было гнев и боль («Путь Алии Джерзелеза», ср. там же *белый затаившийся дом, мрачная низкая кондитерская* и т.п.).

Примечательно амбивалентное положение двора в этой системе: двор олицетворяет ложное смешение *внутреннего* и *внешнего*: *внешнее* в нем утеснено, и отгороженность от космоса сводит на нет его открытость:

Пятнадцать расположенных на склоне горы одноэтажных и двухэтажных зданий, которые... связаны между собой высокой стеной, окружают огромный, вытянутый в длину, неправильной формы двор ... Отсю-

inslav

да не видно ни города, ни порта, ни сброшенного арсенала на берегу — только небо, огромное и безжалостное в своей красоте, и вдали, по другую сторону невидимого отсюда моря, краешек зеленого азиатского берега, игла неизвестной мечети или верхушка исполинского кипариса за стеной. Все непонятное, безымянное, чужое. Первое впечатление — что ты попал на какой-то дьявольский остров, лишился всего, что раньше составляло твою жизнь, и самой надежды увидеть это снова («Проклятый двор»).

Между тем условие существования — выход во внешний мир или, может быть, наоборот, вход внешнего мира в дом, раскрытие границ дома до пределов мира (как в «римской идее» единая граница urbi el orbi). В этом объединении растворяется оппозиция *природа/культура*, делаются несущественными параметры *больше/меньше, раньше/позже* (ср. выше, о соотношении макро- и микрокосмоса). Ср.:

Белизна внешнего мира смешивается с дремотным полумраком комнат, а тишина хорошо сочетается с тихим, размеренным тиканьем множества часов... («Проклятый двор»).

Подобное объединение с внешним миром, тем более контрастное, что оно происходит в городе, в рамках городского пейзажа, особенно отмечено в рассказе «Заяц»: это и речной поселок — «плавучий дом» («Порой Зайцу начинало казаться, будто он плывет по реке и все вокруг плывет вместе с ним: и причал, на котором он сидит, и остров, похожий на огромную зеленую баржу, и город наверху, напоминающий сказочный корабль с форштевнем Калемегдана»), и другое убежище Зайца, где «выход дома в природу» происходит уже по замыслу архитектора:

...узкий карниз, прилепившийся к дому по странной прихоти безвестного архитектора. Карниз упирался в склон и снова возникал на противоположной стороне отвесного холма и там расширялся, превращаясь в нечто вроде недостроенной террасы... бетонный выступ, прилепившийся надо рвом, подобно ласточкиному гнезду, в отличие от стен его квартиры и всей ее обстановки, казалось, незыблемо стоял на месте. Может быть, это и есть тот самый желанный полюс неподвижности, где он наконец найдет успокоение.

Здесь речь идет не о единении человека с природой, а о основоположном единстве мира, о взаимопроницаемости всего и вся, о зыбкости границ между миром человека и макрокосмосом (ср. рассказ «Аска и волк»), между мыслью и реальностью; то единение, которое в «Елене, женщине, которой нет» описано почти по клише сказки об «умной девушке, которая выполняет трудное задание» (придти в гости к царю ни одетой, ни неодетой):

inslav

...передо мной возник озаренный солнцем девственный пейзаж и среди него идущая Елена во весь рост. На ней не было платья, но она не была обнажена, а словно колышущейся сеткой прикрыта тем самым пейзажем, среди которого проходила: волнами, дрожащими бликами солнца и воды, свежей листвой.

Не откликнулись ли здесь, среди прочего, мифопоэтическая традиция антропоморфных пейзажей, ср. южнонидерландскую живопись XVI в., и – отдалённо — вегетативные эксперименты Арчимбольдо.

1992

inslav

В КОНЦЕ ПУТИ

Стихотворение Кавафиса «В гавани» в мифопоэтическом контексте

ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΝΕΙΟΝ

Νέος είκοσι οκτώ ετών, με πλοίον τήνιον
έφθασε εις τούτο το συριακόν επίνειον
ο Έμης, με την πρόθεσι να μάθει μυροπώλης.
Όμως αρρώστησε εις τον πλουν. Και μόλις
απεβιβάσθη, πέθανε. Η ταφή του, πτωχοτάτη,
έγιν' εδώ. Ολίγες ώρες πριν πεθάνει, κάτι
ψιθύρισε για οικίαν, για πολύ γέροντας γονείς.
Μαποιοί ήσαν τούτοι δεν εγνώριζε κανείς,
Μήτε ποιά η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον.
Καλλίτερα. Γιατί έτσι ενώ
κείται νεκρός σ' αυτό το επίνειον,
θα τον ελπίζουν πάντα οι γονείς του ζωντανό.

1918

В ГАВАНИ

'Юноша двадцати восьми лет, на тинийском корабле
приплыл в эту сирийскую гавань,
Эмис, с намерением стать продавцом благовоний.
Но заболел в плавании. И едва
Высадился на берег, умер. Похороны его, самые бедные,
Там и были. Незадолго до смерти, что-то
шептал про «дом», про «очень старых родителей».
Но кто были они, не знал никто,
ни где его родина в огромном греческом мире.
Лучше. Потому что в то время, как
[он] лежит мертвым в этой гавани,
его родители всегда будут надеяться, что он жив'.

Это стихотворение легко находит свое место в корпусе произведений Кавафиса: оно «александрийское» и относится к тому кругу вымышленных эпитафий, который объединен темой mors praematura. Юноша, умирающий, не успев осуществиться, и оставшийся в памяти лишь тех, кто его любил: пожалуй, наиболее совершенное выражение этот мотив нашел в стихотворении-эпитафии 1917 г. «В месяце Атире».

inslav

Не менее органично и место стихотворения в проекции на этнофольклорную традицию, в связи прежде всего с темой *чужбины* (*ξενιτειά*). Мне встретилось причитание (в собрании, составленном Мочосом); это почти пересказ Кавафиса (или vice versa): *΄Ενας ξένος αρρώστησε πολύ μακρά στα ξένα* [Μότσιος 1995, 71] 'Один чужой заболел очень далеко на ч у ж б и н е'. — *Ξένος στα ξένα* «чужой на чужбине»: замечательный пример оппозиции омонимов: одна и та же лексема противопоставлена самой себе: *чужой* для того места, где он оказался; это место — *чужое* для него.

См. еще распространенный сюжет о моряке, заболевшем во время плавания:

Ο γεμιτζής αρρώστησε	'моряк заболел
στου καραβιού την πλώρη	на палубе корабля
δεν έχει μανα να τον δει	нет матери доглядеть за ним
γιατρό να τον κυττάξει...	врача осмотреть его...'

Моряк умирает, его хоронят на чужбине, перед смертью он просит сказать матери и сестре, что женился, взяв в жены *черную землю* [Παπαθανάση-Μουσιοπούλου 1991, 359].

Фольклорный фон наталкивает на поиски *мифопоэтического* уровня в стихотворении; он может присутствовать и в том, что Кавафис показывает открыто, и в том, что он «скрывает» (сознательно и, может быть, подсознательно). Обычно *мифопоэтическое* (и тем более фольклорное) остается в стороне. Поэтому, например, его стихотворениям на темы античной мифологии может придаваться гномический смысл по преимуществу, а использование соответствующего сюжета воспринимается как цитата «на случай», поскольку поэтическая техника Кавафиса направлена на цитатность, на «чужой текст». Между тем, не случайно для Кавафиса такое значение имеет *τα κρυμμένα, τα σκεπασμένα* 'тайное', 'скрытое' — в разных смыслах слова. Существует многое, так и остающееся *скрытым* и затрагиваемое интерпретаторами лишь отчасти. В данном случае мы снова обращаемся к *балканскому (средиземноморскому)* субстрату — фундаменту, или хотя бы фону, служащему для Кавафиса мощным креативным импульсом.

Действительно, балканский хронотоп оказывает мощное воздействие на своих жителей, сообщая им возможность панхронного и «панспациального» восприятия. В греческом фольклоре сохраняются пересказы древних мифов, мифологизированные исторические события и персонажи, памятные места, вроде деревни на Хиосе, где жил Гомер, и т.п. Специалисты

inslav

находят этому вполне убедительные, «прагматические» объяснения (например, результат школьного образования) [Μεραχλής 1996, 83 сл.]. Это несомненно так, и все же представляется, что на этой живости впечатления, этом ощущении прошлого или далекого в обоих смыслах как близкого, *своего*, на всем этом лежит особый *балканский* отпечаток. Соотношение мифологической и исторической памяти описано тем же в Элиаде: циклическое время и миф о вечном возвращении. И путешествие Кавафиса по истории, «заселение» греческого = кавафианского хронотопа персонажами, историческими и вымышленными, есть по сути дела то же самое: вживание поэта в циклическое время, воплощение мифа о вечном возвращении на собственном опыте.

Балканское пространство бывает сжатым и утесненным, но в этой компрессии заключена бесконечность, она как бы свернута в клубок, который можно размотать, развернуть. Знак и способ разворачивания — бесконечный, лабиринтообразный путь. Начало и конец пути могут быть известны, или неизвестны: столь велико пространство, что они теряются в нем, забываются, делаются несущественными.

Название стихотворения «Εις το Επίνειον» можно перевести как «В гавани», «В порту» или «На берегу», «На побережье». В последнем случае подчеркивается понятие границы, края, за которым ничего нет: таким это место стало для Эмиса, героя стихотворения. Его маршрут, как будто бы, ясен — по Эгейскому морю с запада на восток, из Греции в Сирию — и в то же время неясен. Корабль, на котором плывет герой, *тинийский*, т.е. связанный с островом Тинос. Неизвестно, начался ли путь корабля с острова Тинос, или имеется в виду корабль с Тиноса; сел ли герой на корабль на Тиносе, или это произошло где-то в другом месте. Более или менее определенно можно сказать лишь то, что вряд ли сам он с Тиноса. Цель пути — Сирийское побережье, или сирийская гавань, но где и какая именно, остается неизвестным. Мотив благовоний указывает не только на восточную изнеженность; он отсылает к написанной в 1910 г. «Итаке», где путешественнику настойчиво советуют купить у финикийцев

> <...> ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής,
> όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά
> «и всевозможных благовоний сладострастных,
> как можно больше благовоний сладострастных...»
>
> (*Пер. С. Ильинской*)

inslav

Остров Тинос расположен в северо-западной части Архипелага, в цепи островов между Малой Азией и Балканским полуостровом, на карте выглядящей почти мостом, по которому можно п е р е й т и из Греции в Малую Азию (вспомним еще раз «обратный путь», огневой телеграф — сигнальные костры, с помощью которых в Грецию передавалась весть о гибели Трои: они «переходили» с острова на остров и далее, как это описано у Эсхила в «Агамемноне»). Таким образом, эти острова, свидетели прошлого единства Азии и Балкан, как бы собирают, сжимают пространство, упрощая рисунок пути: это путь по суше. Но для пути по воде эта же цепь островов выглядит едва ли не как слаломная трасса, как удлиненный, лабиринтообразный путь.

Неопределенность начала и конца пути не случайна: она отражена и в судьбе юноши. Как читатель не знает точно, где начался, и где окончился путь Эмиса, так и его спутники не знают, откуда он, и не могут сообщить о его смерти родителям. Дальний путь по воде содержит возможность/опасность забвения, и оно, по сути дела, началось с болезнью Эмиса на корабле (вода вообще является символом пути в иной мир, к забвению). Строка *ποιά η πατρίς του μες στο μέγα πανελλήνιον* является ключевой. Греческое пространство (одна из ипостасей балканского пространства = пространства БММ) представлено безграничным: *το μέγα πανελλήνιον* 'огромная всегреческость' распространяется, действительно, на всю ойкумену. Одновременно проступает намек на если не раздробленность/рассеянность, то на мозаичность всегреческого пространства. Эмис перед смертью вспоминает *οικία*, т.е. 'дом'. Спутники же не знают, где его *πατρίς* 'родина'. Причем это не обычный нейтральный вопрос «откуда он родом», и не «где его родина», но: *ποιά η πατρίς του* 'какая родина', 'что за родина' (симметрично с 'кто/какие родители' = 'что за родители'). Единое в разном и разное в едином, *το μέγα πανελλήνιον* — мозаика, составленная из бесчисленного числа «маленьких родин», «путаная вереница греческих миров», как говорит Маргерит Юрсенар [Юрсенар 1995, 205], и это, подчеркивая впечатление огромности и безграничности «всегреческого» пространства, усиливает ауру неопределенности.

Юноша во время пути стал *своим* для спутников: его звали по имени, знали, сколько ему лет, он делился своими планами, и понятно было, почему он выбрал Сирию (а благовония прикровенно вводили эротические мотивы). Вдруг, в трагический момент он оказался не известным никому: он — *никто* (здесь самоназвание Одиссея обрело реальность). Вина за это лежит

inslav

на развернувшемся и ставшем децентрированным пространстве, в котором теряется человек.

Случайная, преждевременная смерть юноши, считавшего, что перед ним только открывается жизнь; мотив памяти — этим, как будто, исчерпывается стихотворение. Если поместить стихотворение в мифопоэтический и фольклорный контекст, оно получит новое измерение и будет соотноситься с последним путешествием в иной мир, куда греческие души уводит Харон.

Эмис не знает, что ему готовит судьба и куда (или к чему) он плывет на самом деле. Но ему предопределен путь по воде, и это канонический путь в *иной* мир, подземный мир мертвых. Путь по морю приводит Эмиса к смерти, и тинийский корабль оказывается для него кораблем Харона, кораблем, который «бросает якорь в Нижнем мире и причаливает в Аиде» *Στην Κάτου γης το σίδερο, στον Άδη παλαμάρι* [ΕΔΤ 1959, 242], а *чужой* сирийский берег — пределом ойкумены, *другим берегом*, принадлежащим миру мертвых. Путь по горизонтали/по воде (ср. древнегреческого перевозчика Харона), становится путем по вертикали, *вниз*, в нижний мир, и похороны юноши «прямо здесь» реализуют эту метафору/мифологему.

Длина, точнее «длинность» пути по расстоянию и по времени, восстанавливается по топографическим указателям, одновременно и реальным, и мифологизированным, преобразующим пространство *μέγα πανελλήνιον* в пространство балканской модели мира. *Длинный путь* контрастирует с мгновенностью развязки — *μόλις απεβιβάσθη, πέθανε* — хотя и подготовленной предчувствием опасности: болезнь, начавшаяся в пути, предсказывает исход. Предельно развернутое пространство сжимается до точки во времени. Эта компрессия передает мгновенность жизни, воспринимаемой человеком, особенно в начале его пути, как бесконечность, а в конце — совсем по-другому.

Здесь уже говорилось об особых отношениях между жизнью и смертью, кристаллизованных в БММ: победа жизни или во всяком случае возможность победы; надежда, заставляющая бороться, искать выхода. В фольклорной традиции этому соответствуют спор и поединок с Хароном, попытки уговорить его или обмануть и т.д. Тема спора жизни и смерти просматривается и у Кавафиса, но в ином ракурсе.

У Эмиса есть дом и родители: на самом деле он не безроден, не *никто*. Парадоксальным образом *неизвестность/безвестность* поддерживает не только реальность существования Эмиса, но и его присутствие в мире живых. Путь, в который ро-

inslav

дители отпустили Эмиса, бесконечен, и так же бесконечна их надежда. И одновременно в выборе глагола «надеяться», вместо ожидаемого «думать», «считать» заключена *неопределенность/неуверенность:* родители никогда не будут знать, но всегда будут надеяться.

Последнее слово в последней строке стихотворения-эпитафии — *ζωντανός* 'живой', как бы опровергающее смерть (*νεκρός* 'мертвый' в предпоследней строке). Последнее впечатление читателя — амбивалентность этой концовки. Выбор решения зависит в частности от того, с какой интонацией прочесть *καλλίτερα* 'лучше' ('так оно и лучше'): трезво-прагматической, иронической или «идеальной».

«Анонимность» героя приводит к ситуации обмана: мертвого считают живым. Нельзя сказать однозначно, обмануты ли родители или они обманывают себя сами, оттоняя возможность печального исхода. Нельзя сказать и кто кого обманул (победил), смерть или жизнь? Действительно, Эмиса уже нет среди живых, родители надеются напрасно, и, значит, победила смерть: она обманула Эмиса, напав на него неожиданно (ср. выше, мотив mors praematura в фольклоре); она должна злорадно смеяться над его родителями.

Однако в игру вступает категория любви и памяти, «единственного имеющегося в распоряжении человека средства, чтобы справляться со временем», как говорил Иосиф Бродский в своем эссе о Кавафисе [Бродский 1995, 212]; Бродский находил «своеобразие Кавафиса» в его «исключительной чувственно-исторической памяти» [Там же]. Тема памяти/забвения чрезвычайно важна для причитаний, о которых уже говорилось. Из причитаний она входит и в литературу, ср. «Апокопос» Бергадиса (XIV—XV вв.), где ей отведена треть поэмы. Забвение — «constitue en effet, avec l'idée de reniement, un des deux mythes interprétatifs destinés à rendre compte de cette réalité inadmissible et incompréhensible qu'est pour le poète populaire la rupture du lien familial provoquée par la mort» , — как писал Saunier [Saunier 1984, 297].

Любовь и память оказываются сильнее смерти; пока родители надеются — а надеяться они будут *πάντα* 'всегда' — побеждает жизнь. И значит, жизнь обманывает, «переигрывает» смерть. Родители Эмиса «очень стары» и, наверное, надеяться им придется недолго. Но *πάντα* 'всегда' — ахронно, и оно *για πάντα* 'навсегда' сохранит юношу среди живых. Он и родители не разлучимы — *χωρισμό δεν έχουν*. Во всяком случае, на это есть надежда. *Καλλίτερα!*

inslav

Бродский Иосиф. На стороне Кавафиса // Иностранная литература. 1995. № 12.

Юрсенар М. Кавафис: предисловие к знакомству // Иностранная литература. 1995. № 12.

ΕΔΤ 1959 — Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Β'. Αθήναι, 1959.

Μερακλής Μ.Γ. Ελληνική λαογραφία. Ήθη και έθιμα. Αθήνα, 1996.

Μότσιος Γ. Το ελληνικό μοιρολόγι. Αθήνα, 1995.

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Κ. Από τη φιλολογική και γλωσσική λαογραφία της Αίνου // ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας, 1991.

Saunier G. L' «Apocopos» de Bergadis et la tradition populaire // ΑΜΗΤΟΣ. Αθήνα, 1984.

1999

inslav

ПУТЕШЕСТВИЕ ОДИССЕЯ ИЗ ГРЕЦИИ В ГРЕЦИЮ ЧЕРЕЗ ЗАПАД

«Итака» Кавафиса: к теме интертекста

Цель этой заметки — привлечение внимания к теме интертекста у Кавафиса. Речь в данном случае идет не столько об истоках Кавафиса в общем плане (парнассизм, символизм и т. д., о чем написано достаточно), сколько о структуре текста в собственном смысле слова: ориентированность на *чужой* текст, конкретный «адрес» этого текста (в кругу так называемого «мирового поэтического текста»), поиски подтекста, цитат, аллюзий, реминисценций, т.е., в конце концов, определение того, «откуда пришел поэт» — по слову Мандельштама. Как раз этот подход в связи с поэтикой Кавафиса почти не разработан в виду его крайней сложности: Кавафис и здесь следовал своему принципу «скрытого» (κρυμμένα).

Это относится и к разбираемому здесь случаю: указание на источник текста обнаруживается в тех произведениях Кавафиса, которые при его жизни не были опубликованы. Мы ограничиваемся одним примером, хорошо известным и многажды описанным, но рассматриваем его под другим углом зрения.

«Итака» (1911) — одно из самых знаменитых стихотворений Кавафиса: гимн пути и путешествию, призыв растянуть его на много лет и не спешить домой, однако, вернувшись, быть благодарным *убогой* родине, которая и дарует это путешествие, сколь реальное, столь и метафорическое. Стихотворение привлекает своей неисчерпаемой многозначностью: в самом деле, кто может сказать, что он *верно понял, что Итаки означают? Итака* и *путешествие* отсылают к «Одиссее», но в стихотворении сам Одиссей отсутствует: мы можем предполагать его либо в «советчике»-авторе, либо в *ты*, адресате советов (*молись, чтоб долгим оказался путь*). Исчез и сюжет «Одиссеи»: возвращение героя с Троянской войны, а νόστος преобразился в «антиностос». Можно было бы трактовать «Итаку» как кавафианское прочтение Гомера и только, — если бы у стихотворения не было предыстории.

inslav

Впервые Кавафис обратился к теме Одиссея в 1894 г. в стихотворении «Вторая Одиссея», при жизни не опубликованном и хранившемся в архиве. Эпиграф к стихотворению был следующий:

Dante. *Inferno, canto* XXVI
Tennyson. «Ulysses».

[Καβάφης 2003, 321]

Три месяца спустя он написал пространное эссе «Конец истории Одиссея» — и также не стал его печатать. Через 17 лет была опубликована «Итака».

Начало «Второй Одиссеи» имеет глубокий (интертекстуальный) смысл:

Великая Вторая Одиссея,
быть может, больше первой, но, увы, —
и без гекзаметра, и б е з Г о м е р а.

[Кавафиана 2000, 201]

Смысл проясняется финалом эссе:

Там, где Гомер решил остановиться и поставить точку, другому трудно и опасно пытаться продолжить фразу. Но великие [художники] мастера одерживают победу именно там, где дело трудно и опасно. Я надеюсь, что ⟨...⟩ я смог убедить читателя, что фантазия Данте создала образ, достойный «sovrano poeta»[1].

[Кавафис 2003, 92—93]

По сути, Кавафис задает вопрос, можно ли писать «поверх чужого текста», используя его как под-основу (под-текст). При этом речь идет не столько о продолжении «Одиссеи», сколько об иной трактовке того же сюжета. Кавафис начинает эссе с изложения судьбы Одиссея у Гомера (первое возвращение домой и предсказание второго возвращения после нового странствия), приводит сведения из других античных авторов, согласных «с Гомером в том, что смерть настигла Одиссея на возлюбленной его Итаке, где после всех своих трудов он наконец поселился и мирно царствовал», и далее переходит к двум поэтам, принадлежащим другому времени и другому пространству:

...великий итальянский поэт Данте не согласен с этим рассказом. Позавидовав спокойной жизни Одиссея, Данте решил изгнать его из дворца, где тот был счастлив, разлучить с семьей — и послать, гонимого жаждой странствий и открытий, в далекое и опасное плавание, в котором его поджидали кораблекрушение и гибель.

Английский поэт Теннисон последовал за Данте — с той только разницей, что он ничего не сообщает о смерти героя. Но то последнее странствие, которое описывает Теннисон, не имеет ничего общего с повелением Тиресия: английский поэт недвусмысленно говорит, что Одиссей покидает родину по собственной воле и даже с радостью, ибо его тяготит прозя-

inslav

бание на Итаке. В «Одиссее», напротив, очевидно, что мысль о новом плавании до крайности неприятна Одиссею, чьим единственным страстным желанием было жить и умереть на родине.

[Кавафис 2003,83]

Приводя далее пространные отрывки из Данте и Теннисона, Кавафис сравнивает обоих поэтов в проекции на первоисточник:

Среди многих изобретений «Божественной Комедии» этот миф об Одиссее занимает одно из первенствующих мест. Нельзя было придумать более славный и более подходящий конец земного пути Одиссея. Это последнее путешествие, которое он предпринимает по собственной воле, на старости лет, не понуждаемый никакой внешней причиною, подтверждает присущую его характеру тягу к приключениям и к их описанию. В «Одиссее» в путь его гонят враждебные боги, его же цель всегда — возвращение [в] /на/ отчизну. Но среди стольких странствий он видит множество городов и множество племен, его любознательность насыщается и в то же время изощряется, им овладевает магия путешествий, поиска все новых и новых стран, — и, достигнув в конце концов родины, он обнаруживает, что /его/ отчизна его не радует, что отчизна ему не довлеет, что отчизна его /отныне/ не здесь, но в тех великих просторах, которыми полна его память. Этот вывод психологически вытекает из «Одиссеи». ⟨...⟩

Английский поэт заслуживает меньших похвал, ибо идею, исходный материал творчества, он нашел готовой. Но он обработал ее как опытный художник.

[Кавафис 2003, 88, 91]

Глубоко проникнув в образ Одиссея у Данте и Теннисона, как бы «пропустив» его через себя, Кавафис (повторим, до эссе) написал «Вторую Одиссею», объединяющую образы «первопутешественника», созданные обоими поэтами. Кавафис сделал эпиграфом названия произведений, а не цитаты из них; в этом можно, на наш взгляд, видеть указание на то, что он представлял собственное стихотворение как «текст поверх двух текстов», текст, объединяющий итальянского и английского поэтов (притом, что Теннисон писал «поверх Данте»), каждый из которых отталкивался от Гомера в прямом и переносном смысле: в итоге все трое создали новую версию «Одиссеи» *без Гомера*. Эссе, написанное по следам стихотворения, служит своего рода развернутым к нему комментарием, так же как пространные цитаты из Данте и Теннисона, данные в собственном переводе-интерпретации, воспринимаются как «строфы, которые бродили где-то вокруг» (из Ахматовой).

Кавафис вносит в стихотворение свое собственное ви́дение Одиссея, которого нет у Данте и Теннисона: это мятущийся человек, который нигде не находит счастья. Радость от возвраще-

inslav

ния в родной дом быстро гаснет, заменяясь тоской по морю (оксюморонной ностальгией по уходу прочь, а не по возвращению), а когда Одиссей освобождается от тягостных уз постылой домашней жизни, то взамен получает *холодную радость, свободную от любви,* и эта холодная пустота есть плата за освобождение, но вряд ли награда. Таким во «Второй Одиссее» Кавафис вернул Одиссея в Грецию п о с л е его «путешествия» в Италию и Англию (обратное путешествие античных образов и сюжетов в европейскую культуру — общее место).

Однако впереди была «Итака» — стихотворение совершенно иное, проникнутое радостью жизни и благодарностью к жизни. *Радость, χαρά,* промелькнула во «Второй Одиссее» (радость, с которой впервые входишь в гавань), и в эссе (в связи с цитатой из Теннисона, которая «...очаровывает дух, представляя Одиссея, уплывающего все дальше и дальше в великие западные моря с золотыми горизонтами и неизвестными островами» [Кавафис 2003, 92], ср. там же об Одиссее:

> Но Одиссей не был похож на своих соратников. Итака не могла бы удержать его надолго. Он был первым из тех великих мужей — порода, неизбежно постепенно исчезающая, — которые не довольствуются тем, чтобы сидеть в одном углу, а успевают обойти весь мир [Кавафис 2003, 89].

Уже было сказано, что, по мнению Кавафиса, этот вывод психологически вытекал из гомеровской «Одиссеи», Данте и вслед за ним Теннисон подхватили и развили его; добавим, что третьим в этой цепочке стал сам Кавафис.

Многослойность, цитатность «Итаки» не могла не ощущаться Кавафисом (или не могла быть им забыта). Однако он не стал ее раскрывать. Никаких отсылок к Данте и Теннисону, хотя «Итака», по нашему мнению, ближе к ним, чем «Вторая Одиссея», никаких указаний на предыдущие обращения к этой теме. Кавафис сложил *чужую* песню, произнес ее как *свою* и был прав: черпая из мирового поэтического текста, он расширял и обогащал его своей поэзией.

[1] «Высочайшего поэта» («Ад», IV, 79, пер. М. Лозинского). У Данте эти слова отнесены к Гомеру (прим. переводчика эссе Ирины Ковалевой).

Кавафиана 2000 — Русская Кавафиана. Кавафис. Собрание стихотворений. Биография, статьи. М., 2000.

Кавафис Константинос. Проза. М., 2003.

Καβάφις Κ.Π. Άπαντα τα ποιήματα. Αθήνα, 2003.

2005

inslav

БРОДСКИЙ И КАВАФИС

Бродский *as a critic* — тема направляет в сторону эссе Бродского «На стороне Кавафиса», вышедшего впервые по-английски в 1977 г., впервые по-русски в переводе Льва Лосева в 1978 г., «не-впервые» еще несколько раз, из которых последний — в московском однотомнике «Русская Кавафиана»[1]. *На стороне Кавафиса* — это название содержит два (по крайней мере) одновременных смысла: на *«стороне-сторонушке»*, т.е. в локусе Кавафиса, *в месте*, которое создало его и которое всю жизнь создавал он сам, и *вместе* с Кавафисом, т.е. согласно, созвучно с ним.

Первый смысл вполне соответствует узко-формальной цели автора, который должен был представить не Кавафиса, а книгу Э. Кели «Cavafy's Alexandria. Study of a Myth in Progress»[2]. То, что представление книги в значительной степени отклонилось от самой книги и обратилось по преимуществу к поэту и его стихам, индуцировано *вторым* смыслом. Рассмотрение этой стороны эссе кажется нам и наиболее интересным и наиболее важным, хотя, а, вернее, потому что оно уводит со *стороны Кавафиса* в *сторону Бродского*.

Единственный мой разговор с Бродским произошел в Лондоне в 1991 г., на симпозиуме, посвященном столетию Мандельштама[3], — это был разговор о Кавафисе, с чтением его стихов в переводах Бродского. О переводах, т.е. об их трудности и соответственно частой неадекватности подлиннику, говорилось особо и пристрастно (об этой пристрастности — ниже). На занимавший меня давно вопрос, с какого языка Бродский переводил Кавафиса, точнее, присутствовал ли при этом греческий, И.А. ответил, что в какой-то момент ему стало не хватать английского (и, очевидно, русского), и он обратился к изучению новогреческого. Привожу это не столько как фактографию (и, может быть не очень деликатно, предполагаю, что новогре-

inslav

ческий если и присутствовал, то весьма ограниченно), сколько как еще одно подтверждение особого отношения Бродского к языку и еще более особого — к *чужому* языку в ситуации перевода.

Бродский, как уже было сказано, относился к переводам Кавафиса пристрастно: и Шмакова редактировал (по сути — переписывал), и о других переводчиках отзывался жестко. Можно сказать, что он предпочитал свои собственные переводы. Но в этом я не вижу авторского тщеславия и даже предвзятости. Кавафис ему был слишком близок, слишком много для него значил, был им *apprivoisé*, как говорил Бенвенист об освоении-присвоении человеком своего собственного языка. «Переживание» Кавафиса стало глубоко личным, и несовпадение с этим переживанием/пониманием — на уровне языка, т.е. перевода — нарушением «правды о Кавафисе». В каком-то смысле это была та мучительная борьба, от которой призывал отказаться Мандельштам, потому что она обречена не только на поражение, но и на наказание дерзости переводчика:

> Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть —
> Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить! ⟨...⟩
>
> О, как мучительно дается чужого клекота почет —
> За беззаконные восторги лихая плата стережет. ⟨...⟩
>
> И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
> Получишь уксусную губку ты для изменнических губ[4].

Возвращаясь к лондонской конференции: Бродский был ее patron в широком смысле. Он принял на себя и роль Поэта, который может объяснить суть произведения, ясную изнутри лишь самому создателю-демиургу, владеющему божественным ремеслом. «Я расскажу, как и почему это делается [у нас, поэтов]», так не единожды пытался он разрешить литературоведческие недоумения. Для нас в данном случае это важно в одном аспекте: описывая *другого*, пытаясь понять *другого*, Бродский в конце концов — или прежде всего, т.е. в начале начал — описывает самого *себя*. Насколько это осознавалось, было ли целью, — мы не ставим этого вопроса, останавливаясь лишь на результатах, из которых отмечаем два, на наш взгляд, главных.

Во-первых, ценность, проницательность Бродского, верность и точность его взгляда определена подстановкой себя самого, перевоплощением в объект описания (мена ролей субъекта и объекта). Во-вторых, *wer den Dichter* (и е г о *Dichtung*) *will verstehen*, должен обращаться не только к автокомментариям Бродского, но и к его критическим эссе. Здесь и предполагает-

inslav

ся прочесть «На стороне Кавафиса» в этой перспективе, поэтому данная статья названа «Бродский *и* Кавафис», а не «Бродский *о* Кавафисе». Сказанное, разумеется, не предполагает (само)отождествления Бродского с Кавафисом или выбора им Кавафиса в качестве предлога для самоописания. Просто: к какому бы автору ни прикасался Бродский, для него был важен анализ поэзии и поэтической техники вообще — с точки зрения и на основе его собственной принадлежности к цеху поэтов. Этот способ сочетает глубоко личный подход с остраненным, поскольку *Я* пресуществляется в нечто более общее, отрываясь от оценок, переживаний и т.п. Именно поэтому мы ограничиваемся разбором названного эссе, не привлекая отдельных высказываний, мемуарных свидетельств и под. Именно эссе с наибольшей ясностью и верностью представляет читателю Кавафиса — Кавафиса *via* Бродский — Бродского *via* Кавафис и *via* его взгляд на поэта и поэтику. Собственно говоря, это было сформулировано уже Львом Лосевым в его «примечании переводчика» к эссе Бродского: «...статья интересна прежде всего тем, что в ней с редкой последовательностью и сжатостью изложены взгляды нашего поэта на психологические, бытовые, исторические, религиозные, мифологические истоки творчества» (214)[5]. Приложение этих взглядов к Кавафису представляется Лосеву уже вторичным: («Важно, конечно, и то, что Бродский представляет нам Кавафиса, одного из крупнейших поэтов нашего времени», 214), что, может быть, не вполне справедливо. То, что каждое обращение Бродского к творчеству *другого* содержит изложение его собственных взглядов, не уменьшает значимость его литературной критики, поскольку направлено оно все-таки не на себя, а на предмет анализа, т.е. на *другого*.

Своего рода компендиум взглядов Бродского на творчество вообще, но sub specie Кавафиса собран из следующих пассажей:

Каждый поэт теряет в переводе... (209); язык не является инструментом познания, но инструментом присвоения ⟨...⟩ человек, этот природный буржуа, использует язык так же, как одежду или жилье. Кажется, что поэзия — единственное оружие для победы над языком — его же, языка, средствами (209); Метафора обычно образуется из двух частей: из объекта описания («содержания», как называет это И.А. Ричардс) и объекта, к которому первый привязан путем воображения или просто грамматики («носитель»). Связи, которые обычно содержатся во второй части, дают писателю возможность совершенно неограниченного развития. Это и есть механизм стихотворения (209); Человек есть продукт чтения, поэт — тем более (210); Всегда неприятно очерчивать границы, когда имеешь де-

inslav

ло с поэтом... (210); ...всякий выбор есть, по существу, бегство от свободы (211); Искусство есть альтернативная форма существования, хотя ударение здесь на «существование», так как творческий процесс не есть ни бегство от реальности, ни сублимация ее (211); Девяносто процентов лучшей лирики написано post coitum ⟨...⟩ Гомосексуальность как таковая побуждает к самоанализу сильнее, чем гетеросексуальность. ⟨...⟩ В некотором роде гомосексуальность есть норма чувственного максимализма, который впитывает и поглощает умственные и эмоциональные способности личности с такой полнотой, что «прочувствованная мысль», старый товарищ Т.С. Элиота, перестает быть абстрактной. ⟨...⟩ Идея эта, рассуждая теоретически, дает идеальный повод для писания стихов ⟨...⟩ То, что засчитывается в искусстве, это не сексуальные склонности, конечно, но то, что из них создано (211); Единственное имеющееся в распоряжении человека средство, чтобы справиться со временем, есть память ⟨...⟩ Механика любви как таковая предполагает существование своего рода моста между чувственным и духовным... (212); Политика сама по себе есть как бы язык, ментальная униформа (213); На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией... (214).

Разрозненность тезисов, выписанных здесь в том порядке, в каком они появляются в тексте, кажущаяся, и порядок этот не случаен (о чем далее). Уже самая простая аранжировка приводит к ответам на главные вопросы, связанные с творческим процессом и искусством как *альтернативной формой существования. Ударение на существование* определяет имя субъекта действия: *человек* и *поэт*. Каждый поэт — человек, который сумел обратить свои человеческие свойства и способности в поэзию. Справляться с временем при помощи памяти и значит преобразовывать воспоминания в тексты, в данном случае — в поэзию. Любовь, мост между чувственным (не только гомо- и гетеросексуальным) и духовным, чувственный максимализм являются импульсом к писанию стихов и, сублимированные, «засчитываются в искусстве». Условие поэтического творчества — свобода, не ограничиваемая выбором (хотя указание на роль чтения в формировании человека и тем более поэта — что, возможно, содержит отсылку к собственным истокам — этому как бы противоречит).

И, конечно, чрезвычайно важно то, что относится к я з ы к у. Понимание языка как *инструмента присвоения*, использование его как почти неотчуждаемой собственности — эта мысль является одним из важных достижений современной лингвистики (ср. выше о Бенвенисте). Такое ощущение языка у Бродского предстает живым и пережитым (в данном случае не столь существенно, откуда и как оно возникло), в нем укоренена для него и его собственная поэтика, и поэтика вообще. Поэзия как победа над языком средствами самого языка — этот

inslav

взгляд на взаимоотношения человека и языка, в которых роли субъекта и объекта, влияющего и влияемого переплетены, является сейчас основополагающим в той науке о человеке, которую, по определению Н.С. Трубецкого, можно назвать этнософией. Существенно, что и механизм стихотворения описан у Бродского через синтаксис, через грамматическую конструкцию метафоры, то есть снова исходя прежде всего из структуры языка.

Композиция этих «общетеоретических» пассажей не случайна: она определена тем, как подступает к Кавафису Бродский, с чего для него начинается Кавафис. Строго говоря, книга Кели, которая, несомненно, много открыла и дала Бродскому, почти сразу отступает на второй план, являясь (если цитировать самого Бродского) *не поводом, а предлогом.*

Кавафис для Бродского начинается с я з ы к а — *чужого.* Возникает проблема перевода, и Бродский смело объявляет, что, теряя в переводе, как и каждый поэт, Кавафис отличается тем, что он в переводе «также и приобретает» (209)[6]. Способность «приобретать в переводе» Бродский объясняет тем, что Кавафис «освобождает стихи от всякого поэтического обихода — богатой образности, сравнений, метрического блеска и рифм ⟨...⟩ прибегает к намеренно "бедным" средствам, к использованию слов в их первичных значениях» (209). Кавафис «экономит» изобразительные средства (Бродский называет это «экономией зрелости»), он употребляет «простые» слова в их первом, словарном значении, и поэтому создается раскрепощающая воображение «ментальная тавтология» (209), и поэтому «перевод Кавафиса — практически следующий логический шаг в направлении, в котором развивался поэт, — шаг, который и сам поэт пожелал бы сделать» (209)[7].

Итак, Кавафис облегчает сложность перевода-*искушения чужих наречий*, он «доступен», и это действительно так. Во многом этой «переводимостью» объясняется быстрое распространение славы Кавафиса в иноязычном ему мире. Однако вспомним требовательность Бродского к русским переводам и его попытки обратиться к языку подлинника: кроме подчеркнуто личного отношения к Кавафису, в этом можно видеть и подсказанную поэтическим и лингвистическим чутьем неудовлетворенность, признание тех неизбежных переводческих потерь, которые следуют из разницы языковых потенциалов. Действительно, аскетизм языка Кавафиса, облегчающий доступ к нему переводчика, а вслед за ним читателя, уравновешен тонкой лингвистической игрой на минимальных сдвигах между разны-

inslav

ми вариантами греческого языка, на переходах с архаизирующей кафаревусы (письменного языка высокого стиля) на димотику (литературный язык, основанный на разговорной речи), на вкраплениях ориентализирующего александрийского диалекта. Этот уровень поэтики Кавафиса трудно оценить даже носителю языка, поскольку и здесь поэт использует тот же прием экономии средств, принципиально придерживаясь некоего нейтрализующего разные языковые варианты и стили уровня, строго выверенные отклонения от которого надо гутировать. Переводу этот особый смешанный языковой стиль практически не поддается (архаизация с помощью церковнославянского не передает кафаревусы, использование диалектов вообще немыслимо), и для иноязычного читателя остается соответственно за семью печатями. Можно предположить, что столь пристальное внимание к языку Кавафиса, ощущение некоей «языковой тайны» и привело Бродского к рассуждениям о языке вообще, о его креативной силе и инструментальной роли и о сложных взаимоотношениях человека с языком или языками.

От значимости языка вообще — к значимости *своего* языка. Отношение к родному языку как к высшей ценности, средству самоидентификации и соответственно средству обеспечения самодостаточности и этнокультурной целостности — характерная черта балканской (в частности, греческой), как и вообще «диаспорической», модели мира — но не русской. Бродский уловил это отношение у Кавафиса (может быть, потому, что с определенного времени вопрос *своего/чужого* языка стал для него особо актуален). Говоря о фрагментарности эллинистического мира, который «начал крошиться после Александра Великого», Бродский подчеркивает: «Единственной силой, скреплявшей эти космополитические лоскутья, был magna lingua Graeciae; то же мог сказать Кавафис и о собственной жизни. Наверное, самый раскрепощенный голос, который слышится в поэзии Кавафиса, — это та глубокая увлеченность, с которой он перечисляет прелести эллинистического образа жизни ⟨...⟩ и "особенно наш великий греческий язык"» (212).

В эссе Бродского есть два параллельных высказывания-образа: борьба с языком и борьба с временем. Язык побеждается поэзией через себя самого (209), с временем справляется человеческая память (212). И в том, и в другом случае борьба возложена на *человека*. Категорию памяти в поэтическом мире Кавафиса обычно видят прежде всего в его исторических и квазиисторических стихотворениях — и Бродский об этом пишет. Однако большее внимание он отводит тому, что условно можно

inslav

назвать «личными воспоминаниями». *Условно* потому, что Кавафис пишет не только квази-историю, но и квази-биографию.

Легко относить его любовную лирику к рефлексии над эпизодами из собственной жизни, данными в ауре стыда от сознания запретной любви. Ηδονή — ключевое слово в поэтическом словаре Кавафиса, как и гедонизм — в анализе его поэзии. Нередко и то, и другое понимается как «удовольствие», более точно, «чувственное удовольствие», т.е. в конце концов сводится к акту чувственной любви. Однако античная традиция придает этому слову-термину гораздо более абстрактный, философский смысл, уводящий от конкретных действий и ощущений. Противопоставление чувственного духовному происходит прежде всего на уровне отношения к жизни, а не на уровне поведения. Нравственные проблемы, стоявшие перед Кавафисом, вытекали не из «гомо»-концепции греха (во всяком случае не только из этого), но из приверженности к *видениям чувственной фантазии*, о чем он сам написал в стихотворении «Море утром»[8].

Говоря о любовной лирике Кавафиса, Бродский начинает с того, что она ретроспективна (т.е. всегда связана с памятью-воспоминанием) и написана с позиций «чувственного максимализма», вытекающего из «гомосексуальной психологии», многогранной гомосексуальной идеи жизни (211). Иными словами, он начинает с принятой трактовки (см. выше). Но поэтическая проницательность ведет его дальше — к тому, к чему исследователи Кавафиса только-только приходят. Эти *воспоминания* имеют ценность не как реальность (для них не стоит искать прототипов), а как конструирование некоей жизни, помещенной в прошлое, *своей*, но при этом *иной*. Возможно, жизнь Кавафиса была не столь разнообразной и в ней можно угадывать стремление к той же аскетичности, как и в поэтике — отчего она не теряла в богатстве. К этой мысли постепенно приходит Бродский, прилагая и к тому, и к другому эпитет *бедный*, с той разницей, что в бедности жизни ему видится не только ее скудость, но и некоторая жалкость. С самого начала он отмечает, что «любовные стихи Кавафиса написаны в том же духе, что и его исторические стихотворения» (211): и те, и другие ретроспективны, и те, и другие поданы как личное, *свое*, как воспоминание. Мало того, и те, и другие переплетены (чувственность приравнена к истории, 212), и Бродский выбрал, пожалуй, самый впечатляющий пример такого переплетения, стихотворение «Кесарион», про которое можно сказать, что оно написано ради строки *вообразил я дерзко, как ты входишь в мою келью*:

inslav

Один из лучших примеров того, как действует эта двойная техника, стихотворение о пятнадцатилетнем Кесарионе, сыне Клеопатры, номинально последнем царе из династии Птолемеев, который был казнен римлянами в «покоренной Александрии» по приказу императора Октавиана. Как-то вечером, наткнувшись на имя Кесариона в какой-то исторической книжке, автор пускается в фантазии об этом подростке и «свободно вылепливает» его в своем сознании с «такой подробностью», что в конце стихотворения, когда Кесарион обречен на смерть, мы воспринимаем его смерть почти как изнасилование. И тогда слова «покоренная Александрия» приобретают дополнительное качество: мучительное сознание личной потери (212).

Так грань между воспоминанием и воображением (которое у Кавафиса с его «ретроспективной природой» почти всегда направлено в прошлое) становится призрачной и прозрачной, и *бедные* воспоминания Кавафиса Бродский сравнивает с реальной Александрией — «бедным остатком чего-то грандиозного» (212). «Чувство утраты у него гораздо острее, чем чувство обретения ⟨...⟩ потому, что опыт разлуки гораздо длительнее, чем пребывания вместе» (212) — об «опыте разлуки» можно говорить и в связи с историей. Переплетение личной и исторической темы в стихах Кавафиса, притом что и тому, и другому может/должен быть приписан признак *квази-* (см. выше), и приводит Бродского к выводу, который можно считать ключом к Кавафису:

Едва ли не кажется, что Кавафис был более чувственным на бумаге, чем в реальности ⟨...⟩ гедонистические пристрастия Кавафиса, если таковые имелись, определялись его чувством истории, потому что история, среди всего прочего, предполагает необратимость. И наоборот, если бы исторические стихи Кавафиса не были пронизаны гедонизмом, они превратились бы в простые анекдоты (212).

Последний, третий раздел эссе Бродского посвящен язычеству и христианству эпохи их сосуществования и особенно фигуре Юлиана Отступника. Здесь, пожалуй, голос Бродского заглушает голос Кавафиса, как будто Бродскому важно самому нечто понять и решить. Соответствующие стихотворения Кавафиса как раз наиболее просты: это своего рода orbis pictus, картинки, которые достаточно легко нарисовать при общем знании эпохи (и, конечно, творческом воображении и таланте): старая служанка, которая молится языческому идолу о выздоровлении своего питомца-христианина («Болезнь Клита»), христианин-сын, который продолжает любить и оплакивать отца, несмотря на то что тот был *в поганом капище Сераписа жрецом* («Жрец в капище Сераписа»), юноша-язычник, который после смерти друга-христианина понимает, насколько тот был от не-

inslav

го далек — *и я с моим нехристианством ему чужой* («Мирис»), и соответственно цикл стихотворений о Юлиане Отступнике с его попыткой восстановить язычество гуманными методами. Бродский ищет объяснения не столько того, что привлекало Кавафиса («Похоже, что Кавафис видел в Юлиане человека, который пытался сохранить обе метафорические возможности, не выбирая, но создавая связи между ними, чтобы выявить лучшее в обеих», 21), сколько объяснения самой фигуры римского императора, представляющейся Бродскому трагически великой:

> Его попытка была героической, если учитывать и объем проблемы, и возможные последствия. Рискуя быть обвиненными в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство не достаточны сами по себе, взятые по отдельности: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека (...) духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией (214).

Найдя для себя объяснение и оправдание Юлиана Отступника, а вместе с ним каждого человека, для которого важен духовный выбор (в том числе и религиозный), Бродский и Кавафиса с его «нотой неисцелимой скуки», объясняет, исходя из этого. Он предполагает, что Кавафис «не выбирал между язычеством и христианством, но раскачивался между ними, подобно маятнику», который не может вырваться за пределы своей амплитуды, не может преодолеть Времени, «в движении которого он участвует, но которого не определяет» (214). Это единственный вывод о Кавафисе, с которым трудно полностью согласиться — потому, что идея выбора кажется более убедительной в приложении к самому Бродскому и вызывает определенные сомнения в связи с Кавафисом. Пожалуй, представить себе Кавафиса, взвешивающего ценности язычества и христианства, если только речь не идет о культуре (утонченность эллинистического мира vs брутальность раннего христианства), все-таки сложно.

В эссе Бродского остается еще один не затронутый нами до сих пор мотив (как кажется, в большей степени мотив, чем тема): *город, Александрия*. Собственно говоря, это должно было стать лейтмотивом, поскольку формальная цель Бродского — представление книги, в которой Кавафис рассматривается сквозь призму Александрии и vice versa. Однако Александрия не так занимает Бродского. Конечно, без нее нельзя обойтись в первой, биографической части эссе (208—209). Далее, об Александрии говорится в связи с кавафианской «археологией»

inslav

Кели, который различает по крайней мере пять слоев = пять Александрий Кавафиса: «буквальный город, метафорический город, чувственный город, мифическую Александрию и мир эллинизма» (210). Об Александрии говорится в историко-культурном контексте, в связи с тем миром и тем периодом, который описывает Кавафис (212, 213). Но в общем Александрия как реальный город, как *локус Кавафиса* оставляет Бродского равнодушным. Более того, если историческая Александрия воспринята им как некая абстракция, то Александрия реальная не заслуживает у него добрых слов. В биографической части Александрия является почти синонимом *бессобытийности* биографии Кавафиса, который «упустил случай присутствовать при единственном историческом событии в Александрии на протяжении его жизни», ее бомбардировке англичанами (209, 208); далее Александрия предстает как «запущенный безрадостный мир на той стадии упадка, когда чувство горечи ослабляется привычностью разложения» (209); наконец, одно из объяснений решения Кавафиса остаться в *запущенной* и *заброшенной* Александрии «состоит в том, что не так уж он нравился самому себе, чтобы полагать себя заслуживающим лучшего» (211).

Как кажется, это восприятие Александрии не вполне справедливо. Конечно, оно индуцировано Кавафисом, который, не давая ни одной топографической реалии своего города[9], ни одного «особого знака», сделал его тем самым как бы безликим. Клише типа *я помню эту улицу* или *этот дом* могут описывать любой город (что и отмечалось критикой). В этом отношении Кавафис уравнивает современный ему город с той квазиисторической и/или мифической Александрией, которую создает в стихах. Это — способ его письма, особенность структуры его поэтического мира, создаваемого под девизом τα κρυμμένα 'Тайное', 'Скрытое': найти Кавафиса в его городе невозможно. Для того, чтобы любить свой город, ему достаточно одного имени — *Александрия*, это его единственная мерная единица; покидающий этот город, теряет его как целое (так в стихотворении «Покидает бог Антония»: от Антония *уходит* Александрия, он *теряет* Александрию).

Было бы неосторожно вторгаться в чужой душевный мир, особенно тогда, когда его владелец уже не может себя защитить. И все же, когда Бродский пишет о городе Кавафиса, нельзя не думать о том, что *свой* город был и у Бродского, и если Кавафис выбрал его, чтобы остаться, то Бродскому был навязан (или определен) противоположный выбор. Возможно, на Александрию, воспринятую через Кавафиса, каким-то образом на-

inslav

кладывался образ *другого* Города, переживаемого в узнаваемых деталях, в точных знаках, идущих не только из собственного опыта, но и из литературы, из того особого текста, в котором *этот* город говорит своими улицами, зданиями, мостами, реками, каналами — и облаками.

[1] *Brodsky J.* On Cavafy's Side // The New York Review of Books. 1997, February; *Бродский И.* На стороне Кавафиса // Эхо. 1978. 2 / Пер. Льва Лосева. Опускаем «промежуточные» перепечатки; *Бродский И.* На стороне Кавафиса // Русская Кавафиана. М., 1999. — Текст с авторскими исправлениями и дополнениями был дан Бродским для публикации в журнале «Иностранная литература» (1995. № 12) с разрешением поместить его и в «Русской Кавафиане», книге, к сожалению, сильно задержавшейся с публикацией.

[2] *Keeley E.* Cavafy's Alexandria. Study of a Myth in Progress. Cambridge Mass., 1976.

[3] Mandelstam Centenary Conference. School of Slavonic and East European Studies. London, 1991.

[4] Звуковая организация стихотворения, построенного на гласном *у*, сопряженном сначала с шипящими (*искушай, чужих, сумеешь, мучительно, чудовища, чешуя, получишь*), а в последнем двустишии выступающем в составе комплекса *губ-* (губка — губы), позволяет предположить теневого дублера для *звуколюб: душегуб-* (возможность такого рода замен подсказана самим Мандельштамом, ср.: *Часто пишется — казнь, а читается правильно — песнь...*). Мотив распятия (уксусная губка) обращен в данном случае не к Христу, а к (нераскаявшемуся, «неблагоразумному») разбойнику, который *губит чужие души*, — но тем самым и прежде всего *свою*, поддаваясь *искушению* и *покушаясь* на *чужое*. И *укусить* в данном случае выходит за пределы клише «пытаться сделать заведомо невозможное» в направлении некоторой агрессивности, за которой и последует *лихая* (также из «разбойничьего» лексикона) *плата*, и измена направлена в две стороны: изменить *своему* и обманом присвоить *чужое*. *Изменнические губы* — речь, язык, самая драгоценная собственность человека, потому и игры с языком опасны, если не преступны.

[5] Текст здесь и далее цитируется по публикации в «Иностранной литературе» (1995, № 12).

[6] Оставаясь в пределах текста Бродского, мы не касаемся вопроса, насколько ему была известна и насколько на него влияла другая литература о Кавафисе, в частности, предисловие Одена к книге переводов Кавафиса (1961), где как раз говорится о «собственном голосе» Кавафиса, который звучит и на чужом языке.

[7] И который за него (впрочем, не только за него) сделал М.Л. Гаспаров в своих опытах по сокращению стихов.

[8] *Не прочь я обмануться ненадолго, / поверить, будто поглощен природой (...) / а не видениями чувственной фантазии* (пер. С. Ильинской).

[9] Едва ли не единственное топографическое указание — в черновиках к стихотворению «Дом с садом», при жизни Кавафиса не напечатанном.

2000

inslav

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ

АНТИЧНОСТЬ

Образ и смысл жертвы в античной традиции (в контексте основного мифа)

Музыкальные инструменты как источник мифологической реконструкции

В начале был пастух...

О связи *игра – ритуал* (*игрушки–ритуальные предметы*)

Об одном отражении мифопоэтической традиции у Анаксимена

Вергилианский миф в Средневековье

ЯЗЫК

О некоторых способах отражения в языке оппозиции *внутренний/внешний*

От слова *описание* к действию *описание*

Хлебниковская лингвистика. Предварительные заметки

Современная русская языковая ситуация в проекции на модель мира

Об одном случае «семантической омонимии» в русской лингвокультурной традиции: *часы*$_1$ и *часы*$_2$

Об одной метафоре «пути вниз»: *пойти хинью.* Из этимологических парадоксов

ЗНАК

Человек и его судьба-приговор в модели мира

Остров, островное сознание, *островной* сюжет

Отношение к *себе* и к *своему телу* в русской модели мира

О телесности души в русской литературе. Постановка вопроса и некоторые примеры

inslav

МИФ И ФОЛЬКЛОР

Отгадка в загадке: разгадка загадки?

Оппозиция мифологическое/реальное в поздних мифопоэтических текстах

Об одном классе персонажей низшей мифологии: *профессионалы*

«Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии» Леопарди. К мифологеме пастушества

О мифологическом гербарии: *рута*

Об энтомологической сигнатуре Ремизова: *паук*

ПОЭТИКА

Семантический ореол *локуса*. Выбор места действия в художественном тексте

Интерьер петербургского пространства в «Пиковой даме» Пушкина

Наречение = обречение именем в повести Гоголя «Шинель»

Просвечивающие мотивы. Тургенев у Комаровского

«Умопостигаемая Италия» Комаровского

Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — двойники Ахматовой

Об одной ахматовской глоссе: *окарина*

Игра с именами в «тексте сна» Даниила Хармса

«Разговоры» Леонида Липавского sub specie поэтики

Письмо из Медыни. Родительское наставление *доброму сыну*

Библиография работ Т.В. Цивьян

inslav

Научное издание

Цивьян Татьяна Владимировна

ЯЗЫК: ТЕМА И ВАРИАЦИИ

ИЗБРАННОЕ

Книга первая

БАЛКАНИСТИКА

Утверждено к печати
Научным советом РАН
«История мировой культуры»,
Ученым советом
Института славяноведения РАН

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*
Редактор *А.В. Бездидько*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *В.В. Лебедева*
Корректоры
З.Д. Алексеева, Е.А. Желнова

inslav

Подписано к печати 10.04.2008
Формат 60 × 90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Балтика
Печать офсетная
Усл. печ. л. 20,0. Усл.кр.-отт. 20,5. Уч.-изд.л. 21,0
Тип. зак. 3223

Издательство «Наука»
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

inslav

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НАУКА» ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

В.Н. Топоров

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ

75,5 л.

Книга выдающегося исследователя русской культуры В.Н. Топорова, открывшего в нашей культуре такое сверхъявление, как ее *петербургский текст*, собирает его исследования, посвященные «мифоэпическому пространству» Петербурга. В книгу входят работы, охватывающие всю «биографию города-текста»: и посвященные началам «петербургского текста», и процессу его формирования и развития — от Пушкина и его предшественников, от Достоевского до Серебряного века русской литературы и далее. «Петербургский текст» Достоевского, в котором кристаллизован и образ города, и образ человека («петербургский тип»), занимает в книге центральное место.

Для специалистов в области культуры, истории, филологии.

inslav

Миллер В.Ф.

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Тексты : Исследования

65 л.

Всеволод Федорович Миллер (1848—1913) — выдающийся российский ученый, автор фундаментальных исследований по языкам, истории, этнографии, фольклору народов Северного Кавказа (осетин, евреев-татов, татом-мусульман, чеченцев, балкарцев, кабардинцев). В книге факсимильно представлена вся совокупность его работ по этой теме, изданных в разное время.

Для исследователей традиционной культуры народов России, студентов вузов и всех любителей фольклора.

inslav

АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ "АКАДЕМКНИГА" РАН

Магазины "Книга-почтой"

121099 Москва, Шубинский пер., 6; (код 495) 241-02-52 Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 "Б"; (код 812) 235-40-64
ak@akbook.ru

Магазины "Академкнига" с указанием букинистических отделов и "Книга-почтой"

690002 Владивосток, Океанский проспект, 140 ("Книга-почтой");
(код 4232) 45-27-91 antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 ("Книга-почтой");
(код 343) 350-10-03 kniga@sky.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 ("Книга-почтой"); (код 3952) 42-96-20
aknir@irlan.ru
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90 akademkniga@bk.ru
220012 Минск, просп. Независимости, 72; (код 10375-17) 292-00-52, 292-46-52,
292-50-43 www.akademkniga.by
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; (код 495) 124-55-00
(Бук. отдел (код 495) 125-30-38)
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; (код 495) 932-74-79
127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; (код 495) 621-55-96
(Бук. отдел)
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90; (код 495) 334-72-98
105062 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8 строение 4; (код 495) 624-72-19
(Бук. отдел)
630091 Новосибирск, Красный проспект, 51; (код 383) 221-15-60
akademkniga@mail.ru
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 ("Книга-почтой");
(код 383) 330-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пущино Московской обл., МКР "В", 1 ("Книга-почтой");
(код 49677) 3-38-80
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57; (код 812) 272-36-65
ak@akbook.ru (Бук. отдел)
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16;
(код 812) 323-34-62 (Бук. отдел)
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18;
(код 3822) 51-60-36 akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 ("Книга-почтой"); (код 3472) 23-47-62,
23-47-74 UfaAkademkniga@mail.ru
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 72-91-85 (Бук. отдел)

Коммерческий отдел, Академкнига. г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: (код 495) 241-03-09
Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
Склад, телефон (код 499) 795-12-87
Факс (код 495) 241-02-77

inslav

По вопросам приобретения книг
государственные организации
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (495) 334-98-59
E-mail: initsiat@naukaran.ru
www.naukaran.ru

inslav

inslav

Т. В. ЦИВЬЯН

Язык:
тема и вариации

ISBN 978-5-02-036005-1

НАУКА

Т. В. ЦИВЬЯН Язык: тема и вариации I

inslav